

Домик в Буа-Коломб

Маруся Климова



Маруся Климова

Домик
в
Буа-Коломб

ЖУРНАЛ

МИТИН

Маруся Климова

Домик в Буа-Коломб

Роман

Митин Журнал

Санкт-Петербург
1998

Маруся Климова. Писатель, переводчик. Окончила филологический факультет ЛГУ. Роман "Голубая кровь" (Мифрил, СПб, 1996) был номинирован на премию "Северная Пальмира". Перевела с французского романы Л.-Ф. Селина "Смерть в кредит", "Из замка в замок" и Жана Жене "Кэрель". Печатается в периодических изданиях Москвы и С.-Петербурга. Живет в С.-Петербурге.

© Маруся Климова 1998

© *Предисловие* Вячеслав Кондратович

© *Обложка* Тимур Новиков

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА?

Первый роман Маруси Климовой “Голубая кровь” имел трудную издательскую судьбу: написанный в 1991 году, вышел только в 1996-м, причем тиражом всего 100 экземпляров. Тем не менее, резонанс, вызванный им в читательской среде, сопоставим с тем, какой вызывали некоторые книги, ходившие по рукам во времена самиздата. То, что этот новый для русской литературы голос был услышан даже в наше “шумное” время, факт, безусловно, отрадней. В конце концов пришло и признание критики, которое наградило его эпитетами “мгновенной классики” и “самого щемящего литературного дебюта со времен “Бедных людей” Достоевского”...

“Домик в Буа-Коломб” – второй роман писательницы, тоже автобиографичен, и в этом смысле является логическим продолжением первого. Автор, как бы в насмешку, стилизует название своего романа под название пушкинской шутильной поэмы “Домик в Коломне”. Можно оценить юмор писательницы, потому что доверчивого читателя, решившего приоткрыть скромную на вид “игрушечную шкатулку”, ожидает зрелище, прямо скажем, не для слабо нервных.

Действие романа разворачивается в период с 1991 по 1995 год, в постперестроечную эпоху в пространстве постсоветской Европы. В небольшом домике в парижском пригороде Буа-Коломб неожиданно пересекаются пути и судьбы людей со всех концов света, главный образ, из Восточной Европы и России. Хозяин дома, полубезумный аристократ-анархист, истинный француз по воспитанию, православный по убеждениям, а по существу как бы сошедший со страниц философских сочинений Руссо “естественный человек”, правда, лишенный романтического утопического ореола и воплотившийся на страницах романа во всей его пугающей и дикой естественности, принимает у себя не просто людей разных национальностей, а посланцев разных культур, носителей разных представлений о мире, точнее даже было бы сказать, самих влекомых и занесенных этими своими представлениями сюда, в самый центр Западной Европы, в “столицу мира” Париж.

Эпиграф к роману, взятый из пьесы Кальдерона “Жизнь есть сон”, не случаен, ибо все герои романа, действительно, долгое время пребывали как бы во сне, лелея и взращивая свои мечты и надежды, они, сами того не подозревая, были окутаны этими снами, будучи изолированы ими от мира и окру-

жающих, как будто незримыми стенками стеклянных сосудов, и вот теперь от резкого исторического сдвига пришли в движение, столкнулись друг с другом и с реальностью, отчего их мечты, надежды и представления с грохотом рушатся и разбиваются вдребезги.

Однако это не просто дом, “где разбиваются сердца”, скорее, здесь разбивается то, что, изъясняясь на постструктуралистском жаргоне, можно было бы назвать “мифологическими моделями и системами”, порожденными современной европейской цивилизацией.

С этой точки зрения маленький домик в парижском пригороде можно было бы сравнить еще и с горделивым утесом, о который разбиваются волны внезапно всколыхнувшегося европейского моря.

Мы живем в эпоху крушения мифов прошлого. Постмодернистский миф о Конце Истории в последние годы тоже сильно запатался и едва не рухнул. “Суженный” на время человек снова напомнил о “широте” своей натуры: вытесненное до поры за пределы общественной жизни безумие вдруг пробудилось и проявило себя с новой силой, и снова – в России. Бывшие двоичники строят огромные финансовые пирамиды, доцент сельскохозяйственной академии становится во главе политического путча, простой школьный учитель размахивает российским флагом на танке, а его ученики и ученицы всерьез мечтают о карьере валютных проституток и киллеров... Самые абсурдные и безумные мечты сбываются, и наоборот, то, что совсем недавно казалось само собой разумеющимся и привычным, вдруг становится недоступным. Вот об этой обыденности безумия и безумии обыденного и пишет в своем романе Маруся Климова.

И хотя действие романа происходит в Париже, роман Маруси Климовой, прежде всего, о России, точнее, о встрече России с Западом, которые после не такой уж долгой по историческим меркам разлуки с большим трудом узнают друг друга, а порой, кажется, и вовсе не узнают. Эта глобальная историческая Встреча распадается в романе на множество конкретных человеческих судеб и встреч. Одержимый релягиозными романтическими идеями поэт встречается с православной феминисткой-диссиденткой, простая деревенская русская девушка — с псевдопрофессором из Франции, полубезумный наркоман из Петербурга встречается со страной своей мечты Францией, провинциальная “новая русская” издательница — с представителями парижской богемы, и в их лице — с современной Культурой и т.д. и т.п. Все эти встречи не случайны, ибо в других обстоятельствах и при других исторических условиях они были бы просто невозможны. Практически каждая из этих встреч влечет за собой разочарование. Поэтсму “Домик в Буа-Коломб” можно назвать романом о Встрече и Разочаровании. Последнее сближает Марусю Климову с Селином, однако имеет у нее более отчетливый метафизический оттенок, доставшийся ей в наследство от Достоевского.

Действительно, Марусю Климову, как и Достоевского, можно по праву назвать “реалистом в истинном смысле этого слова”, хотя “Домик в Буа-Коломб” своим черным юмором, пожалуй, уже ближе к “Бесам”, чем к “Бедным людям”. Благодаря удивительному историческому чутью, писательнице, как и в своем первом романе, удается достичь символической обобщенности образов, ни на йоту не погрешив против реалистичности и правдивости в описании конкретных человеческих характеров и деталей быта.

Однако Маруся Климова не столько продолжает Достоевского, сколько отталкивается от него. Достоевский стоял у истоков русского мифа — Маруся Климова описывает его крушение. 20 век был свидетелем крушения Российской, а потом Советской империй — описанные в романе события по-своему не менее трагичны: рушится сама мечта о России, “России, которую мы потеряли”. Но она вовсе не приносится в жертву мифу о западной цивилизации. Встреча Запада с Россией имеет для Запада столь же катастрофические последствия, ибо Восток и Запад в романе отражаются друг в друге, как в зеркале. Роман Маруси Климовой — о тотальной разобщенности людей в современном мире.

Любопытно, что сама писательница, кажется, и не помышляет ни о каком сознательном символизме и мифотворчестве. Тем не менее, она, пожалуй, находится ближе, чем кто бы то ни было еще в современной литературе, к самому что ни на есть архаичному, первозданному воссозданию символа, как некоего знака, по которому в древности двое разлучившихся на время людей должны были потом узнать друг друга. В этом качестве, как правило, использовались расколовшиеся надвое черепки глиняных сосудов, которые, соединенные снова, должны были совпасть и образовать единое целое. Маруся Климова в своем романе как бы перебирает все эти сваленные в одном месте “черепки” некогда целого сосуда, пытаясь подобрать среди них те, что наиболее подходят друг к другу, сталкивая между собой своих персонажей, доверчиво протягивающих навстречу друг другу жалкие осколки своих культур, религий, мировоззрений и идеологий, но ни один из них не подходит к другому, и разлученные друг с другом люди не находят никаких достоверных подтверждений тому, что они встретились вновь. Никто никого не понимает, не слышит, не узнает. Писательница же с чисто детской непосредственностью продолжает свое занятие до тех пор, пока в душе читателей не зарождается сомнение в том, что эти сваленные временем в одну кучу “осколки” вообще когда-либо принадлежали единой культуре и цивилизации.

Беспощадность, с какой в романах Маруси Климовой изображается человек, способна испугать даже самого искусственного читателя, знакомого и с Селином, и с Достоевским. Предвидя обвинения, которые после выхода романа могут обрушиться на голову его автора, к тому же еще и женщины, я хотел бы сказать еще несколько слов об общей ситуации в современной культуре, дабы

шоковое впечатление от чтения Марус и Климовой не затмило главного содержания ее творчества.

Современная ситуация в культуре трактуется большинством ее теоретиков как постисторическая и постсовременная т.е. постмодернистская. На первый взгляд может показаться, что основной пафос романа “Домик в Буа-Коломб” совпадает с одним из основополагающих тезисов постмодернистской эстетики о тщетности попыток рационалистической мысли Нового Времени построить единую картину мира. Но это не совсем так. Постмодернизм с известной долей условности можно назвать “реакцией культуры на жизнь”, так как в свое время он возник в результате реакции определенной части деятелей культуры на чрезмерное увлечение писателей, философов и художников эпохи модерна жизнетворчеством. Эта реакция была актуальной, но только до тех пор, пока постмодернистское бегство от жизни не превратило культуру в оторванную от этой жизни герметичную самопорождающую систему. Уличив своих предшественников в утопическом желании преобразовать мир, художник-постмодернист сам практически устраняется от жизни: он никогда не является участником или соучастником описываемых или критикуемых им событий, более того, сам творческий акт для него всегда опосредован. Постмодернистская установка на творчество как рефлексию “по поводу” самого творчества приводит к незаметной подмене философии, искусства и литературы философованием, искусствованием и литературоведением, тем самым парадоксальным образом лишая их объекта (“повода”) для рефлексии в настоящем и будущем. Отсюда, видимо, и широко распространенные мифы о Конце Истории и Современности.

И действительно, по этим законам существует практически вся современная культура, вне зависимости от того, осознает она сама себя постмодернистской или нет. Литературная мода, традиция Набокова, традиция Платонова, концептуалистские пародии... на самом деле, все это уже давно просто “тексты”, то есть “слова, слова, слова” — и не более. В России ярким примером тому может служить механический и, в сущности, эпигонский перенос стереотипов и штампов религиозно-философского сознания прошлого на современную политическую ситуацию: деление на “славянофилов” и “западников” или пришествие “новых хамов” в лице новой русской буржуазии... Боюсь, что некоторых читателей, привыкших к бесконечным интеллигентским рефлексиям на эти темы, ждет разочарование — ничего подобного на страницах книги они не найдут. С этой точки зрения, Маруся Климова является принципиально новой фигурой для современной культуры, писательницей, отважившейся бросить взгляд на якобы не существующую Современность. Разлученные на время Жизнь и Культура снова встречаются на страницах ее романа. Сталкивая и противопоставляя друг другу два этих начала, писательница кажется пугающе беспощадной к своим персонажам, однако, не стоит забывать,

что роман – это всего лишь зеркало, в котором отражается по-настоящему устрашающая пропасть между современной Культурой и Жизнью.

Парадоксальность и неожиданность романов Маруси Климовой прежде всего и заключается в том, что они меньше всего напоминают постмодернистские рефлексии “по поводу” какой-либо заранее заготовленной философской или эстетической системы. Скорее, они похожи на стихийный поток воды, внезапно хлынувший из неожиданно переполнившегося скрытого от глаз горного озера, этот поток сам способен проложить русло для грядущих философских систем и эстетик.

В этом смысле ее романы являются давно назревшим и мощным напоминанием жизни о себе, своеобразной “реакцией” этой жизни на застывшие формы культуры. А сможет ли культура прийти в себя после этого напоминания или тоже “разобьется вдребезги”, развееется, как сон – это уже другой вопрос!

*ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТОВИЧ
август 1998 года*

МАРУСЯ КЛИМОВА

ДОМИК В БУА-КОЛОМБ

Роман

*Вот вам мораль: по мнению моему
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно*

*А. С. Пушкин
“Домик в Коломне”*

*Пусть это было лишь во сне,
Скажу не то, что мне приснилось,
А то, что было зримо мне.*

*Кальдерон
“Жизнь есть сон”*

Вот уже около двух часов Костя не выходил из туалета на первом этаже в доме Пьера. Он сидел рядом с унитазом и напряженно следил за водой, наполнявшей унитаз до краев и не желавшей уходить вниз. “Да минует меня чаша сия!” — шепотом произносил Костя и дергал за ручку сливного бачка. Унитаз представился ему огромной чашей, а вода, наполнявшая его, символизировала страдания, общее количество которых уже достигло какой-то критической черты и никак не уменьшалось. Костя сел на пол около унитаза и, взяв специальную щетку, стал его прочищать. Главная его задача заключалась в том, чтобы вся эта вода все же ушла вниз. “Да минует меня чаша

сия...”, — еще раз пробормотал Костя. Наконец, в какой-то момент вся вода с резким хлопаяющим звуком ушла вниз, и унитаз опустел. Костя с облегчением вздохнул и произнес: “Свершилось!”

Костя еще раз тщательно осмотрел дом Пьера, спустился в подвал, потом поднялся на третий этаж, ему стало казаться, что это заколдованный замок, а Пьер – французский аристократ, последний представитель старинного и очень древнего рода. Костя подошел к окну и выглянул на улицу, там в конце переулка стояла “скорая помощь”: даже если это приехали не за ним, все равно нельзя терять ни минуты. Костя опять спустился в подвал. Он уже не сомневался, что он там обнаружит подземный ход, ведущий в сточные трубы, проходящие подо всем Парижем, они называются les egouts, там живут все клошары, все отбросы общества, а он, как герой Жана Марэ в фильме “Парижские тайны”, спрячется там и, пройдя через все испытания, спасет прекрасную даму. А возможно, даже подружится с этими клошарами, и сам станет таким, как они, их предводителем, они ему все расскажут и полюбят его исключительно за то, что он русский, ведь русских же все любят, потому что они дали миру Достоевского. Костя открыл узкое подвальное окно, протиснулся в него и, оказавшись во дворе, не без труда вскарабкался на крышу гаража, потом прыгнул в соседний двор, к немалому удивлению пившего там в это время за столиком кофе семейства. Но Костя, не обращая на них ни малейшего внимания, подошел к калитке ворот, открыл ее и вышел на улицу, но уже с другой стороны от дома Пьера.

Костя совсем не знал Париж и почти сразу же заблудился. На автобусной остановке он пытался спросить дорогу у какого-то клошара, и тот ему что-то объяснял и показывал, но Костя ничего не мог понять, потому что не говорил по-французски, а клошар позвал еще пьяную оборванную женщину, и она тоже стала оживленно жестикулировать, Косте казалось, что это хромоножка из «Бесов», он дал им десять франков, это были все имевшиеся у него деньги, и еще старый советский бумажный рубль, завалившийся у него в кармане. Они выразили по этому поводу великую радость, или ему просто так показалось, а сам Костя пошел дальше.

Пробуждение это как сон, или продолжение сна, а не пробуждение, как будто ты еще не проснулась, а осталась там, в этом сне, где высокое небо и серые тучи над медленной тяжелой рекой, и серый холодный гранит, и четкие плавные линии, их завершенность и чистота - все это сон. В реальности такого не бывает, или было когда-то в другой жизни, о чем остались смутные воспоминания-догадки.

Маруся лежит на кровати в комнате с ободранными стенами, по форме комната напоминает гроб, и это тоже уже когда-то было, а над головой тускло

горит одинокая лампочка на ободранном проводе, на потолке два окошка - одно побольше, обычно его открывают, поднимая вверх на железном стержне, и тогда образуется щель, через которую проходит свежий воздух, а другое - совсем крошечное, его невозможно открыть, но теперь они оба закрыты, Пьер вставил в них вторые стекла и напихал в щели обрывки тряпок, наверное, чтобы было теплее, но все равно ужасный холод, и в доме холоднее, чем на улице.

Можно спуститься вниз, куда ведет деревянная винтовая лестница, лестница-улитка, как называют такие лестницы французы, - на первом этаже каменный пол, как в туалете на Московском вокзале, из коридора ведет дверь в салон, там стоят два кресла, под передние ножки одного подложены чурбачки, чтобы оно было повыше, и когда на него садишься, ноги болтаются в воздухе, не доставая до пола, а второе - удобное, широкое, но обивка на нем засалена до такой степени, что цвет определить невозможно. Оба эти кресла найдены на улице. У окна стоит круглый стол, на нем навалена куча разного хлама, а посредине возвышается верхняя часть манекена, у него хорошенькое женское личико: вздернутый носик, светлые волосы и голубые глазки, на голове у манекена надета оранжевая жакса, какие носят рабочие на стройке. За другим столом, сделанным из куска фанеры и ножок детской кроватки, сидит хозяин дома: пьет и ест. В глубине его глаз нет ничего, а если попытаться рассмотреть, что там, то увидишь, как постепенно появляется какой-то нездоровый огонек, запрятаный глубоко-глубоко - вот оно, безумие! Маруся потом наблюдала такой же взгляд у мертвецки пьяных, когда сознание уже почти угасло, остались только некоторые рефлексy, и из их глаз, устремленных на тебя, выглядывает какая-то темная бездна.

Лестница в доме ужасно скрипит, и по ней невозможно пройти неслышно, но Пьер по ней почему-то ходит бесшумно, как кот, непонятно, как это ему удастся, — может быть, он знает, на какие дощечки нужно ступить, чтобы лестница не скрипела. Он ходил по ней еще маленьким, и помнит, куда ставить ногу, чтобы отец не услышал и не рассердился, а может быть, это безумие поднимает его, делает легким, как пух, и несет над землей, и он не касается пола ногами. Как тогда, когда он, схватив в руки остро оточенный нож, летел, не касаясь земли ногами в толстых узорчатых шерстяных носках, а его возлюбленная убегала от него, она отказывала ему в чем-то хорошем, приятном, — почему, по какому праву его лишали радостей жизни, которые имеют все? Все женщины одинаковы, они издеваются над вами, им доставляет удовольствие мучить вас, ну так с ним этот номер не пройдет, он знает, как надо себя вести. Пьер считал, что женщины любят собак, кошек и гомосексуалистов, потому что они не агрессивные, а кроткие и нежные. Настоящий мужчина всегда агрессивен, и когда Пьер видел машину с молодоженами, он говорил: “Бедная невеста! Она еще не знает, что ее ждет сегодня ночью!” - и сладострастно хихикал в усы.

Так говорил и его отец. Пьер помнил, как однажды он видел отца с матерью - он схватил ее одной рукой за волосы, а другой поднес к ее горлу острый нож и повторял: “Я тебя убью, я тебя убью!” И пусть до конца жизни Пьер будет заключен в психиатрической лечебнице в клетке с толстыми железными прутьями, — все равно, зато он получит самое большое в своей жизни удовольствие, а может, и отомстит за все издевательства, перенесенные из-за женщин. А в общем-то, во всем виновата его мать - потому что это она выпустила его в этот ужасный, полный страданий мир, и она недостаточно любила его, она больше любила его брата - хотя и говорила, что Пьер самый умный из всех детей, а их в семье было трое: его брат Жан-Франсуа, сестра Эвелина и Пьер.

Эвелина очень любила отца, она и сейчас называет его не иначе как «ОН», и говорит о нем с восхищением и обожанием. Их отец был из аристократической семьи и раньше его фамилия была Торше де ля Фейяд, и у его деда даже был замок в Нормандии, но потом они постепенно все пропили и проели, даже частицу «де», и их фамилия стала просто - Торше. А мать была из семьи нормандских мелких лавочников, и говорила неправильно, она делала ошибки в произношении отдельных слов, и это очень раздражало отца, он часто ее передразнивал. Пьер хорошо это запомнил.

Отец работал на службе контроля газовой компании и проверял, исправно ли обыватели платят за пользование газом, но эта работа так его раздражала, что он постоянно повторял детям: “Дети, никогда не занимайтесь этим, это настоящее дерьмо!” Пьер это тоже хорошо запомнил. Еще он запомнил, что его отец всегда, приходя с работы, садился за стол, и ел, а его мать ему прислуживала. Пьера же постоянно заставляли говорить: «Спасибо, пожалуйста», поэтому у него на всю жизнь осталось отвращение к этим словам.

Вот почему, когда к нему из России приехала его жена с дочкой, он запрещал девочке говорить эти слова, он пытался заставить ее саму готовить себе еду и мыть посуду, а когда это делала за нее ее мать, он начинал ужасно ругаться, при этом у него изо рта летели слюни, а глаза вылезали из орбит и бешено сверкали. Ему всегда хотелось, чтобы от его взгляда все содрогались, ему хотелось «обжигать взглядом», и вот только теперь, кажется, это стало у него получаться.

Иногда девочка начинала шалить за столом, и он сперва долго передразнивал ее голос и гримасы, а потом клал ноги, обутые в грязные ботинки, на стол, среди тарелок и банок. Он делал так потому, что одно время у него жил молодой человек, внук бежавшего во Францию русского эмигранта, и однажды поев и попив, он внезапно откинулся назад на своем стуле и положил ноги на стол. Пьер сперва растерялся, а потом уселся точно так же. Правда, когда он отодвигался назад на стуле, он чуть не упал, но ему в последний

момент удалось удержать равновесие. Некоторое время они сидели молча, потом молодой человек снял ноги со стола и ушел к себе в комнату, а Пьер еще некоторое время сидел так же и задумчиво ковырял в носу. Пьеру понравилось такое поведение, и он при случае старался его продемонстрировать, для него в этом заключался какой-то особый шик, признак внутренней свободы и раскрепощенности. Своей жене он запрещал мыть посуду, он говорил: “Я не хочу, чтобы ты пачкала себе руки!”

Он когда-то слышал эти слова в кино или прочитал в книге, - и они зафиксировались в его памяти, но если она посуду не мыла, он раздражался, а когда, все-таки, начинала мыть, орал, что она плохо это делает. Вообще-то, Галя еще не была его женой, а только невестой, но ему нравилось называть ее своей женой, а себя – отцом ее дочки Юли.

— Ах, дети, дети! – иногда говорил он своей соседке, многозначительно закатив глаза, – они такие шаловливые!

Когда Маруся с Костей приехали к Пьеру, дверь им открыла Света, девушка огромного роста с длинным носом и меланхолическим взглядом. Она мечтала стать фотомodelью и сниматься в известных парижских журналах. Чтобы приехать в Париж, ей пришлось, помимо всех остальных, переспать с двумя грузинами и одним армянином, причем последнему было уже за шестьдесят, и он не всегда мог, но он ей говорил, что никогда в жизни он не станет пердодлить мальчиков, потому что гомосексуализм - это отвратительно, и хотя аннальное отверстие уже и это действует возбуждающе, но даже ради этого никогда он не будет иметь дела с мальчиками. Правда Свету он трахал в задницу, но ей было совершенно все равно.

В Париже Света получила адрес Пьера от своей подруги Вали. Вале было уже под пятьдесят. Эта пышная блондинка с начесом раньше в Москве работала в научно-исследовательском институте и была секретарем парторганизации, а когда к ним приехала для обмена опытом делегация французских коммунистов, она срочно подклеилась к одному лысому тщедушному французу и вышла за него замуж. Однако во Франции она сразу же стала яркой антикоммунисткой, коммунистов всячески проклинала и поддерживала правых. Этим летом на выборах победили социалисты, и Валя жутко ругалась матом, ко всему прочему у них сломался холодильник, а ее муж стал его толкать то туда, то сюда, и так гонял его по кухне - и Свете было непонятно: спортом он занимается, или просто тот ему порядком надоел. Он хотел выбросить холодильник в окно, но не смог поднять, к тому же внизу ходили люди. У Вали был сын, юноша двадцати лет, курчавый, как баран, упитанный, розовощекий и очкастый. Он влюбился в Свету и целыми днями гулял с ней под ручку. Иногда они целовались в укромных местах. Сына звали Саша, он меч-

тал переспать со Светой и даже жениться на ней, но Валя не хотела, чтобы он женился, хотя ничего не имела против того, чтобы они переспали, ведь мальчику нужна женщина, он должен приобрести необходимый опыт и стать мужчиной.

Когда Костя впервые увидел Свету, ему показалось, что она - "мистическая проститутка" и, к тому же, неземная красавица, но порой в ее лице ему чудилось что-то враждебное и странное. Сперва она сказала ему, что она немка, и он увидел у нее голубые глаза, потом призналась, что она еврейка, и он тут же обнаружил, что глаза у нее карие и огромный крючковатый нос, все менялось, как в кривом зеркале, и даже светин голос. Ночью Костя поднялся к Свете в комнату - Пьер поселил ее на третьем этаже и Костя, стараясь не шуметь, на цыпочках шел по скрипучим ступеням. В комнате Светы было темно, как в склепе, и Костя, вытянув руки вперед, наощупь пытался найти ее кровать. Наконец он нащупал что-то похожее на одеяло, а потом теплую руку. Он схватил эту руку и поцеловал ее.

— Пьер, это ты? - сонно спросила Света.

— А что, разве Пьер спит здесь? - спросил в ответ Костя. Тут Света, похоже, пробудилась. Потом она рассказывала, что, когда ее будят ночью, она может ответить не совсем вежливо, вот она и сказала Косте:

— Выйдите из моей комнаты немедленно, будьте так любезны!

Костя что-то пробормотал и тут же вышел, ему даже ничего не нужно было от Светы, для него это просто был некий символический акт. Чистый Разум и Воплощенная Красота - вот о чем он думал, а грубые животные проявления ему были непонятны. Всю ночь Костя не спал, он разговаривал с неведомыми собеседниками, продолжая начатую уже давно беседу, их спор подкреплялся изощренными аргументами, и прекрасные возвышенные слова порхали, как бабочки в темноте. Утром он встал с черными кругами под глазами, зрачки его были огромные и расширенные, казалось, глаза состоят из одних зрачков. Когда они ехали в метро, Костя все старался встать поближе к Свете, она сидела, а он стоял рядом, хотя вокруг были свободные места, он прижмался своей шириной к ее плечу, а Света опускала глаза и томно вздыхала. Хотя до этого, когда он пытался ее обнять, она сказала ему вполне цинично:

— А сифилис подцепить не боишься?

Костя даже не понял, что она имеет в виду, скорее всего, для него это были происки неведомых злых сил, которые хотят запечатать его возвышенную мечту.

Потом они шли по улице мимо витрин ювелирных магазинов, и Света остановилась полюбоваться браслетами, кольцами и цепочками. Там за этим стеклом была некая иная реальность, красиво разложенные золотые украшения блестели и искрились на черном бархате, и невозможность перейти из одной реальности в другую фиксировалась небьющимся стеклом, последним достижением цивилизации. Тут Костя неожиданно изо всех сил ударил по

витрине ногой, но стекло оказалось прочным и не разбилось, а Света посмотрела на него с ужасом, но ему показалось, что с восхищением.

Потом, когда они пришли домой, Света позвонила Вале и рассказала, что к ней пристаёт сумасшедший, который живет у Пьера, и что она боится, и просила разрешения на время переехать к ней, и это Валю очень раздражило. Она сперва долго говорила с Пьером, а потом попросила позвать к телефону Марусю и обрушила на нее целый поток негодующих слов, причем постоянно повторяла :

— Приезжают тут всякие кр-р-р-р-етины! А потом возись с ними!

Маруся долго не могла забыть ее раскатистые “р-р-р” и визгливые злобные интонации. Потом Костя, пытаясь оправдаться, объяснял, что знает, что здесь везде специальные стекла, поэтому и ударил, а иначе ни за что не стал бы этого делать.

Еще в аэропорту в Ленинграде, когда Марусю и Костю провожал марусин приятель Алик, Костя уже чувствовал себя не очень хорошо, он перед этим спал мало, и в голове у него начинало все путаться. Было пять часов утра, к ним подошел пьяный мужик и заговорил с Костей по-французски, он повторял с акцентом несколько фраз, которые, очевидно, выучил еще в школе, и хотя Маруся с утра и плохо соображала, потому что тоже не выспалась, ей показалось, что этот мужик придуривается. Тут Алик внезапно сказал ему :

— Иди, старый, отдохни, поспи. Достал уже.

Костя же захохотал и, хлопнув мужика по плечу, радостно подхватил:

— Да, старик, иди спать! Здоровый сон очень важен для хорошего самочувствия!

Мужик испуганно посмотрел сперва на Костю, потом на Алика, сказал :

— Извините, — и, попятившись, ушел.

Пьер носил бородку клиньюшком и усики, как у Адольфа Гитлера. Правда, усики он потом сбрил, и бородку подбривал тоже, делая ее все меньше и меньше, отчего она постепенно переместилась у него от центра подбородка к левому уху. Очевидно он брился без помощи зеркала, либо считал, что так и должно быть. Часто, отправляясь куда-нибудь, уже собравшись и выйдя за порог, он спохватывался:

— Черт! Я же не побрился!

И отправлялся бриться. Иногда он подбривал свои брови, которые росли у него кустами в разные стороны. Волосы росли у него даже на носу, когда же он ожидал приезда своей жены, он сбрил с носа волосы, но потом снова забыл про них, и они выросли еще гуще, чем прежде. На голове у него просвечивала большая плешь. Он все же не терял надежды восстановить волосы и, по совету одного своего знакомого аптекаря, мыл голову химической жидко-

стью с отвратительным запахом. Волосы от этого лучше не росли, но становились мягкими и пушились над головой, как нимб.

Одевался Пьер всегда небрежно, он редко стирал свою одежду и никогда ее не гладил, и не пришивал пуговиц. У него была еще одна особенность - он не носил трусов, а когда его спрашивали: "Почему?" - так как он рассказывал об этом всем вокруг, считая это своего рода достоинством, - он отвечал: чтобы не стирать. Поэтому его брюки всегда обрисовывали ягодицы и врезались между ними. При ходьбе Пьер расставлял носки в разные стороны и размахивал руками, как будто они были на шарнирах.

Пьер очень любил поесть, но это слабость всех французов, так что он не был исключением. В основном, он предпочитал дешевое вино и колбасу, но если были деньги, любил позволить себе что-нибудь повкуснее. Он покупал себе паштет из птицы, корнишоны, сыр бри, ветчину, только сладкого он не любил. Он любил женщин - это была его вторая слабость после вина и колбасы, причем слабость во многом нереализованная. Он объяснял, почему мужчина любит женщин - потому что его родила женщина, и он стремится туда обратно, вот почему на рекламных плакатах часто изображают голый женский зад - мужчины тогда товар точно купят, и женщины тоже, потому что они очень любят собственное тело. Когда он шел по улице и видел на рекламе голый зад, он подбегал поближе, и, указывая пальцем, спрашивал у собеседника:

— Жопа? Правильно?

— Жопа, жопа! - отвечал ему собеседник по-русски, потому что Пьер общался в основном с русскими, у него в доме все время жили русские. Именно русские научили Пьера матерным ругательствам и разным грубым словам, но некоторых слов он все же не понимал.

Когда доведенная до иступления Галя стала называть его "старый козел" и "мудак", значение этих слов долго оставалось для него неясным. Жившие тогда в доме у Пьера русские художники Настя и Валера объяснили ему, что "старый козел" - это что-то вроде "хороший парень", "свой в доску", а "мудак" - от слова "мудрый". Поначалу Пьер им не очень поверил, однако в воскресенье, встретив в церкви на улице Оливье де Серр дряхлого старика из "белых русских" с трясущейся головой, который уже плохо соображал, он хлопнул его по плечу и спросил:

— Ну что, как дела, старый козел?

Старик посмотрел на него мутным взглядом и ничего не ответил, только неуверенно улыбнулся, а Пьер снова хлопнул его по плечу и воскликнул:

— Да ты настоящий мудак! — но опять никакой определенной реакции со стороны старика не последовало, он только слабо захихикал. После этого Пьер совершенно уверился в положительном значении этих слов.

Вот уже несколько часов Костя ходил вдоль трамвайной остановки в районе Порт Баньоле, одного из немногочисленных парижских районов, где ходили трамваи. Шел мокрый снег, дул сильный промозглый ветер, погода напоминала петербургскую. но в конце ноября в Париже тоже бывает довольно холодно. Косте казалось, что он стоит на мостике огромного корабля, которым является весь земной шар, но палуба которого каким-то парадоксальным образом ограничена этой остановкой, и стоит ему неосторожно сделать шаг в сторону, как он окажется за бортом, и тогда его уже никто не спасет, но самое главное, он тоже уже не сможет спасти мир, который окончательно провалится в бездну, погрузится на дно огромного космического моря. Костя чувствовал себя Капитаном, который в одиночестве должен выстоять вахту до конца и привести свое судно к берегу. Холода Костя почти не чувствовал. Мимо чередой проходили трамваи, Костя замечал их огни издали, ему казалось, что это огни встречных кораблей.

Он был командиром флота, флота, который только на время покинул российский берег, скрывшись в море от захватившей Крым Красной Армии. И вот теперь их корабль снова приближается к берегу, снова он и его товарищи совершат высадку, и отсюда с этого момента начнется возрождение России, ее “освобождение от большевистской сволочи” – эту фразу Костя с чувством произнес вслух и даже сплонул на землю, как и положено было продолжателю дела адмирала Колчака, коим в этот момент Костя себя вообразил.

Время шло. Монотонное дребезжание проходящих мимо трамваев начало раздражать Костю, сначала немного, потом все сильнее и сильнее. Больше всего его раздражала полная детерминированность и предопределенность в движении проходящих мимо него металлических конструкций, то, что они все должны были двигаться по заранее проложенной колее. Больше ему не казалось, что это корабль. Теперь ему казалось, что это огромные металлические болванки, совершающие поступательные движения вокруг земли, на которых как бы держится весь ход современной механистической технократической цивилизации.

Вдруг Костя почувствовал, что во что бы то ни стало должен остановить эту огромную машину, воспрепятствовать этому однообразному унылому движению и, тем самым, остановить весь этот бессмысленный научно-технический прогресс и повернуть историю вспять. И прежде, чем очередной подошедший к остановке трамвай успел тронуться с места, он вдруг резким прыжком выпрыгнул на трамвайные пути, и, загородив ему дорогу, раскинул руки крестом, как бы принимая на себя всю тяжесть мира. Раздался звонок, Костя заметил, как лицо сидевшей в кабине женщины-водителя озарилось злобной улыбкой, и трамвай резко тронулся с места. В это мгновение кто-то с силой рванул его за рукав. Это какой-то случайный прохожий успел схватить Костю за руку и

отташил в сторону. Прохожий что-то громко вопил и ругался, толпившиеся вокруг на остановке пассажиры тупо смотрели на Костю, ничего не понимая. Вскоре все успокоились и разошлись. А Костя продолжал свою вахту.

Вдруг он заметил пробежавшую мимо него черную кошку, кошка зябко поеживалась на мокром снегу и прижималась к его ногам. Он подумал, что коты, в отличие от людей, полны грации и красоты, они никому не служат, это аристократы, ведь аристократы не должны работать, недаром ведь и сутенеров, которые живут за счет женщин, зовут “котами”, он вдруг понял, что и он сам тоже был котом, огромным Котом, Котом Котов, который должен был спасти красоту мира, а вместе с ней и сам мир. Вокруг него сновали прохожие, они были враждебны ему, потому что у них была собачья сущность, это были суки, ссучившиеся, они все виляли, вихлялись, ускользали, убежали в улицы, в переулки...

Тут мимо него прошел мужичок небольшого роста, в потрепанной кепчонке и черной курточке, и Костя внезапно понял, что это есть самая главная Сука, которая поведет его отсюда, из Западной Европы в Сибирь, туда, где в лагерях, замурованные “во глубине сибирских руд”, его уже ждут посвященные, воры в законе, авторитеты, которые и дадут ему ключи от мира. Эта идея пришла в голову Кости благодаря двойному значению слов “кот” и “сука”, их взаимной противоположности. Только Косте надо было быть очень осторожным, ведь все “суки” ненавидят “котов”, особенно самого “Кота” – мессию.

Костя пошел за этим мужиком. Очень скоро мужик почувствовал, что за ним следят, он стал нервно оглядываться, ускорял шаги, но Костя не отставал, он был не так-то прост, он не упустит *эту суку*. Мужичок зашел в универмаг “Монопри”, сделал какие-то покупки. Костя повсюду следовал за ним, держась на некотором расстоянии, так, будто он вел его на поводке. Наконец мужик дошел до дома, остановился у парадной, обернулся, и вдруг пошел прямо на Костю, что-то истерично крича ему по-французски. Костя был готов к подобной агрессии, ведь мужик был сукой, но он знал, что Кот не должен действовать грубо, прибегать к насилию, ибо вся его сила заключается в его грации и красоте, поэтому он повернулся и пошел прочь.

Он шел по каким-то узким улицам. Он вдруг вспомнил слова из русской сказки “идти, куда глаза глядят”, да, вот именно, он должен “идти, куда глаза глядят”.

Пьер очень любил испражняться и мочиться, у него это вызывало очень приятные ощущения. Иногда он голосом, дрожащим от нежности, спрашивал у своей жены :

— Ты знаешь глаголы испражняться и мочиться?

Она ничего не отвечала, а он шел в туалет, и там долго с наслаждением

кряхтел. Когда-то давно он читал Коран, там было написано, что после того, как человек помочился или испражнился, он должен совершить омовение руками, вот почему в каждом арабском туалете стояла жестянка с водой. Пьер одно время тоже намеревался стать мусульманином, но потом пришел к выводу, что нет, не стоит, ведь там нет такого количества любви, как в православии.

Про евреев же в Торе написано, что они должны всячески почитать собственное тело, чаще подмываться и любыми путями делать деньги. Насчет тела он был согласен, хотя в чем-то это его раздражало, мыться Пьер не любил, а с деньгами и вовсе ничего общего иметь не хотел. Его отец был аристократом, и Пьер любил повторять, что деньги пачкают руки, это дерьмо, настоящие аристократы плюют на деньги. Пьер останавливался посреди улицы и смачно харкал на тротуар, потом громко выпускал газы, тем самым подчеркивая свое презрение к поганым деньгам.

Об этом он писал и художникам из Москвы Ире и Володе, которые приехали к нему в гости. Ира и Володя были родителями Насти и Валеры, это была целая семья художников. Ирина и Володя приезжали к Пьеру уже три раза, один раз жили восемь месяцев, второй раз шесть, а когда они собрались присхать в третий раз, то Ирина предварительно позвонила из Москвы и сказала:

— Пьер, мы приедем на выставку на две недели! — и повесила трубку, а Пьер даже и не успел ничего сказать, он вообще стеснялся отказывать, он объяснял это тем, что плохо говорит по-русски, но по-французски на самом деле было то же самое.

Сначала Пьеру было с ними весело, к тому же они привезли ему водки и даже покупали еду, но постепенно они стали ему надоедать, он уже не мог видеть их рожи, каждое утро, каждый вечер они были в его доме. Особенно его раздражала Ирина, маленькая суетливая женщина, она всячески старалась угодить Пьеру, но тот озлоблялся все больше и больше. К тому же, у него в это время как раз жила его любимая, он спал с ней. Она даже снимала трусы, и он мог совокупляться с ней, когда хотел, и это его очень возбуждало, но к вечеру он уставал, правда, перед тем, как лечь в постель, он ел и пил красное вино, потому что ему нужны были силы - он говорил ей:

— Вы, женщины, всегда можете, а нам, мужчинам, необходимо зарядить свои батареи, - а когда девушка - ее звали Анна - хихикала, Пьер обижался и сопел. А Ирина и Володя постоянно были в кухне, они были там утром и вечером, утром Володя спускался на кухню, он мыл всю посуду, чистил плиту, варил кофе и курил. Пьер, лежа в постели, чувствовал сладковатый аромат табака, и необъяснимое отвращение поднималось в нем. В конце концов он оставил им записку «Вы уходите через неделю!» Они испугались, и на следующий день предложили ему деньги, двести франков. Пьер деньги взял, но

ночью опять впал в состояние озлобленности, вскочил и написал им еще одно послание: «Вы не купите за деньги мою свободу! Вы ворвались, как завоеватели, в мой тихий дом, и не хотите уходить! Вы предлагаете мне деньги! Но деньги - это грязь. Мне не нужны ваши поганые деньги!» Письмо вместе с деньгами он положил на стол. Потом отключил в доме газ, электричество, телефон и ушел жить к знакомым, а когда вернулся, то их уже в доме не было.

Отец Пьера часто говорил:

— Никогда ноги красного не будет в этом доме!

Под словом “красный” он имел в виду всех русских вообще. А Пьер сделал так, что “красные” постоянно торчали у него в доме, и его отец, наверное ворочался в гробу - эта мысль приносила Пьеру глубокое удовлетворение.

Когда Пьер был совсем молодой, его отправили на войну в Алжир, он попал туда вместо своего брата, потому что из семьи не могли взять сразу двоих, а мать Пьера не любила, вот на войну и пошел Пьер, а не его брат Жан-Франсуа. Пьер помнил, что там было много песка, и еще они все время очень боялись ночью: арабов, зажигательных бомб и стрельбы. Женщины там были очень красивые - белокожие, со светлыми волосами, но все в чадрах, хотя и таких женщин Пьер там видел очень редко.

Но там ему, на самом деле, было не до женщин, он очень боялся, ему все время было страшно. Потом он говорил, что на войну нужно посылать стариков, которым нечего терять, а молодые должны жить и наслаждаться жизнью, а он свои лучшие годы провел на этой поганой войне, и теперь вся жизнь его разрушена, может, именно из-за войны он и рехнулся, хотя, может, он был таким уже до войны - но ему больше нравилась мысль, что именно на войне он спятил, то есть стал паранормальным - так говорил Пьер и это слово ему очень нравилось - это значило что-то среднее между ненормальный и нормальный, но уже не сумасшедший.

Вообще за всю свою жизнь он мало имел дела с женщинами - он привык находиться в мужской компании с самого детства, - в школе обучение было раздельное - школа для мальчиков и школа для девочек, потом он был в организации скаутов - тоже с мальчиками, а потом в армии. К тому же он долго не мог сношаться - у него на члене образовался фимоз, и любое сношение причиняло ему ужасную боль. Когда он был в лагере РСХД у белых русских, он влюбился в одну девушку - ей было двадцать лет, и они с ней пошли в кусты, целоваться, а потом девушка полезла ему в штаны и взяла за член, член пришел в состояние эрекции, а Пьер ощутил невыносимую боль, потому что она своей неловкой рукой сдвинула тонкую кожицу, которая сдавила член Пьера, Пьеру было очень больно, но он терпел. Так у них ничего и не получилось.

Потом Пьер ушел к себе в комнату и так мучился со стоящим членом. Он стеснялся спросить у кого-нибудь совета, но когда страдания стали невыносимыми, он наконец осмелился спросить у врача. Врач посоветовал опустить член в холодную воду, Пьер так и сделал, и все наконец прошло. Но страх перед сношением остался надолго, даже после того, как он по совету брата сделал обрезание - у него под кожей члена скопилась грязь и началось что-то вроде нагноения, поднялась температура, и брат срочно повел его к врачу, который и обрезал Пьера, поэтому Пьер говорил иногда, что он еврей, и загадочно улыбался.

В молодости Пьер хотел посвятить свою жизнь Богу и даже поступил в католический монастырь. Он хотел стать известным монахом, чтобы все ему кланялись и почтительно с ним говорили. В этом монастыре был молодой монах, похожий на ангела. Однажды Пьер сидел у пруда и думал про этого монаха, думал так долго и сосредоточенно, что у него заболела голова. Он уже ничего не мог понять, а знал только одно - он любит этого юношу и ничего не может с этим поделать. Но что же дальше? Какой мог быть выход из этой любви? Пьер так запутался, что никакого выхода уже не видел.

И вот он встал и вышел за ворота монастыря. Он инстинктивно решил бежать от этой греховной любви, а когда проходил мимо ворот, в последний раз оглянулся и посмотрел на стоявших у церкви монахов, и тут он вдруг заметил, что они все вместе низко поклонились ему. Пьер понял, что это неспроста.

Он пришел к себе домой в Буа Коломб пешком, его отец и мать тогда были еще живы, они сидели на кухне и ели суп с брюссельской капустой, а когда увидели Пьера, то не поняли, что же произошло. Он молча поднялся к себе в комнату и лег на кровать.

И так пролежал почти год, он потом рассказывал всем, что пребывал в растительном состоянии: его мать приносила ему еду, а он ел, лежал и смотрел в потолок. Он лежал так долго, что наконец ему захотелось повеситься. Он взял веревку, намылил ее и аккуратно повесил на крюк от люстры, но когда он уже накинул петлю на шею, он вдруг ощутил в комнате слабое дуновение, как будто легкий ветерок, который становился все сильнее и сильнее, он не мог понять, откуда в комнате мог взяться ветер, ведь все окна и двери были закрыты, но дуновение ощущалось явственно, и Пьер наконец догадался, что это Святой Дух.

Когда Пьер почувствовал рядом с собой присутствие Святого Духа, он понял, что ему не надо вешаться, и спустился вниз на улицу. Когда он проходил мимо комнаты своего отца, его отец слушал пластинку с записью Вагнера, он всегда это делал в свободное время, отчего у Пьера на всю жизнь осталось отвращение к классической музыке. Пьер вышел из дома и пошел по дороге, куда глаза глядят. Но далеко он не ушел, вскоре его настигла машина

“скорой помощи”, и санитары в белых халатах его забрали и отвезли в психбольницу. Санитаров, как потом оказалось, вызвал его брат, которому позволили родители.

Пьер провел в психбольнице два года. Там он начал писать стихи, ему даже дали пишущую машинку, и научился играть в теннис, стал чемпионом на своем отделении. В больнице Пьеру сделали восемь электрошоков, и это было самое ужасное. Пьер не любил вспоминать об этом, и только говорил, что когда ты потом приходишь в себя, тебе не хочется жить.

Затем Пьер отправился бродить по Франции, он стал странником, потому что его родители не хотели больше его кормить, а работать он устроиться не мог. Правда, один раз ему удалось устроиться учеником машиниста электрички, он закончил специальные курсы и даже прошел практику, он был счастлив, потому что чувствовал себя полноценным человеком. Однажды Пьер вел электричку и не успел затормозить на остановке, поезд проехал мимо перрона и все пассажиры, ругаясь, вынуждены были спрыгивать с подножек прямо на землю и брести обратно к перрону. Его учитель сказал ему:

— Не волнуйся, ничего с ними не случится, дойдут.

Пьер очень смеялся. Тем не менее, когда он пришел получать удостоверение, ему отказали, мотивируя это тем, что во время войны в Алжире он убил своего товарища, хотя это и было неправдой, Пьер сам не мог спокойно вспоминать об этом случае.

Как-то он вел машину с боеприпасами, сидел в кабине и курил, а его товарищ находился в кузове. Всего на одно мгновение Пьер отвлекся от дороги, кажется, мимо проходила женщина, и Пьер повернул голову, чтобы ее разглядеть, дул сильный ветер, и ее широкая рубаха обрисовывала ее грудь и бедра, Пьер отвернулся только на одну секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась. Его товарищ погиб, придавленный кузовом.

Этот случай всю дальнейшую жизнь преследовал его. Потом он даже и не пытался найти себе постоянную работу.

Только когда он ждал приезда Гали, он устроился работать кассиром на бензоколонку на неполный рабочий день, но ему не нравилось, что он все время должен слушаться хозяина и приходиться на работу в определенное время, а потом сидеть там до самого вечера. В конце концов, он поругался с хозяином и ушел с работы.

Пять лет Пьер бродил по Франции, потом он познакомился с белыми русскими, которые ему очень помогли, приютили его и дали работу - он работал у них в лагере РСХД шофером грузовика. Тогда он и решил принять православие и окончательно сделаться русским. Он все время хотел поехать в Россию и даже мечтал остаться там навсегда, потому что в России все было очень дешево - и квартиры, и питание, а медицинское обслуживание было бесплатным. Ну а русские женщины были самые красивые и добрые - он

мечтал жениться на русской и чтобы у них родилась дочка. Только в России возможно, чтобы нормальная женщина вышла замуж за больного или ненормального - во Франции больные могут жениться только на больных.

Уже темнело. Как и положено Коту, Костя перелезал через заборы, влезал в какие-то самые невероятные дыры и щели — ему обязательно нужно было запутать свой след. И вдруг, совершенно случайно, он поднял голову и увидел табличку с названием улицы — это была та самая улица, на которой жила Катя! Он понял, что это Знак, и стал смотреть номера домов, отыскивая тот самый, нужный номер.

Катя был единственной, кого Костя здесь в Париже еще знал, кроме Пьера. Катя была феминистка, в свое время высланная из Советского Союза во Францию. Они познакомились два года назад в Ленинграде на философской конференции, где Катя делала доклад о положении женщин в СССР. Костя очень понравился Кате, и его стихи, и внешность, она громко восхищалась им, Катя была лет на десять старше Кости, но Косте, не привыкшему к публичному признанию, ее внимание льстило, тогда он публиковался только в самиздатовских журналах. Катя была высокая тучная женщина, с редкими светлыми волосами, собранными сзади в старушечий пучок, бледно-голубыми, почти белыми глазами, и картофелеобразным носом, на котором сидели очки в железной оправе, она носила платок, как носят старушки на богомолье.

Они зашли вместе выпить в какую-то грязную забегаловку на углу Загородного и Разъезжей, Катя, как всегда, ужасно напилась, открыла сумку и стала размахивать толстой пачкой долларов, стараясь привлечь к себе внимание окружающих.

— Я жертва Гулага, а это мой товарищ по Гулагу! — вопила Катя, тыча пальцем в Костю. Косте с трудом удалось ее успокоить, он проводил ее домой и почти сразу же ушел, потому что дома сидел очередной катин муж, который затравленно смотрел из угла, а Косте это было неприятно, ему не хотелось над ним издеваться. К тому же, катин муж недавно вернулся с Афона, где провел два года, поэтому еще не успел привыкнуть к мирской жизни.

Правда, на следующий день Костя снова пришел к Кате, она была очень злая, что с похмелья было вполне естественно. Ее мужа он не увидел, зато за столом сидела тощая девица в очках с толстыми линзами и с огромным перекошенным носом. У Кости создавалось такое впечатление, что он видит ее отражение в кривом зеркале, но это было не отражение, а вполне реальное лицо. Она выгнула шею и молча ревниво уставилась на Костю.

— Знакомься, Костя, это мой секретарь Агафья, — Агафья, никак не реагируя, продолжала злобно изучать Костю, и только через некоторое вре-

мя кивнула ему головой. Катя достала бутылку вина и предложила опохмелиться.

— Я пить не буду, — визгливым голосом произнесла Агафья, — Я вообще пить не люблю.

— Ну Агафьюшка, пожалуйста. — стала упрашивать ее Катя и не отставала до тех пор, пока Агафья не выпила рюмку.

С тех пор Костя часто встречал Агафью у Кати, и каждый раз она смотрела на него с нескрываемой злобой, а Катя начинала очень веселиться, ее почему-то забавляло поведение Агаши - как она ее ласково называла, ведь она была феминистка и считала своим долгом обращаться с женщинами нежно и ласково.

Пьер ходил в расстегнутых рваных штанах, не мылся, от него плохо пахло, но он был де ля Фейяд, аристократ, поэтому “белые русские” – потомки первой волны русской эмиграции – не считали для себя зазорным приглашать его на разные званые вечера и семейные праздники.

Барон Чигирев, который жил в маленькой тесной квартирке блочного пятиэтажного дома в десятом арондисмане, плотного сложения, с воспаленным взглядом и красным опухшим от пьянства лицом, был его приятелем. Своей жене барон часто повторял, что Пьер не такой, как все, и что он его очень любит. Сам Пьер в равной мере ненавидел и буржуазию, и аристократов, он считал себя анархистом.

Однажды Пьер предложил Марусе сходить с ним и с Галей на свадьбу одного из многочисленных здешних князей или графов, из белой эмиграции. Они обычно женятся на своих, причем плодятся со страшной силой, как тараканы. Они обязаны таким образом поддерживать породу, это Марусе потом объяснил Пьер. Поэтому у них у всех по десять детей, а то и больше.

Маруся хотела отказаться, но не смогла. Она уже два дня ничего не ела, а Пьер уверял, что на свадьбе очень хорошо кормят. Пьер радостно вывел машину со двора, Галя села рядом с ним, Маруся — сзади, и они поехали в центр. По дороге Пьер говорил без умолку, он был очень рад, что его сопровождают две дамы.

Недалеко от парка, где происходила свадьба белых русских, они спустились в паркинг, чтобы оставить там машину. Паркинг представлял собой страшный ободранный бетонный коридор, заполненный запахом бензина и выхлопными газами, казалось, отсюда невозможно найти выход.

— В паркингах иногда происходят странные вещи..., — задумчиво сказал Пьер, загадочно поглядывая то на Галю, то на Марусю.

Маруся надолго запомнила, какая на той свадьбе была необычайно красивая зеленая трава, яркая, как будто ее покрасили, все это происходило в Мон-

жероне в парке. Как в Советской России раньше перед приездом на смотр войск какого-нибудь важного лица, генерала, например, чистили черным гуталином шины машин и красили зеленой краской траву, чтобы было красиво. И на такой яркой зеленой траве стояли столы, покрытые ослепительно белыми накрахмаленными скатертями. Столы были большие, прямоугольные, на них были тарелки с крошечными бутербродиками, самыми разными.

Все приглашенные расхаживали по этой травке, чинно переговариваясь. Дамы были в шляпках с вуалетками, и туфли у них были обязательно одного цвета с платьем. К столам никто не подходил и ничего оттуда не брал - значит, еще было нельзя. Потом появились лакеи в черных фраках и белоснежных рубашках. они разливали разные напитки, тут уж самообслуживание не допускалось, все сразу подошли к столам и образовалась даже небольшая давка, как у прилавков ленинградских магазинов, когда продавали, например, баночки с дешевым детским питанием. Лакеи очень здорово секли, кого надо обслуживать в первую очередь, они сразу видели, кто одет получше, да честно говоря, одежда была не так уж важна, у них социальное положение было написано на мордах. Их дети путались у них под ногами, но никто на них не кричал, наоборот, когда один ребеночек залез на стол, все стали на него умиляться, а потом так нежно его сняли.

Один Пьер был в расстегнутой рваной рубашке, покрытой пятнами, из-под рубашки выглядывала грудь, покрытая седой растительностью, нос у него был красный, и на нем тоже росли волосы, а бороденка торчала сбоку подбородка. Щеки у него отвисали и были все в красных прожилках, рот был под самым носом и совсем перекошенный. Он стоял у стола и протягивал руку с мутным стаканом лакею, а лакей обслуживал других гостей, их было много, и всем хотелось пить из-за сильной жары. Правда, похоже было, что Пьер уже успел выпить, потому что нетвердо держался на ногах и радостно смеялся, широко раскрывая рот, откуда торчали обломки почерневших зубов, и дрожал красный толстый язык, смех у него был какой-то очень визгливый и возбужденный, он переговаривался с Галей, у нее был заторможенный вид, она тоже улыбалась и что-то там сюсюкала, он все время хватал ее за руку, а она незаметно пыталась ее забрать. В общем, он стоял так со стаканом уже довольно долго, а лакей все не замечал его. Наконец, примерно этак через полчаса, он все же налил ему красного вина, и Пьер, очень довольный, стал прихлебывать из стакана, закусывая бутербродом.

Когда же свадьба закончилась, и все стали расходиться, они отправились в паркинг, тут выяснилось, что Пьер забыл, где он оставил свою машину. В паркинге было несколько "уровней", то есть этажей, все они были одинаковые, обозначались только буквами, и вот букву-то Пьер и забыл, они долго ходили все втроем с этажа на этаж, бродили вдоль рядов машин, пару раз их едва не задавили какие-то лихачи, въезжавшие в паркинг или выезжавшие

наружу. Галя и Пьер уже начали переругиваться, Пьер весь вспотел, и периодически вытирал свой лоб полой рубашки, он был в полной растерянности. А Галя даже стала хныкать, потому что Юля осталась дома под присмотром сумасшедшей Эвелины, и кто знает, что ей может прийти в голову, Пьер тут же заявил, что Эвелина ничуть не более сумасшедшая, чем сама Галя или, к примеру, Маруся, и что с Юлей ничего случиться не может, и так они ходили кругами по этому паркингу, Марусе все это уже надоело, и она решила оставить их здесь и ехать на метро, хотя ей и жалко было тратить зеленый билетик. В этот момент Пьер резко метнулся в сторону и разразился диким хохотом – оказывается, его машина была здесь, таких машин здесь больше не было, одна дверь была у нее заклеена изолентой, одно крыло выкрашено в белый цвет. Пьер с гордостью и превосходством посмотрел на Галю с Марусей, он ждал похвал и восторгов, Галя тут же подошла и поцеловала его в знак благодарности.

Костя запомнил катин дом и подъезд, потому что неделю назад, на второй день после приезда в Париж, он уже приходил сюда на Бобур вместе с Марусей. Костя тогда был очень возбужден, они выпили много красного вина, а потом Катя повела их в кафе. У Кости же внезапно начался приступ блевотины, наверное, потому, что перед этим по настоянию Маруси он принял галоперидол, а психотропные средства обычно нельзя совмещать со спиртным. Приступ начался как раз в тот момент, когда они зашли в комфортабельное кафе и сели на красный бархатный диванчик, на который Костя и начал вдруг блевать, официант хотел было что-то сказать, выразить недовольство, но Катя сунула ему в руку несколько монет по десять франков, и он заткнулся.

Потом они переходили из одного кафе в другое, Катя говорила, что это называется “Grand tour royale”, и что так обычно делают французы, когда происходит большая гулянка. Костя же, желая показать Кате чудеса ловкости и героизма, переходя улицу, буквально бросался под колеса машин, которые шли нескончаемым потоком, и Маруся всерьез начала опасаться, что его в конце концов задавят, но машины обычно притормаживали, и Костя проходил перед ними демонстративно медленным шагом с насмешливой и гордой улыбкой на губах, а Катя аплодировала. Особенно Катя была довольна тем, что он заблевал все кругом.

— Правильно, молодец, только такие чувства и может вызывать этот город. Давай еще, молодец, – подбадривала она его. Посетители за соседними столиками в кафе смотрели на них в ужасе, а блевотина все продолжалась и продолжалась, казалось, ей не будет конца, но Катя была в восторге и все твердила:

— Молодец, хорошо, так их, так...

А потом, когда они вернулись к ней в квартиру на Бобур, в гости сразу же притащилась катина безумная соседка. Костя пытался поцеловать ее мокрым от блевотины ртом, а она взвизгнула, тогда Костя ударил ее по башке, а она начала визжать и орать, и даже, правда с некоторым опозданием, театрально грохнулась на пол, Костя тоже повалился на кровать и не мог встать, он лежал и без остановки хрипел:

— Уберите эту женщину!

Соседка вскоре ушла, а Катя задумчиво посмотрела на Костю и внезапно сказала с отвращением:

— Да, все хорошо, конечно, но ведь нельзя столько блевотины в первый же день - это ни на что не похоже, должен же быть предел, - и раздраженно передернула плечами. Маруся удивилась, потому что буквально за полчаса перед этим она, казалось, совершенно искренне восхищалась костиним поведением.

У Пьера не было времени, он работал у одного своего знакомого актера-кукловода, который тоже был из белых русских, звали его Коля Уткин, хотя по-русски он не говорил ни слова, а куклам вообще не надо уметь говорить, они говорят всем своим телом. У актера был свой дом, который стал проваливаться из-за того, что у него не было фундамента. Правда, он и купил его по дешевке, но все же он не рассчитывал, что это произойдет так скоро. Актер играл все время в одном и том же спектакле, где вместе с людьми использовались огромные куклы-марионетки. Он был лысый, с гнилыми зубами и улыбался сладкой улыбкой. Пьеру он платил очень мало, а иногда и вообще ничего не платил. Коля жил с приземистой кудрявой женщиной Фредерикой, которая была лет на десять старше его и курила травку. Точнее, травку они курили вместе.

Во время работы Пьер часто рассказывал Коле разные истории. Например, он внезапно вспомнил своего друга, его жена стала ужасно толстая, просто жутко разжирела, и друг начал ей изменять, он гулял направо и налево, и жена, разозлившись, однажды ночью взяла его вставную челюсть и бросила ее в камин, челюсть сгорела. Только так и удалось ей сохранить семью, потому что друг без челюсти не мог идти на свидание. Коля Уткин делал страшные глаза и ужасался, а потом хохотал.

Хотя Уткины и были из белых русских, они никогда не были в России, они ее ненавидели, потому что ненавидели коммунистов. Иногда они спрашивали у Пьера, как там, в России, а он им рассказывал, что в Петербурге всюду говно, оно капает со стен и течет с неба, а если начинаешь рыть яму и берешь лопату — то рраз! — говно брызжет тебе прямо в рожу. Какой кош-

мар, все воняет. еще хуже, чем в Париже! Уткины начинали громко ржать. Пьер продолжал, уже переходя на Францию:

— В Сене плавает дохлая рыба кверху брюхом, ее много, а правительство обещало, что в 21 веке все будут жить в полной чистоте. Но вообще-то, что такое чистота? — В одной философской книге Пьер прочитал, что никакой разницы нет, что грязь, что чистота, - один хрен! Поэтому Пьер никогда не стирал одежду, он стирал только простыни. Почему — понять было невозможно, но он никогда не думал на эту тему.

В первый раз, когда Маруся пришла к Уткиным, ей показалось, что Фредерика после сильного перепоя. Она смотрела на Марусю странным пристальным взглядом и постоянно громко смеялась, обнажая большие желтые лошадиные зубы, и только потом Маруся поняла, что она просто обкурилась гашиша. Они с Колей все время курили гашиш, покупая его у одного знакомого негра, маленький кусочек величиной с орех стоил двести франков, поэтому им приходилось на всем экономить. В тот раз у них в гостях была еще колина старая знакомая, которая раньше работала вместе с ним в театре, знакомая была очень худая, лицом походила на индианку, на ней были веревочные сандалии, такая же сумка, и одета она была в рубаху из грубого холста. Она, как и Фредерика, постоянно смеялась визгливым смехом. А когда Коля сказал ей, что Маруся из России, стала почему-то по-английски говорить, что на Западе все прогнило и все дерьмо, и что красивые витрины дорогих магазинов только раздражают людей, которые ничего не могут купить, она считала, что Ленин был прав, и вообще, оказалась прокоммунистических убеждений. Закончив свою речь, она свернула себе косяк и с жадностью затянулась.

Фредерика же все время повторяла :

— А вы были в Италии? Ах, в Италии все так ку-у-ультурно! Так ку-у-ультурно! — и лукаво смотрела на Марусю. Маруся спросила ее:

— А в России вы были?

И Фредерика ответила:

— Нет!

— Так приезжайте к нам в гости, - пригласила Маруся.

— А что я там забыла? - ответила Фредерика и внезапно громко заржала. Потом они покурили гашиша и Маруся тоже, хотя ей было неловко потреблять такой дорогостоящий продукт, к тому же гашиш особого эффекта на нее не произвел, и тем более не стоило его переводить. Впредь она решила отказываться. Потом она приходила к Коле вместе с Костей, а когда Костя уехал из Парижа в Россию – еще пару раз, одна.

У Коли еще были братья Серж и Жан, причем Серж, по словам Пьера, в молодости был очень красив, настоящий «эфеб», и Пьер даже чувствовал, что он в него влюблен. Но Пьер стыдился своих тайных гомосексуальных наклонностей и все время повторял :

— Трахать кого-нибудь в задницу! Какая гадость!

К тому же, в последнее время Серж очень разтолстел, подурнел, стал сильно пить. Коля говорил, что “все это из-за несчастной любви”.

Костя какое-то время постоял у дверей катиного подъезда, пытаясь угадать код, но, к счастью, двери открылись, оттуда вышел человек и пропустил Костю внутрь. Костя зашел, озираясь по сторонам, стал подниматься вверх... Вот, на дверях написана ее фамилия! Дверь открыла сама Катя, она была накрашена и одета в красивое красное платье. Плащ на Косте был в нескольких местах разорван, руки ободраны до крови, на щеке была размазана грязь.

— Что так долго, — почему-то сказала она и посмотрела на него, загадочно улыбаясь. Костя уверенно прошел в комнату. Там уже был накрыт стол, за которым сидела Агафья — ее он сразу узнал, мужик в очках (его он тоже как-то видел у Кати), и еще несколько незнакомых мужиков с бородами.

Все присутствующие так увлеклись беседой, что почти не обратили внимания на появление нового гостя. Катя сидела во главе стола и подливала всем вино. “Вот оно, это собрание состоялось специально ради него. Именно он спасет Россию, собравшиеся здесь пойдут на Дон и поднимут казачество”, — от вида накрытого стола и большого скопления людей мысль у Кости заработала с утроенной силой. Костя опять вспомнил, что он был не только Кот, но и Капитан русской флотилии, совершивший высадку в Крыму, под Перекопом.

— Да, представляете себе, ведь Россию можем спасти только мы, — авторитетно рассуждал огромный мужик с всклокоченной седой бородой, обводя всех сидящих за столом воспаленным взглядом из-под очков, — интеллигенция, — последнего слова Костя явно не расслышал, такое сильное волнение произвело в его мозгу начало фразы. — Мы должны чувствовать ответственность перед своей страной, ее народом, традициями, культурой, — продолжал оратор, поправляя очки.

— Конечно, я совершенно с вами согласна, Иван, — громко и значительно проговорила Катя, при этом даже слегка привстав со стула и подливая себе вина, — Я всегда думала об этом. Но нельзя забывать о вере, хотя Лиотар понимал традиции несколько иначе, чем Вы!..

— Конечно, — подумал Костя, — они догадались, что Капитан уже с ними, однако никто из них не знает, что он еще и Кет.

В это мгновение Костя поскреб ногтем по скатерти стола и попытался улыбнуться загадочной кошачьей улыбкой. Сидящие за столом не обращали на него никакого внимания.

-- Да! Как я раньше не догадался! Об этом знает только она! — Внезапно Костя вспомнил Марусю. когда он в последний раз ее видел, она сделала ему

рукой какой-то странный жест. И только сейчас он понял: когда они победят, гимном России будет “Мурка”. Он даже на мгновение представил себе, как футболисты сборной России перед началом матча со сборной мира застыли на поле под звуки этой песни, а на флагштоке вверх взмыло знамя с изображением улыбающегося марусино лица.

Но “Мурка” – это не просто так, это еще и разгадка самого главного Кота, ведь “Мурка” – это еще и кошка. Главная Кошка. “Эх Мурка, Маруся Климова...” – пронеслось в голове у Кости, но на последнем слове он осекся, не решаясь даже в мыслях до конца произнести эту сакральную фразу, потому что ему казалось, что тогда он может разгласить какую-то самую страшную и не доступную никому тайну, и суки, узнавшие тайну марусино имени, набросятся на нее и растерзают. Однако это совпадение еще сильнее укрепило Костю в глубине и серьезности его неожиданного прозрения. И вдруг Костя испугался, его смутила трагическая концовка мистической песни. Но испуг длился недолго, в то же мгновение перед его мысленным взором предстала заключительная сцена *конца мира*, который должен был завершить все тысячелетия истории человечества.

В просторном залитом светом огромных хрустальных люстр зале ресторана за накрытым белой скатертью столом сидела Маруся, одетая в черную кожаную куртку, а рядом с ней сидел здоровенный мужик в милицейской форме, это и была самая главная Сука – Антихрист. И вдруг дверь ресторана распахнулась, и на пороге появился Костя, Костя направился своей эlegantной кошачьей походкой, ловко лавируя между столиками, прямо к Марусе. Казалось, что он уже не идет, а танцует, выделявая самые невероятные па, как Нижинский в “Послеполуденном отдыхе фавна”, этот безумный танец был тайным оружием Кости, он должен был сокрушать сознание всех врагов Кости, сводить их с ума. У окна за столиком Костя заметил даму с вуалью, это была Катя, одновременно Катя была и Незнакомкой, которая каждый день приходила сюда, в этот ресторан, и “медленно пройдя меж пьяными...”, садилась у окна. Вуаль позволяла Кате глядеть на божественный танец Кости и не ослепнуть.

Тем временем, Костя уже вплотную приблизился к столику, за которым сидела Маруся, вот он засовывает руку за пазуху и... достает оттуда небольшую коричневую маслину и протягивает ее Марусе. “Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь “маслину” получай!” Вот в этом двойном значении слов и заключалась загадка мира, которую он, Костя, разгадал.

Нет, не напрасно он днями напролет изучал труды русских философов: Флоренского, Бердяева, Булгакова. Костя вспомнил, как на целые дни уходил в библиотеку и все читал, читал, читал, даже тогда, когда им с Марусей совсем нечего было есть. И Маруся тоже не напрасно жертвовала собой ради него. Теперь ключ от мира был у него в руках, в этой маслине. Все трансцен-

дентное стало имманентным. На смену Царству Кесаря пришло Царство Духа. Свершилось – Красота спасла мир!.. “Так и кончается мир. так и кончается мир. только не криком...” – пронеслась в голове строчка из поэмы Элиота, — “только не криком, а смехом!” — торжествующе завершил ее Костя.

И действительно, Маруся, увидев “маслину”, радостно рассмеялась, но рассмеялась не только она, рассмеялись все посетители ресторана, осталась грустной только сидящая у окна Незнакомка, она была обречена на вечную печаль, как Агасфер в свое время был обречен на вечную жизнь. Но это еще не все, сидящий рядом с Марусей огромный плечистый милиционер, с красными погонами и в фуражке с красным околышем, сам сука – Антихрист, тоже вдруг расхохотался громким раскатистым добродушным смехом. Ба! Как же Костя его сразу не узнал, это же был дядя Степа, тот самый дядя Степа-милиционер, книжку про которого читала ему в детстве бабушка...

В детстве Костя долгое время жил у бабушки на Воронежской улице, неподалеку от Лиговского проспекта и Обводного канала. Они жили в огромной коммунальной квартире, где было еще не меньше двадцати семей, на первом этаже, в доме, в котором раньше, до революции, располагалась конюшня. Среди соседей Кости были люди самые разные, был даже один бывший власовец, дядя Женя, который уже отсидел свое и работал водителем самосвала. Власовец дядя Женя часто брал маленького Костю с собой кататься на машине, Костя хорошо запомнил его лицо. И вот это лицо благородного предателя и было теперь у дяди Степы, за внешней суровостью которого явственно проступала какая-то скрытая, лукавая доброта.

От сознания того, что он понял самое главное, его охватило ощущение счастья, и он с размаху плюхнулся на диван, громко замыкал, а потом заорал:

— Ну все, бля, суки, конец света! Конец света, бля!

Все в ужасе уставились на него, а потом Костя заметил, что за столом никого не осталось. Гости перешли на кухню, и оттуда явственно доносился какой-то шепот. Потом Костя услышал, что гости расходятся. “Собираются на Дон”, — подумал Костя. Он тоже встал и многозначительно сказал Кате, что ему тоже пора. Костя считал, что никаких лишних слов не нужно, все и так все понимают.

-- Да? — переспросила Катя, — Ну ладно, иди. Приходи, когда захочешь, и только со двора посвисти, я тебе сразу открою.

Кажется, она уже была основательно пьяна. Агаша же продолжала сидеть за столом, и в ее взгляде, устремленном на Костю, читалось какое-то тайное наслаждение.

Потом Маруся слышала, что Агаша всем рассказывала, будто Костя был в нее влюблен, но она не отвечала ему взаимностью, а из-за этого тогда и разыгралась за столом эта трагическая сцена. Вообще, в Агашу были влюблены все мужчины, которых она знала. Она постоянно об этом всем говорила.

Здесь в Париже, в Агашу был влюблен араб, хозяин ресторана на Рамбюто, куда Агаша с Катей часто ходили обедать.

— Ах, он такой красавец, он даже красивей, чем Костя! – говорила Агаша, этот образ она часто использовала в своих рассказах, Костя служил для нее своего рода эталоном, единицей, положенной в основу измерения мужской красоты.

Был в Агашу влюблен и прыщавый ветеринар Жан-Пьер, живший по соседству, напротив станции метро “Арз э Метье”. Ветеринар случайно отравил крысиным ядом свою жену и отсидел за это пять лет в Санте. Агаша один раз ходила с ним на выставку “Арт брют”, на которой были представлены картины четырех парижских шизофреников. На одной из картин была нарисована огромная крыса с открытой пастью, пытающаяся проглотить раскаленное солнце, картина называлась “Крыса и Солнце”. Ветеринар переминялся с ноги на ногу и все порывался отойти в сторону, пройти дальше, к другим картинам, однако Агаша почему-то задержалась именно у этой картины и внимательно рассматривала именно эту картину в течение пятнадцати минут, как минимум.

Агаша называла ветеринара очень “тонким и чувствующим человеком”, но, видимо, для нее он все же был недостаточно тонок, потому что Агаша, которой было уже за тридцать, так ни разу и не была замужем, в последние годы она полностью жила на содержании у Кати, исполняя при ней обязанности секретарши-компаньонки. Катя же, наоборот, меняла своих мужей постоянно. Катя и Агаша вели философскую переписку о любви, в которой делились своим опытом и наблюдениями в этой сфере человеческих чувств, имен они не называли, так как переписку публиковали в одном из эмигрантских религиозно-философских журналов.

«Сегодня на дороге я встретил Ольгу, она прекрасна, ей двадцать восемь лет, у нее рыжие волосы, собранные сзади в конский хвостик. Мы вместе лежим на траве и греемся на солнце, ее смуглые ягодички так и хочется укусить, ее груди, как спелые плоды манго. Она не любит животных. Она девственница, у нее нет детей, и, к тому же, никогда не было абортгов. Ее тело как персик. Мы обнимаемся и целуемся. Наши тела покрыты потом. Она вырывается и убегает как газель в ванную. Вечером мы идем купаться на Кокопляж, на озеро. Каждые сто метров мы останавливаемся, и наши языки переплетаются. Потом мы ложимся на траву и я...»

Тут Пьер задумался. Он не знал, что должно было произойти потом. Диалог кожных покровов - эпидермический диалог - вот что ему нравилось больше всего, половой акт казался ему отвратительным, это только животные совокупляются, люди тоже, к сожалению, в основной своей массе фаллокра-

ты, и среди них лишь немногие познали подлинную гармонию диалога кожных покровов.

«Главное - это твои чувства, твои пять чувств! Смотри на птиц в небе, они летают, солнце светит, трава зеленая, помидор красный! Радуйся! Не нужно думать! Все привыкли все время думать, это вредно для здоровья, нужно просто смотреть и чувствовать своими органами. Самое главное - это настоящий миг! Мой друг — известный писатель, сегодня я видел его в автобусе, он был в черных очках, потому что он не хочет, чтобы его узнавали на улице, он очень знаменит здесь во Франции. У него башка побрита под ноль. Он недавно был в Индии, там искупался в реке, и теперь у него стало что-то с глазами, он вынужден был согласиться на операцию. Теперь он в черных очках. Он педофил, он стал педофилом с тех пор, как его бросила жена, он ее очень любил, а она ушла к другому. Педофил - это тот, кто любит не только мальчиков, но и девочек»...

Костя вышел на улицу. Уже совсем стемнело, снег больше не шел, однако по-прежнему было довольно холодно. Костя был доволен. Он не сомневался, что с этого момента начнется возрождение России.

“Коты никогда не работают!” И Костя тоже никогда не работал. Конечно, за свою жизнь ему уже пришлось сменить множество профессий: от почтальона до санитара в морге.

Все началось с того, что, закончив Университет на одни “пятерки”, он получил распределение на кафедру в Институте АН СССР. Это было лучшее распределение у них на курсе, и все однокурсники искренне завидовали ему. Однако, отправившись однажды утром на работу, он почему-то там больше так никогда и не появился. Почему? Этого так никто никогда и не узнал. Сам Костя ничего внятного по этому поводу сказать не мог – он либо молчал, либо отнекивался, стараясь перевести разговор на другую тему.

Позже он признался Марусе, что просто в тот день была замечательная осенняя погода... Такие дни бывают осенью только в Ленинграде. Светило неяркое, подернутое легкой дымкой солнце, дул свежий ветерок, то и дело срывавший с деревьев красные, желтые, оранжевые и зеленовато-коричневые листья. И подходя к дверям своего Института, Костя вдруг почувствовал, что не должен туда идти, а должен подчиниться этому дуновению ветерка, прикосновение которого он вдруг ощутил с какой-то необыкновенной и пронзительной силой, хотя ветерок был совсем слабый и едва уловимый, ибо это дуновение влекло его куда-то вдаль, вслед за листьями, туда, где скрывалась под мостом делавшая в этом месте поворот река Мойка... После этого Костя надолго исчез из поля зрения его прежних знакомых и друзей.

Несколько лет Костя проработал в библиотеке. Точнее, и там он не работал, а медитировал – в то время Костя жил по дзэну. В его обязанности входила активировка книг, ему приносили огромные пачки всевозможной литературы, а он должен был печатать на машинке названия книг и журналов на специальных бланках. Поток литературы не иссякал ни на минуту, и Костя ни на секунду не отвлекался от своего занятия в течение всего рабочего дня. Он считал, что должен относиться со смирением ко всем своим обязанностям, поэтому не отказывался ни от какой работы: помогал при погрузке журналов, покорно возил тележку с книгами. За все время своего пребывания, Костя ни разу не повысил голос, был со всеми предельно вежлив и обходителен, хотя никогда сам ни с кем ни в какие разговоры не вступал.

Была в поведении Кости и некоторая странность: если книгу на его стол клали не совсем прямо, а боком или даже вверх ногами, то Костя никогда эту книгу сам не поправлял, а так и активировал ее, чуть замедляя ритм работы, внимательно вглядываясь в перевернутое или перекошенное название, стараясь его так прочесть, и, как правило, ему это удавалось. Он отрывал руки от машинки только в том случае, когда книга ложилась на стол вниз названием, и его ни на корешке, ни где-либо еще прочесть было просто физически невозможно. Эти безучастность и “безынициативность” слегка задевали его сослуживцев, большинство из которых были женщины. Они ведь не знали, что шестой Патриарх Дзена в Китае Хуйнэн сказал: “Нет никакой разницы между плохим и хорошим!” – и Костя стремился последовательно воплотить это правило в жизнь.

Впрочем, в библиотеке было так много работы, она представляла собой настоящий конвейер по переработке книг, платили там мало, людей не хватало, поэтому коллеги Кости в конце концов смирились с этой его странностью, они ценили его за исполнительность и безотказность. К тому же, большинство женщин не особенно утруждали себя на работе, они подолгу пили чай, болтали о том о сем, постоянно отпрашивались с работы домой, так что постепенно как-то само собой вышло, что гора книг на его столе становилась все больше и больше, а Костя, казалось, ничего не замечал, а сосредоточенно сидел за своим столом и стучал на машинке. За это тоже товарищи по работе ценили и уважали Костю, а некоторые даже искренне привязались к нему всей душой.

И неизвестно, сколько бы времени еще продолжалась эта идиллия, если бы, как назло, в то время не начались известные перемены в советском обществе. Женщины на работе так оживились и раскрепостились, что почти вовсе перестали работать, а только и делали, что делились друг с дружкой услышанными и увиденными по телевизору новостями. Для них это был период познания и открытия мира.

Почти целый месяц, например, они обсуждали перипетии трагической участи Бродского, который в то время как раз получил Нобелевскую премию. Все в один голос ужасались одиночеством и непониманием, которым тот всегда был окружен, в конце концов, все пришли к единодушному мнению, что поэт вообще не должен работать. Костя, который тоже писал стихи, слушал все это, сжав зубы, сам он уже давно телевизор не смотрел.

Бродского сменил Высоцкий, потом романтическая история любви курчавого певца и перезрелой певицы, бывшей его лет на пятнадцать старше, о которой поведала зачарованная сладким пением певца Гертруда Станиславовна, тощая женщина уже преклонных лет, продолжавшая работать, ибо “дома ей не хватало общения”. Хотя остальным коллективом эта история была воспринята крайне скептически, Гертруда Станиславовна продолжала настаивать на своем, и, как бы в подтверждение своих слов, привела в пример свою знакомую супружескую пару: “ей уже за девяносто, а ему нет и семидесяти, но они очень, очень любят друг друга!”

Потом на какое-то время всеобщее внимание приковал к себе Евтушенко, которого одна библиотечка считала “истинным продолжателем дел Маяковского”, хотя две другие с ней не соглашались. И наконец, однажды утром, юная библиотечка в течение двух часов делилась со своими подругами впечатлениями от творческого вечера поэта Вознесенского, и в заключение с чувством продекламировала: “Пошли мне господь второго, чтоб не был так одинок!”. Эта стихотворная строчка оказалась той каплей, которая переполнила чашу костиного смирения. В тот же день он подал заявление об уходе.

Известие об этом поразило его сослуживцев, как гром среди ясного неба: они явно не были к этому готовы, да и работы, как назло, в это время было очень много. Однако Костя настаивал на своем, а чтобы его решение не казалось окружающим странным, ему пришлось выдумать целую историю о том, что он уходит в кооператив “пока грузчиком, а там посмотрим, но платят там хорошо”. Библиотечка Эва, чаще других предпринимавшая попытки заговорить с Костей, решила, видимо, не упускать последний представившийся ей шанс и опять, подойдя к Косте, начала расспрашивать его о том, куда он уходит. Костя нехотя, но ответил.

— Правильно, — явно желая угодить Косте закивала головой Эва, — еще Б.Г. пел о поколении дворников и сторожей!

Эва и не подозревала, какой опасности себя подвергает, ибо в то мгновение Костя едва удержался, чтобы не съездить ей по ее опухшей от пьянства физиономии. Эва лечилась от алкоголизма, периодически она исчезала и неделями не появлялась на работе, вернувшись же, ходила от стола к столу и просила рубль займа. Костя неизменно рубль давал. Но самым удивительным было то, что она потом ему этот рубль обязательно возвращала.

Пьеру очень хотелось иметь доченьку, он даже уже придумал, что будет возить ее в тележке, которую возьмет в магазине напротив, в таких тележках обычно возят продукты, он положит ее туда, завернет в тряпочки и будет бежать вприпрыжку по улице с развевающимися полами рубашки, изредка останавливаясь, чтобы почесать волосатую грудь или яйца, а все будут смотреть и говорить:

— Смотрите, смотрите, у него все же есть ребеночек, он не такой уж импотент, как нам говорили.

А когда она вырастет, он сможет забавляться с ней как захочет.

Девушкам, старше двадцати лет, читать запрещается!

«О моя дорогая доченька, поскольку ты не слушаешься меня, я хочу строго тебя наказать. Подойди ко мне поближе. Но что это? Ты не надела лифчика? Дай-ка я сорву с тебя рубашку, позволь мне двумя руками взять твои груди и помассировать их. Дай-ка я засуну руку тебе между ног. Но что это? Ты не надела трусов? Ложись ко мне на колени, чтобы я задал тебе основательную порку. Не плачь, мой ангел, теперь твои ягодицы горячие и красные, и я хочу поцеловать их, полизать, покусать, и сосать, сосать до крови...»

Такие стихи в прозе Пьер часто записывал в свой дневник, и надеялся при случае их издать. Он был знаком с одним богатым французским православным философом, и этот философ частенько говорил Пьеру:

— Пьер, пиши книгу, я с удовольствием издам ее.

Пьер сперва хотел написать книгу “Присутствие и отсутствие”, а потом перешел на стихи, ему это было ближе, потому что в душе он всегда был поэтом.

Костино смирение позднее еще раз сыграло с ним злую шутку. Уйдя из библиотеки, как и обычно в никуда, Костя долго не мог устроиться на работу. Наконец он поступил ночным уборщиком на мебельную фабрику. Работа тоже была не очень легкой, за ночь Костя должен был убрать целый цех, подмести и сложить все опилки в специальные бумажные мешки и вынести их на помойку, которая находилась во дворе фабрики, утром их оттуда вывозили на самосвале. Мешки были тяжелые, опилки застревали в горле и в носу, к тому же, Костя постоянно не высыпался, он жил в центре, и под окном у него с утра начинали греметь трамваи и машины. Тем не менее, он справлялся со своими обязанностями самым что ни на есть лучшим образом, и был доволен, причем, не только потому, что мог продолжать медитировать и не различать “плохое и хорошее”, но еще и потому, что здесь он снова почувствовал, что разделяет с народом всю тяжесть жизни.

Костя разделял с народом тяжесть жизни и раньше, еще тогда, когда до поступления в библиотеку работал санитаром, а потом почтальоном. Свою работу в библиотеке Костя, отчасти, считал изменой интересам народа. Но больше всего Косте нравилось, что на этой работе он постоянно находился вдали от людей, практически никого не видел, даже свою непосредственную начальницу, завхоза цеха Ларису Семеновну. Лариса Семеновна поначалу смотрела на Костю с некоторым недоверием и подозрением, но постепенно прониклась к нему глубоким уважением, тем более, что Костя резко отличался своей внешностью и манерами от остальных рабочих, с которыми ей постоянно приходилось иметь дело. В душе Лариса Семеновна питала слабость к интеллигентным молодым людям. Однако старательное исполнение Костей своих обязанностей имело для него самые неожиданные последствия.

Однажды утром Лариса Семеновна пришла на работу раньше обычного, специально чтобы застать Костю, который уже закончил уборку и собирался уходить. Лариса Семеновна попросила его прийти на обще заводское профсоюзное собрание, она говорила что-то еще, но Костя слушал ее невнимательно, во-первых, потому что устал и хотел спать, а во-вторых потому, что считал себя не вправе отказываться от чего бы то ни было, так как по-прежнему “не различал плохого и хорошего”. Хотя на собрание ему хотелось идти меньше всего, и он вполне мог бы отказаться, сославшись на какое-нибудь неотложное дело.

Прийдя на собрание, Костя оказался в огромном зале, до отказа забитом рабочими, делегированными ото всех цехов фабрики. На сцене за столом сидели директор фабрики, главный инженер и председатель профкома – собрание было отчетно-выборное, на нем должны были избрать новых членов фабричного профкома. Лариса Семеновна сидела во втором ряду, Костя сразу же ее заметил и, поспешно кивнув, отправился в середину зала, желая поскорее затеряться в толпе. Тем временем, собрание началось.

Вел собрание председатель профкома, он, как и положено, отчитался о проделанной за прошедший период работе, а потом огласил список предполагаемых новых членов профкома, делегированных цеховыми комитетами, всего членов было двенадцать – по числу цехов. И тут Костя пожалел, что слушал Ларису Семеновну утром невнимательно — шестым в списке значился он. Он с ужасом и тоской представил себе, что теперь в свободное от работы время должен будет по несколько раз в неделю ходить на фабрику, разговаривать с людьми, обсуждать дела, которые его абсолютно не интересовали, распределять путевки в дома отдыха... Когда он мысленно представил себе все это, то его охватила такая тоска, что он окончательно забыл о своем обычном смирении и стал лихорадочно думать, что же ему теперь делать, ведь его уже делегировали...

— И правильно бастуют! — раздался зычный голос из задних рядов, вернувший Костю к действительности. Только теперь Костя обратил внимание на то, что атмосфера на собрании была довольно напряженная, рабочие то и дело вступали в полемику с сидевшим на сцене директором, предъявляли ему претензии то по поводу низкой заработной платы, то по поводу отсутствия новых заказов на мебель. Директор, очкастый брюнет с крочковатым носом, бойко парировал все доносившиеся до него выкрики, мол, это еще не все, и скоро будут новые сокращения. А выкрик, который вывел Костю из оцепенения, относился к забастовкам шахтеров, которые тогда еще только-только начинались где-то в Сибири, о них Костя тоже уже слышал, хотя газеты об этом еще не писали.

Тем временем, председатель профкома предложил новым членам профкома встать и представиться перед окончательным голосованием, которое предполагалось провести сразу же всем списком. Когда очередь дошла до Кости, то в голове у него было абсолютно пусто, и уже вставая со своего стула, он еще не знал, что будет говорить, но его нежелание оказаться в казенной обстановке, среди абсолютно чуждых ему людей, от которых он всю жизнь старался держаться как можно дальше, в этот момент достигло своего апогея, и, сам того не желая, Костя вдруг вобрал в себя воздух и произнес:

— Я отказываюсь заседать в комитете профсоюзов, которые на данный момент абсолютно себя исчерпали. Почему профсоюзы не поддерживают бастующих шахтеров? Тогда зачем они вообще нужны!

Сказав это, Костя почувствовал, что у него как гора с плеч свалилась, он сел обратно на место и с облегчением вздохнул. На мгновение в зале установилась мертвая тишина. Лариса Семеновна повернулась к Косте и уставилась на него округлившимися от ужаса глазами. Но Костя успел опять утратить интерес к происходящему вокруг и погрузился в свои мысли. Некоторое время собрание продолжалось своим чередом, снова началась перепалка рабочих с директором, и о Косте, вроде бы, забыли. Однако вскоре Костя опять почувствовал неладное: трудно сказать, с чего все началось, но не прошло и пятнадцати минут, как в зале поднялся невообразимый шум, волна возмущения накатывала из задних рядов. И среди возбужденных голосов рабочих Костя с ужасом различил фразы, недвусмысленно касавшиеся его:

— Вот такие люди нам нужны!

— Пусть скажет все, что он думает!

— Предоставьте ему слово, дайте ему высказаться!

Рабочие требовали, чтобы директор предоставил Косте слово. Очкастый брюнет с усмешкой пригласил Костю на сцену. Косте ничего не оставалось, как подняться на трибуну и выступить. Правда, на сей раз он уже не чувствовал особого волнения, ведь отступать ему было некуда. Костя взял микрофон, и, стараясь говорить как можно тверже и увереннее, снова повторил, что си-

туация в стране сейчас резко изменилась, что по-настоящему независимые профсоюзы сознательно поддержали бы шахтеров, а в этих продажных профсоюзах он вообще не желает состоять...

После собрания, когда Костя уже спускался по лестнице, он слышал за собой восхищенные возгласы рабочих:

— Здорово! Побольше бы таких людей!

Лариса Семеновна две недели не разговаривала с Костей и при встрече смотрела на него с опаской. Наконец, она вызвала его к себе и поинтересовалась, почему он заранее не предупредил ее о своей особой точке зрения на профсоюзное движение.

— А вообще-то, — заключила она, — я долго думала и решила, что вы Константин — личность, и я вас уважаю. Костя в душе чувствовал себя виноватым перед Ларисой Семеновной, но сказать ему было нечего. Однако ситуация на этом себя не исчерпала.

Примерно через неделю, придя на работу, он застал в цеху трех незнакомых ему человек, которые наперебой начали настойчиво уговаривать его баллотироваться от их района в городское законодательное собрание.

— Представляешь, какие перед тобой открываются перспективы! Ты будешь нашим Лехом Валенсой! — все повторял один из них, тощий, маленький и вертлявый, явно не пролетарского вида, в очках и с бородкой. В результате, Костя был вынужден уйти и с этой работы.

Маруся сидит в темной комнате с низким потолком, окна сплошь заставлены книгами, в комнате от этого темно и днем и ночью. А ночью, когда она просыпается с тяжелой головой после пьянки, голова бывает и не такой тяжелой, если съесть маленький квадратик — таблеточку, тогда и голова наутро не болит, но все равно, все призрачно-стеклянное и неестественное. Утром слышны лязг и грохот, и крики — это китайцы тащат тюки с товарами, поднимаясь по железной лестнице, которая проходит вдоль всего двора, и в этом двореколодце каждый звук отдается нестерпимо громко, и удесятяряется.

Эта комната или в Париже или в Ленинграде, и даже точно она не знала, где, но везде одно и то же: за окнами узкая улица, мощеная бульжником или заасфальтированная, и все время слышны автомобильные гудки, они кричат протяжно и отрывисто, хоть это и кажется порой невероятным. А в метро у мужика, сидящего напротив, белые кроссовки на резиновой подошве, и бросается в глаза противоестественно-синий носок. Кепчонка надвинута прямо на очки, он смотрит в пол.

Маруся не видит его, она видит нестерпимо яркий блеск, свет, он постоянно возвращается к ней, он везде с ней, а вокруг тени, их много, они ходят и говорят, видны блики света и слышны разговоры. Иногда смех, и

такой суматошный нелепый и радостный разговор. Она уже давно привыкла к этому, она смотрит на них и улыбается. В метро полумрак, она одна, совсем одна. Одиночество - как это хорошо, изломанные блестящие змеящиеся линии и пунктиры снова пронесются мимо. Ее взгляды скользят, она никогда не смотрит прямо, она избегает этого, она не хочет.

Каждый день у ворот дома Пьера Марусю подстерегает совершенно сумасшедшая соседка, она ждет ее до поздней ночи. Завидев Марусю, она выскакивает и изломанным, манерным, лицемерным слащавым голоском говорит, говорит...

— Ты не видела моего любовника? Ты хочешь на него посмотреть? Пойдем ко мне!

Конечно, Маруся хочет, хотя она его уже сто раз видела. Клодина живет в доме напротив. Ее любовник, как она его называет - это отвратительная скользкая черепаха, какой-то особой породы, лапы у нее согнуты назад, и вся она черная. Но что самое удивительное - черепаха слушается ее. Когда она заползает под шкаф, Клодина встает посреди комнаты и, уперев руки в бока, истошно орет:

— Ах ты негодяй! Ты почему это не слушаешься свою мамочку?

И черепаха тут же выползает с виноватым видом. А когда Клодина начинает на нее орать, она боязливо втягивает голову под панцирь.

— Нет! Это не мой любовник! - вдруг взвизгивает она. - Мой любовник - вот он! — И она сует Марусе в руки свой меховой футлярчик, тот, что она перед этим прятала в руке и не хотела показывать. Маруся берет его и хочет открыть.

— Нет! Осторожно! — И она со множеством предосторожностей наконец расстегивает железную молнию. Там оказывается большое распятие. Она страстно прикивает к нему губами и шепчет:

— Вот! Вот мой любовник! — Маруся не знает, как ей реагировать, но на всякий случай делает серьезное лицо и кивает. Клодина вдруг начинает дико хохотать:

— Какая ты наивная! Какая доверчивая!

У нее на столе стоит литровая бутылка с красным вином и рюмка. Она периодически наливает себе и прихлебывает. Предлагает и Марусе, та не отказывается. В комнате темно, свет она не включает, зато целый день работает телевизор, изображение скачет с невероятной быстротой, невозможно различить, что там показывают. Потом она достает свой семейный альбом и показывает Марусе. Клодина сказала Марусе, что ее родители жили в Польше, но когда Маруся попыталась спросить ее, из какого города она родом, она агрессивно завизжала:

— Я француженка, моя милая! Француженка! И не понимаю, о чем ты говоришь!

На одной фотографии она была в белом переднике и Маруся спросила :
— Почему ты в переднике?

А она ответила:

— Чтобы работать в ресторане, нужен передник, моя милая!

Таким образом Маруся узнала, что она тридцать лет проработала в ресторане. На других фотографиях огромное количество плотных мужиков, одни кудрявые, другие с прилизанными волосами - это ее братья, кузены, а один из них - ее муж, потому что она стоит с ним под руку в белом платье. У ее мужа был рак, и он повесился, и она обнаружила его в узкой кухне висающим под потолком на крюке от люстры. С тех пор она не любит заходить в кухню. — Ах Клодина, какая ты была красивая!

— Была? Была? А сейчас?

Она и теперь хочет быть красивой. Конечно, она и сейчас красивая.

Потом соседка исчезла, и Маруся была даже рада этому - ее никто не доставал, никто не приставал к ней с дурацкими разговорами, не тащил за рукав. Позже Маруся узнала, что она умерла от рака горла и даже никому не говорила, что больна. Так и продолжала пить, сидя в своей комнате, где в целях экономии горела всего одна тускляя лампочка, перед безостановочно мелькающим экраном телевизора, пила свое красное вино и курила «Жиган» - дешевые крепкие сигареты без фильтра. А по узкой улочке внизу китайцы безостановочно тащили тюки с тряпьем, внизу был то ли склад, то ли магазин, хотя магазин там точно был. Вскоре там рядом открылся большой китайский супермаркет, и продавали блестящие китайские шарики, которые можно перекатывать в руке, какие-то статуэтки, и еще дешевую китайскую еду и красное вино. А ее любовник, скользкая черная черепаха по-прежнему ползал под шкафом, пока новые владельцы квартиры не сдали его в зоомагазин.

Маруся подходит к окну и в щелочку между книгами видит внизу машину, очень старую, одно крыло белое, другое - синее, капот заклеен черной изолентой, одной фары нет, дверь помята - господи, да это же Пьер! Он снова внезапно вернулся из Нормандии. А вот и какая-то баба и маленькая вертлявая черненькая девочка идут рядом с ним. Баба высокая здоровая, у нее круглое рябое лицо, круглые карие глаза, она одета в яркое цветастое платье, на голове сделан начес, и глаза густо накрашены черной тушью. Это его жена Галя. Пьер пыгается взять ее под руку, она с нескрываемым раздражением дергает плечом, Пьер обиженно отходит в сторону, она смотрит на Пьера, ей становится его жалко, она подходит к нему и целует его в лобик. Пьер расплывается в улыбке и сжимает ее в объятиях.

Вот и теперь, как тогда осенью в Ленинграде, выйдя на берег полутемной поблескивающей огнями плавучих ресторанов и барж Сены, Костя ста-

рался следовать дуновениям ветерка, который, надо сказать, на сей раз был совсем не легкий, а довольно пронзительный и холодный, и каждый его порыв заставлял Костю зябко поеживаться, ибо он находился на улице уже несколько часов. Черная громада Нотр-Дама зловеще вырисовывалась на фоне темно-синего неба на острове Сите посреди Сены.

Костя свернул с набережной и стал плутать по узким улочкам Латинского квартала, где порывы ветра ощущались значительно слабее. Потом он снова очутился на набережной, прошел через мост и продолжил свой путь уже по правому берегу Сены. Наконец он увидел вымощенную бульжником площадь и огромный стеклянный куб Центра Помпиду... Это причудливое строение, все обвитое металлическими трубами, вдруг напомнило Косте огромный корабль. Костя почувствовал, что его место там, ведь он – моряк, капитан и должен стоять у штурвала.

Более того, там в корабельной библиотеке его ждут две дамы, Катя и Агафья, которые должны передать ему предназначенные для Маруси бриллиантовые подвески – пребывание в Париже накладывало определенный отпечаток на общий ход его мыслей. Конечно, если французы еще окончательно не утратили свой галльский дух, то они поддержат его в его борьбе за спасение мира. Центр Помпиду уже несколько часов как был закрыт.

Свет на первом этаже еще был не погашен, и сквозь огромную стеклянную панель, заменявшую стену, Костя видел, как несколько “вижилей”, охранников, столпились у эскалатора и о чем-то оживленно беседуют. “Сейчас или никогда!” — пронеслось в голове у Кости, и как тогда, когда он стоял со Светой у витрины ювелирного магазина, он вдруг подпрыгнул и с силой ударил ногой в стекло, однако на сей раз стекло сразу же рассыпалось на множество мелких осколков, которые посыпались на голову Косте хрустальным искрящимся дождем, на мгновение Костя опешил, в глубине души он этого не ожидал, но, очевидно, он попал в нужную точку, единственное уязвимое место массивного небьющегося стекла, а иначе эти стекла ни за что не разбить. Костя знал, что такая точка есть, и то, что он с первого раза попал именно в нее, еще сильнее укрепило его веру в предначертанную ему миссию. Он был человеком, который всегда попадает в центр, в самую точку.

На улице уже слышался вой полицейской машины. Костя отряхнул с себя осколки стекла и гордо вошел внутрь. Навстречу ему со всех сторон бежали зрители.

Костя величественным жестом отстранил несколько протянутых к нему рук охранников и как мог более значительно произнес:

— Deux dames, deux dames...

Он видел перед собой уже не охранников, а мужественных гвардейцев королевского полка мушкетеров, которые, услышав эту магическую фразу, содержащую намек на то, что за ним наблюдают две особы женского пола и

благородного происхождения, тут же сразу преживут коллективное сатори, и со свойственными только французам куртуазностью и изяществом все, как один, опустятся перед Костей на колени. И уже отсюда, возглавив этот небольшой отряд благородных рыцарей, Костя начнет освобождение Франции, затем России, а затем и всего мира.

Однако, вместо этого, Костя почувствовал, как сразу же несколько рук грубо вцепились Косте в плащ, однако не тут-то было, Костя с истинно кошачьей ловкостью выскользнул из плаща, и, оставшись в одной рубашке, протиснулся между охранниками, неожиданно опустился на пол, несколько раз перекувырнулся через голову, потом выпрямился, разбежался и, оттолкнувшись от земли, сделал при этом сальто через голову, перепрыгнул через стоявший в центре зала стул, приземлился на пол, еще метра полтора скользил по нему и едва не упал, но удержался на ногах, остановился, выпрямился и гордо повернулся лицом к недоумевающим охранникам, явно не ожидавшим от него такой прыти. Конечно, когда-то в детстве Костя занимался спортом, гимнастикой, но это было уже очень давно, и если бы не возложенная на него миссия, в других обстоятельствах он никогда не решился бы на подобный прыжок, но теперь он чувствовал в своем теле необыкновенную легкость, оно подчинялось ему, как никогда раньше. “Ну что, съели! — пронеслось в голове у Кости, — Ведь вы имеете дело с человеком, который всегда попадает в точку, в яблочко!”

Последнее слово вдруг напомнило Косте, что он моряк, капитан русской флотилии, и должен показать этим опустившимся, забывшим свою великую историю французам всю широту и размах русской души. “Да, Константин Леонтьев был прав! Франция была и остается рассадником революционно-демократических идей!” Слово “яблочко”, двойной и даже тройной смысл этого слова не только напомнил Косте, что он моряк, но и навел его на мысль, что он не может продемонстрировать русскую удаль и бесшабашность иначе, как в этом знаменитом матросском танце. И он начал медленно наступать на сгрудившихся в кучу охранников и подоспевшим к ним на помощь полицейских, старательно выворачивая при этом ногу с пятки на носок, как делали участники юношеских танцевальных ансамблей при дворцах и домах пионеров и школьников. “Эх, яблочко, куда ты котисься!” Сам он никогда не принимал участия в подобного рода ансамблях, но часто в детстве видел их выступление во время школьных праздников, а также на новогодней елке...

“Все пропьем, но флот не опозорим!” – пронеслось в голове у Кости, это была любимая фраза его отца, который был ветераном войны, работал на заводе, и часто, выпив с друзьями огромную литровую бутылку принесенного с завода спирта, потом часами сидел на кухне, уставившись на стену невидящим взором, и время от времени значительно произносил эти слова. Костя знал, что эта фраза принадлежит легендарному моряку-подводнику Мари-

неско, герою, потопившему немецкий крейсер, но так и не удостоившемуся правительственных наград из-за своего пристрастия к спиртному.

“Увидеть Париж и умереть! Какой, к черту, Париж, — с раздражением подумал Костя, — умереть стоит только ради такой славы, такой известности, чтобы пьяные рабочие и крестьяне пили на кухне спирт и поминали тебя!” Это признание стоило больше любых наград и звания героя, и Костя вдруг почувствовал, что он тоже будет точно таким же безвестным и любимым народом героем, и от одной мысли об этом у него слегка защемило сердце, и он еще более выразительно прогнулся всем телом и еще более старательно начал выворачивать ступню с пятки на носок.

В это мгновение, он вдруг неожиданно пережил еще одно озарение, он вдруг понял, почему в геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются. По правде говоря, хотя Костя и изучал математику в Университете, раньше он никогда этого до конца не понимал, а теперь он не только это понял, но даже на какое-то мгновение явственно увидел, как две параллельные прямые вдруг неожиданно сблизились и пересеклись. Это произошло где-то очень-очень далеко, в космосе, и длилось всего одно мгновение, но Костя сумел его уловить.

“Будто вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей!” – тут же промелькнула у него в мозгу строчка из знакомой с детства песни, но на сей раз эти слова вдруг показались ему тоже исполненными глубокого мистического смысла, ведь это он сам собирался сейчас пронестись над землей, как “будто вдоль по Питерской, Питерской”, со свойственными только русскому человеку удалью и размахом. И Косте вдруг стало стыдно, что он даже не помнил имени автора этих гениальных стихов, который как бы специально скромно со смирением затаился в ожидании Конца Света, когда наконец их скрытый пророческий смысл прояснится.

Теперь-то наконец он понял, почему Катя, которая была религиозной писательницей и диссиденткой, всякий раз, напиваясь, начинала петь эти “старые песни о главном”, которые Костя всегда ненавидел. Она просто хотела таким образом дать ему знать, что “все схвачено”, что многие члены церкви, включая Римского Папу и Патриарха, уже во все посвящены, но прямо об этом она ему сказать не могла. Он со стыдом вспомнил свой снобизм и то, что он в юности читал только Блока, Рембо, Верлена, Шарля Пеги, Лотреамона, а когда по радио звучали эти подлинно великие религиозные стихи, он с раздражением вскакивал и выключал радиоприемник.

Трансцендентное стало имманентным, тайное – явным, великое – малым, больше нет никакой разницы между плохим и хорошим. Ему было стыдно еще и потому, что раньше он только думал в своей гордыне, что не различает плохого и хорошего, хотя, на самом деле, до самого последнего момента, он их очень даже различал. Но Костя верил, что не все еще потеряно, автор пес-

ни еще жив, и он обязательно найдет этого скромного гения и по-братски обнимет его, попросит у него прощения. А если ему это не удастся, то он, как Раскольников, все равно выйдет на Красную площадь, упадет на колени и покается перед всем миром и людьми.

Костя представил себе, как из дверей Мавзолея навстречу ему выходят под руку Леонид Ильич Брежнев, Агаша и Ленин... Ленина было трудно узнать, потому что он почему-то был в напудренном парике и со шпагой. Все трое стоят посреди площади обнявшись, а Костя падает перед ними на колени и просит прощения. “Философы раньше хотели познать мир, а задача состоит в том... нет, все-таки Маркс был неправ, задача состоит в том, чтобы его преобразить. Не преобразовать, а преобразить.” В этом суффиксе, отделявшем одно слово от другого, для Кости в это мгновение как бы сосредоточилась вся мудрость русской религиозной философии, проделавшей путь от марксизма к идеализму.

Тем временем охранники и полицейские медленно, но верно окружали Костю плотным кольцом, и с некоторым недоверием и опаской наблюдали за его телесными манипуляциями, им казалось, что он совершает ритуальные движения одного из неизвестных им видов восточных единоборств. Косте же, который начинал приплясывать все быстрее и быстрее, наоборот, показалось, что полицейские образовали вокруг него хоровод, и потихоньку начинают ему в такт хлопать. “Вот оно! Началось!” – радостно подумал Костя.

— Все пропьем, но флот не опозорим! – на этот раз уже вслух произнес он, и ударил себя ладонью по колену, собираясь пуститься впрысядку. Однако именно в это мгновение полицейские все разом накиннулись на него, скрутили и поволокли по полу, схватив за его любимую черную рубашку, которую в свое время Маруся привезла ему из Западного Берлина в подарок ко дню рождения, и которую он, к несчастью, в тот вечер надел. “Хорошо, что я оставил записку”, — успело промелькнуть у него в голове.

И действительно, подходя к Центру Помпиду, Костя успел бросить в урну скомканную записку, которую приготовил заранее, и на которой большими печатными буквами было написано: “Послушай, поручик, а может вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля?” Эта записка предназначалась для Коли Уткина, но, так как фамилия Коли была не Голицын, то он заменил в этой строчке, позаимствованной из известной песни, слово “Голицын” на слово “послушай”.

Он не сомневался, что Коля обязательно найдет эту записку, так как урна, на самом деле, была бутылкой в огромном мистическом океане жизни. Рано или поздно Коля Уткин выловит ее, найдет записку, причалит свою шхуну к берегу, возьмет коня и поскачет, поскачет, дабы исполнить поручение Кости. О смысле поручения Косте было даже лень думать, ибо он был ясен и так.

В доме у Пьера не было отопления, и он, когда еще ждал приезда Гали, мечтал о том, как они будут спать вместе в одной кровати, и им будет не холодно, потому что они будут вести бесконечный эпидермический диалог. Но Галя отказалась с ним спать. Это его сперва ужасно разозлило, а потом он успокоился и подумал, что постепенно все же заставит ее, он создаст ей такие условия, что она просто не сможет от этого уклониться. Правда, Галя все же изредка исполняла свои супружеские обязанности, но все реже и реже.

Сначала, когда она приехала, Пьер был очень рад, он встретил ее с дочкой в аэропорту на машине, эту машину ему подарили в мастерской ручной работы для инвалидов, где он работал шофером-доставщиком. Машина была уже не новая, двери не закрывались, и он привязывал их веревочками, отчего они, когда Пьер ехал быстро, стучали и звенели. Иногда Пьер, когда дорога была пустая, начинал ехать зигзагами, вилить из стороны в сторону и дико хихикать.

Потом он признался Маруся, что в такие мгновения думает: «Я могу сделать все, что хочу. Могу въехать в тот столб, или вон в ту стену, или вон в ту машину. Жизнь сидящих в машине в моих руках, и даже жизнь вон тех, которые едут нам навстречу.» Но он считал, что всегда еще успеет это сделать, а пока можно и от живых получать какое-то удовольствие.

Когда Галя прилетела в Париж, то ее сразу же поразили гигантские размеры аэропорта. Там были огромные пространства, блестящие стекла и самооткрывающиеся двери. Дорожки двигались тоже сами по себе, а вдоль них были развешаны стеклянные шары, внутрь которых была вставлена реклама. Они с Юлей прошли паспортный контроль, там французский пограничник, внимательно прочитав содержание заполненного ею бланка, шлепнул ей в паспорт печать. Потом они съехали вниз по эскалатору в огромной стеклянной кишке, прошли через самораздвигающиеся двери. Галя закурила и села в кресло рядом с блестящей пепельницей. Юля сидела рядом и рассматривала людей, сновавших мимо: было много негров, все тащили огромные чемоданы и коробки.

Галя вспомнила, как впервые познакомилась с Пьером. Это было в Ленинграде, на дне рождения у галиных знакомых. Хозяин дома представил Гале Пьера как профессора славистики из Парижа. На первый взгляд, Пьер действительно чем-то отдаленно напоминал профессора: борода клиншком, некоторая небрежность в одежде... Конечно, уже в возрасте, но зато он был французом, и у него было два дома, один под Парижем, а другой в Нормандии... Галя воспитывалась без отца, жила с матерью в деревне в Ленинградской области, ей в жизни приходилось нелегко, она вышла замуж, переехала в Ленинград, потом одна воспитывала дочку, так как ее бывший муж скрылся в неизвестном направлении вскоре после рождения ребенка.

Она вспомнила, как, еще совсем маленькая, смотрела по телевизору фильм “Все остается людям”, и там был такой же профессор с бородкой. Сюжета, правда, она точно не помнила, но, кажется, в конце этот профессор умер, и все оставил людям. Так и она в душе надеялась, что Пьер тоже умрет – ну может быть, не скоро, такого у нее и в мыслях не было, но когда-нибудь все должны умереть, а к тому же он гораздо старше, чем она – и оставит свои два домика: один в Буа-Коломба, а второй – в Нормандии — ей с дочкой. Так что хотя бы ее дочка будет жить в собственном доме в Париже. С настоящими учеными Гале никогда не приходилось встречаться, но она слышала, что у них бывают странности, они часто рассеянны, одеваются небрежно, но очень добрые. В общем, Галя в Пьера влюбилась.

Галя издали заметила Пьера, он показался ей настолько отвратительным, что она тут же захотела уехать обратно, но это было невозможно, и она, через силу улыбнувшись ему, поцеловала его в дряблую щеку. Пьер дал Гале и Юле по банану и налил им виноградного сока из пластмассовой бутылки. Он был очень рад, что они приехали и рассчитывал сразу же, как только войдет в дом, потащить Галю в постель.

Потом они долго ехали на машине из аэропорта домой, мимо огромной бутылки Кока-Колы, которая поворачивалась во все стороны, мимо транспаранта с укрепленной на нем моделью автомобиля, сделанной очень естественно и правдоподобно. Было еще очень много огромных рекламных плакатов, на которых рекламировались женские трусы и бюстгалтеры, печенье, телевизоры и все, что угодно, и были плакаты, изображавшие отдельно мужчину, женщину, юношу, девушку и даже мальчика и девочку, обращавшихся к прохожим с вопросом: «Si je suis seropositif, tu joues avec moi?» Плакаты должны были способствовать тому, чтобы люди по-человечески относились к своим собратям, заболевшим СПИДом, это Галя узнала позже, потому что серопозитивность - тест на СПИД - в России был неизвестен или же назывался как-то по-другому, а во Франции СПИД принял уже такие масштабы, что просто необходимо стало развешивать везде плакаты. Пьер радостно хихикал и все время тыкал пальцами в разные стороны:

— Смотри! Смотри!

Особенно его привлекали рекламы женских трусов, лифчиков и т.д., то есть все, на которых были обнаженные женские задницы и груди.

Наконец, они подъехали к трехэтажному дому, вокруг которого густо разрослись деревья. Во дворе Галя увидела два кресла, на одном обивка была полностью ободрана, у другого не было ножки. Рядом лежала старая кровать, и валялись в беспорядке какие-то сумки и чемоданы. Они вошли в дом, и Пьер проводил Галю в комнату. Она открыла окно и выглянула вниз. Светило солнце, в зеленом дереве под окном издавали звуки какие-то птицы, а у нее над окном, как раз под самой крышей, ворковали голуби. “Недаром этот пригород

называется Буа Коломб – подруга сказала мне, что это переводится как “Лес голубей”, — подумала Галя, и ее охватила радость, что она наконец-то в Париже. Потом она пошла осматривать дом, и ее радость все возрастала – дом был большой, трехэтажный, с подвалом и небольшим садиком у заднего выхода. Правда, запущенный и заполненный всяким хламом, но уж ремонт-то сделать всегда можно.

Пьер поспешил показать Гале комнату, приготовленную для нее - там он установил шкаф, кресло, стол, диван и зеркало, а в соседней комнате должна была жить Юля - там тоже стояла кровать, стол и кресло. Все это Пьер нашел на улице, включая простыни и покрывала, которыми были застелены кровати. Галя, радостная, стала разбирать вещи, а Пьер отправился готовить угощение. Особенного угощения Пьер, правда, не приготовил, потому что у него не было денег, он купил только бутылку вина, колбасы и дешевый камамбер. Они поели, а потом Галя сказала, что устала с дороги и хочет отдохнуть. Это сразу вызвало недоумение Пьера и разозлило его. Он думал, что в благодарность за все и за еду Галя сразу же отправится с ним в постель, которую он уже давно приготовил и застелил чистыми простынями, а в комнате даже поставил обогреватель, чтобы там было тепло, но он сдержался, а Галя ничего не заметила.

Марусе мешал почувствовать полную гармонию с миром какой-то небольшой надлом или перекос в ее сознании, сама она этого до конца не осознала, а просто чувствовала — яркий солнечный день, солнце, но почему-то слишком зеленая трава, и ветер гонит ее какими-то волнами, и во всем этом есть беспокойство, мешающее ей испытать радость покоя.

Страшно проснуться под утро, в самый пустой и тоскливый час, около четырех часов, именно в это время, наверное, везде бродит нечистая сила, и петух еще не пропел, и тут вот только не думать, не думать, не думать о смерти, о страданиях, а знать, как в детстве, что можно жить еще долго-долго, так сладко погружаясь в бессмысленную радость животного существования - есть, пить, спать, и не думать, не думать, не думать. Чем меньше думаешь, тем моложе выглядишь - и так и нужно - играть в этукую молоденькую жизнерадостную идиотку, доверчиво удивляясь всему и периодически раздражаясь радостным хихиканьем, как это делала мамаша Трофимовой, жена известного поэта-юмориста, она все время была очень молодая, красивая, какое-то время казалась даже моложе своей дочки, а потом вдруг внезапно Маруся встретила ее на Литейном, и даже не узнала - так она растолстела, поседела, во рту появились золотые зубы, но манера говорить осталась та же - идиотски-сюсюкающая, как будто говорит маленькая девочка.

В молодости жизнь это сплошной сумбур, как будто в оркестре перед началом спектакля настраивают инструменты, и много разных звуков, все перемешано и невозможно вычленить какую-то связную мелодию, все путается и мешается, и такой веселый гвалт и шум, и так может быть всю жизнь, а чтобы мелодия стала связной и начала звучать осмысленно, нужно приложить много усилий, гигантские усилия, и нельзя никогда забывать о том, что ты ищешь и стараешься понять. Тебя отвлекают разные ненужные звуки, каждый день как будто начинается снова и ты забываешь, что было вчера и утрачиваешь ту нить, без которой невозможно полное осмысление.

Утром она проснулась и с первой же сознательной мыслью, с первым взглядом вокруг к ней вернулось отвращение, которое стало как бы частью ее самой, которое поселилось в ней и уже не собиралось никуда уходить. Она высунулась в открытое окно и посмотрела на улицу вниз - там на мощеном бульжником дворе стоял дворник и поливал из оранжевого резинового шланга водой этот двор и мыл чей-то гараж, она подняла глаза вверх и посмотрела на небо - оно было нежно-голубое, солнце еще не успело встать, но уже было видно, что день будет жаркий, как обычно в Париже в это время лета, она как автомат осознала, что нужно радоваться жизни, нужно, как радуются все вокруг, но она не могла и не знала, как это изменить.

Почему-то у нее из головы не выходила строчка, вычитанная у какого-то писателя про одну проститутку, которой платили хлебом и она сжирала этот хлеб прямо «под клиентом», потому что была очень голодна. Она вовсе не была голодна, она чувствовала отвращение к еде и ела через силу, тоже как будто желая досадить самой себе. Она уже совсем потеряла способность дышать воздух полной грудью, она могла только коротенькими вздохами пытаться набрать его в легкие, но это даже не всегда получалось, и она с ужасом поняла, что скоро будет не в состоянии вообще дышать, тогда для жизни места не останется, и будет лишь одно огромное отвращение. Этот переход шел незаметно, и она внутри это знала, но все равно покорно ждала, потому что она ничего не могла сделать, или не хотела.

Иногда в ней просыпался панический страх, она начинала метаться, могла выскочить из вагона метро или автобуса, но из этой жизни выскочить было невозможно, а ей хотелось, но она подавляла в себе страх и старалась снова погрузиться в спячку и не замечать того, что происходит вокруг. Если же страх брал верх, то она чувствовала, как подступает безумие, черная бездна, страшное пространство *без дна*, куда можно падать и падать, безо всякой надежды вернуться назад, открывая по пути для себя все новые и новые извращения и получая от этого удовольствие, ибо - она теперь знала это - все сумасшедшие получают удовольствие от своего состояния, иначе они бы не оставались в нем, и поэтому их мучают лекарствами и электрошоками, чтобы выработать в них условный рефлекс отталкивания от безумия.

А ей порой хотелось забыть об инстинкте самосохранения, и она чувствовала, как ее туда тянет, тянет, и тогда ты не будешь ощущать собственного тела и своего «я», ты как бы сольешься с природой и думать будет не нужно, и только последним усилием воли она удерживалась на краю, но ей становилось все труднее и труднее делать это усилие над собой.

Галя жила в Ленинграде в коммунальной квартире, там было восемь соседей, из них одна соседка сумасшедшая, которая часто стояла на кухне у плиты и ничего не варила, не жарила, а только тихонько напевала и приплясывала. Этим она всех ужасно раздражала, именно тем, что занимала место на кухне у плиты и ничего не делала, но разговаривать с ней было бесполезно.

Галя привезла с собой во Францию и свою дочку Юлю, она говорила, что здесь ей будет лучше - во Франции все продукты экологически чистые и даже песок в песочнице чистый, и когда Юля ходила гулять, она возвращалась вся чистая, и ее одежду не надо было стирать. Галя очень любила свою дочку, но правда, часто ее ругала, потому что была очень нервная и даже немного истеричная. Она то кричала: «Я тебя убью!», то начинала ее целовать, обнимать и жалеть, а Пьер смотрел на все это и загадочно улыбался.

Может, он вспоминал свое детство, а может репетировал свое поведение на следующий раз, ведь разов будет еще много (так он думал), и на каждый раз нужно было составить в уме ситуацию и разыграть ее. Например, слова «Я тебя убью!» могли ему очень пригодиться, ведь он помнил, как его отец однажды схватил его мать за волосы и с ножом в руке, который он поднес к ее самому горлу, повторял: «Я тебя убью!» Он знал, почему его отец так себя вел, потому что ему не доставало нежности, любви, страсти, и они с его матерью никогда не обнимались и не целовались. Они даже спали в пижамах и никогда не прикасались друг к другу за исключением тех трех раз, когда им понадобилось произвести на свет своих троих детей - так думал Пьер.

Отец Пьера был ипохондрик, и мог часами сидеть неподвижно, уставясь в одну точку и думая свои мрачные мысли. У Пьера были еще сестра и брат, причем брат был близнец, но, несмотря на внешнее сходство, во всем остальном был мало похож на Пьера: работал врачом-кардиологом, у него были жена, двое детей, машина и дом. Он почти никогда не приходил к Пьеру в гости, а его жена вообще не могла видеть Пьера, и, встречаясь с ним, сразу же заливалась слезами. Пьер говорил, что это оттого, что ей уже слишком много и одного брата, а тут еще второй, похожий как две капли воды.

Правда, брат Пьера гораздо лучше сохранился, у него было больше волос на голове, а во рту блестели прекрасные белые вставные зубы. У Пьера зубы были очень плохие, да и тех оставалось не так уж много, а когда он сделал себе вставную челюсть, она у него очень быстро сломалась - буквально через

неделю, хотя он и заплатил за нее две тысячи франков. Он пошел к врачу, и он ему снова сделал эту челюсть. но через неделю та снова треснула Пьер не мог есть ничего твердого, и даже свою любимую колбасу не мог как следует разжевать.

Колбасу он всегда прятал, у него в доме было много тайников, и он их часто менял, чтобы никто не мог догадаться, где он хранит еду. Один тайник был в туалете, Пьер считал его самым надежным. Он часто забывал, что и куда спрятал, а потом, думая, что его обокрали, устраивал ужасные скандалы. Один раз он начал кричать на Юлю, что она стащила у него колбасу и съела ее. Галя долго пыталась его переубедить, но он кричал все громче, а Юля плакала.

— Если она взяла, то пусть скажет! - вопил Пьер. - Пусть скажет! Я ничего не имею против этого, но пусть она скажет!

Галя уже и сама начала плакать, но тут Пьер обнаружил колбасу в пустом цветочном горшке под окном. Он был немного смущен и оправдывался:

— Я заметил, что у меня есть тенденция обвинять других в том, что я сделал сам...

— Ну ничего, ничего,- успокаивала его Галя. - Ты был не прав, но это не страшно...

В знак примирения они поцеловались.

В конце жизни Марусе всегда виделась синяя лампочка, то есть не всегда, а стала видаться в последнее время, тусклая синяя лампочка, освещающая бетонный бункер с маленьким оконцем, где стоит множество железных столов, а на них лежат какие-то предметы с привязанными к ногам номерками. Это было не страшно, а невыносимо скучно, и этот синий свет внушал уныние, хотя ей всегда нравился синий цвет, но почему-то здесь это было совсем другое. И еще было что-то общее с баней, где по бетонному полу течет мыльная вода и множество голых людей бродят с шайками, переговариваясь между собой, и шум воды сливается со звуками их голосов.

Или когда в холодном пустом доме в темноте лежишь на кровати рядом с сумасшедшим и слушаешь его ровный храп - значит, он заснул и можно не опасаться, что услышишь его визгливый вечно возбужденный голос хотя бы в ближайšie пять минут, хотя это очень ненадежно, он может проснуться в любое мгновение, его сон хрупок и неглубок, он спит мало, а иногда и вовсе не спит, и тогда наутро страшно смотреть в его глаза, обведенные черными кругами и таящие в глубине черное глухое безумие. Он все время говорит, говорит без умолку, кажется, что он боится замолчать, что, пока он говорит, он жив и нормален, его слушают и воспринимают, он требует ответа, он повторяет по сто раз каждое предложение, пока не услышит, что с ним говорят,

он все время размахивает руками и когда он идет по улице издали его можно принять за марионетку, у которой все члены на шарнирах.

А когда ты засыпаешь и внезапно просыпаешься посреди ночи от страха, что кто-то стоит под дверью, и слышишь чье-то дыхание, и сердце проваливается куда-то вниз, потому что отсюда нет выхода, кроме как на крышу, а с крыши - вниз, на темную улицу, а там кто-то уже плачет и причитает, и ты будешь также причитать и плакать, и бродить одна по темным улицам, а если кто-нибудь позовет тебя к себе, ты должна будешь пойти с ним и удовлетворять все его желания, ты просто обязана будешь подчиниться, потому что выбора у тебя не будет, и ты уже загнана в клетку. И самые отвратительные рожи ты должна будешь рассматривать в упор, потому что даже глаза закрыть они тебе не позволят. Постарайся же пока не думать об этом, чтобы окончательно не спянуть.

Пьер никогда не вытирал сопли, а всегда слизывал их языком и с жадностью заглывал, эта привычка осталась у него с тех пор, когда он скитался по Франции, тогда он часто от голода ел свои сопли, они по вкусу напоминали улиток, любимое лакомство французов, и это немного его утешало.

А вот Бернар, его товарищ по психиатрической лечебнице Св. Анны, рассказывал, что его брат любит есть говно, возможно, его любил есть и сам Бернар, но о себе он не рещался говорить. Зато Бернар очень любил рассказывать о всевозможных пытках. Как например, человека сажают на стул, а внизу в клетке голодная крыса, которая прогрызает сиденье, но человек не может встать, так как привязан, а крыса начинает грызть уже задницу человека... Когда Бернар доходил до этого места, в его глазах загорался красный огонек, и он судорожно хихикал.

Бернар тоже познакомился с русской девушкой и мечтал жениться на ней, чтобы наконец-то уйти от своей ужасной матери, которая его постоянно изводила. Она запрещала ему трогать крантик, — так Бернар называл свой член — а Бернару очень нравился момент, когда оттуда показывалось что-то беленькое. Но мать за это ужасно била его по рукам, иногда даже стальным прутом, а он плакал, но все равно трогал.

Бернар всегда обо всем советовался с Пьером, потому что у Пьера был опыт, он сумел победить свое безумие, а теперь у него появилась нормальная жена, да еще с дочкой. Отец Бернара даже подарил Пьеру новую машину, самому ему эта машина больше была не нужна, а Пьеру еще могла послужить. Теперь Пьер ездил на хорошей новой машине, а старую, с разболтанными дверцами и приклеенным изолентой крылом, выбросил на помойку.

Через несколько дней у Гали появились первые сомнения по поводу того, что Пьер профессор. Правда, у него в доме всюду были разбросаны книги, тетради, в которых он постоянно что-то писал, но она вспомнила, что на первом этаже в салоне висела странная картина с надписью “Прости меня, Наташа!”. На картине была изображена чья-то голая нога, женская грудь, глаз с длинными ресницами, все это было перемешано, и, кажется, проглядывали очертания мужского члена. Вообще, Галя старалась не думать о неприятном и отгоняла от себя мрачные мысли. Главное – что она приехала в Париж! К тому же она ни слова не понимала по-французски, а Пьер очень плохо говорил по-русски.

Пьер решил проучить Галю за то, что она не хотела с ним спать, правда, ей он ничего не сказал, просто на следующее утро отвел их с Юлей погулять в садик. Светило солнце, и в садике гуляли дети, они катались с горок, качались на качелях, ползали в сетке, которая была протянута от одного столба до другого, они бились в ней, как огромные рыбы, Галя была очень довольна, она чувствовала, что находится во Франции, потому что в России таких детских площадок нету. Галя села на скамейку, а Юля побежала играть. Так она сидела долго и все ждала, когда же за ними придет Пьер и они пойдут обедать. Но время шло, а никто не приходил. Юля проголодалась, и играть ей надоело. Садик постепенно опустел, все разошлись по домам, а Галя даже не знала, в какой стороне дом Пьера, потому что Пьер, когда вел их в садик, шел кругами и зигзагами, и она не могла сообразить, куда ей идти. По-французски она не говорила, поэтому спросить ничего не могла. Темнело, становилось холодно. Юля заплакала, Галя прижала ее к себе и так сидела долго-долго. В небе показалась луна, зажглись фонари, они были нежно-оранжевого цвета, в Ленинграде же они зеленовато-синие, Галя смотрела на них и думала, что же ей теперь делать. Галя не знала, что делать, она никого здесь не знала, и плохо ориентировалась. Юля заснула. Галя уже приготовилась провести ночь на скамейке, а утром попытаться куда-нибудь устроиться жить. Тут она услышала чьи-то шаркающие шаги. Она обернулась и увидела улыбающегося Пьера, он стоял перед ней. Потом он наклонился и хотел ее поцеловать, но Галя резко отстранилась.

— Что ты? - обиженно спросил Пьер. — Пошли домой, я дам вам есть!

Выбора у Гали не было – она молча встала и с Юлей на руках пошла за Пьером. Пьер, похоже, тоже обиделся и шел впереди молча, довольно быстро, Гале приходилось чуть не бежать за ним, чтобы не потерять его из виду. Наконец они пришли домой и Пьер, открыв дверь, поднялся к себе в комнату. Галя и Юля так устали, что уже не хотели есть и пошли спать. Но Пьер думал, что хотя бы сегодня он наконец насладится радостями любви. Как только Юля с Галей легли в постель, дверь их комнаты открылась, и в щель просунулась всклокоченная голова Пьера.

— Галя! Иди! - закричал он.

— Пьер, я устала, давай завтра, - ответила Галя.

— Нет! Нет! - капризно закричал Пьер, - Я хочу сегодня! Если ты не хочешь совокупляться, то мы сделаем только эпидермический диалог! Ты даже можешь не снимать трусы!

Юля уже спала, и Галя тихонько встала и пошла в комнату к Пьеру.

Костю долго перевозили с места на место по всему Парижу из префектуры в префектуру, как когда-то, лет семь назад в Ленинграде, когда он хотел с закрытыми глазами дойти от Невского проспекта до своего дома на Лиговском, и ему это почти удалось, но у самого дома его все же забрали в ментовку. Там пытались выяснить его адрес, фамилию и имя, а он говорил что его зовут Василий Розанов и указывал адрес на Коломенской, где Розанов на самом деле жил какое-то время, а они проверяли и ловили его на вранье, но он так и не сказал, где живет, хотя они и находились в двух шагах от его дома. Его тоже возили из ментовки в ментовку по всему городу, хотели выяснить его личность, но так и не выяснили, а напоследок сильно избили и даже вырвали клочок волос, и только потом перевезли в психушку, где он постепенно пришел в себя.

А в Префектуре он говорил, что его зовут то Исидор Дюкас, то Шарль Пеги, то Луи-Фердинанд Селин, и доверчивый толстый полицейский так и записывал, и даже переводчик, которого специально для этого пригласили, ничего не мог понять. Когда Костю повели в туалет, он захотел продемонстрировать какой-то очень красивый жест сопровождавшему его полицейскому, но тот не понял, а может понял, но просто специально, чтобы отомстить Косте за то, что тот перед этим орал: «Френч швайне!», тяжелой каучуковой дубинкой изо всей силы заехал ему по переносице, и Костя даже в том состоянии, когда он вообще не чувствовал боли, ощутил, как у него хрустнули кости и испугался, что тот сломал ему нос.

У Кости отобрали кожаный ремень, часы, крест на металлической цепочке и заперли в помещении за стеклянней перегородкой (вроде “аквариума” у нас в ментовке) с огромным пьяным негром. Костя продолжал буйствовать, он отбивал руками изо всех сил по стеклу “Гимн Советского Союза” и “Марсельезу”, а негр с одобрением кивал головой, Косте казалось, что негр думает, что он играет джаз, и негру это должно быть особо приятно. Потом негр, свесив голову, заснул, и в его храпе Косте чудилось: «Фраер! Фраер!» Костя начинал злиться, подходил к негру, чтобы ударить его, но, как только он подходил ближе, негр тут же испуганно начинал храпеть: «Сэр! Сэр!» Костю это удовлетворяло, и желание ударить негра тут же пропадало. Так повторялось несколько раз, а безмятежно дремавший негр и не подозревал, какой опасности он подвергался.

Наконец Косте это наскучило, и он начал громко декламировать все французские фразы, которые знал или когда-нибудь слышал. Он несколько раз повторил, прижавшись носом к прозрачной стене:

— Messieurs, je ne mange pas six jours., — и молодой французский полицейский, с состраданием посмотрев на Костю, тихо подошел к дверям, и предвзвительно оглянувшись по сторонам, присел и осторожно подsunул под дверь кусочек булочки, которую Костя радостно съел, очень веселясь про себя в душе, потому что голода в этом состоянии он вообще не ощущал.

Утром приехал префект, и Костю провели мимо строя французских полицейских, ему казалось, что это ради него они выстроились так торжественно, что он принимает парад, как Наполеон или как какой-то адмирал, адмирал и Наполеон смешались у него в голове, он шел мимо стоявших навзтяжку полицейских в разорванной рубашке с гордо поднятой головой, время от времени вскидывая скованные наручниками руки над головой в знак приветствия.

Ему казалось, что сейчас его повезут на корабль, и они отправятся в кругосветное плавание, ему уже виделась бескрайняя морская гладь, и безмятежно голубое небо, а он стоит на палубе в строгой черной форме, на капитанском мостике, в руках у него бинокль, и он спокойным голосом отдает приказы, и все его слушаются, а над головой у него летают чайки, и лицо освежает легкий бриз, но вместо этого его доставили в психоприемник, который в Париже называется PPPP (что расшифровывается как *Infirmerie Psychiatrique de la Prefecture et de la Police*, то есть Психбольница Префектуры и Полиции).

Там его поместили в специальную камеру, стены которой были предосторожно обшиты чем-то мягким, на сей раз эта предосторожность пришлась очень кстати, ибо к тому моменту его возбуждение достигло такой степени, что он кидался на стены и бился о них головой. Ему сделали несколько уколов, и после ужасных мучений наступило некоторое просветление. Он подошел к зарешеченному окну, и ему казалось, что в соседнем окне ему кто-то машет рукой и в том ужасном состоянии, в котором он был (а ему казалось, что он попал прямо в ад, и если бы не решетки на окне, незамедлительно выбросился бы наружу), это соседнее окно было для него как последняя зацепка, как будто кто-то его еще любит и ждет, и это принесло ему небольшое облегчение. Потом все куда-то провалилось и исчезло.

Очнулся Костя уже в Фонтенэ-о-Роз, комфортабельной психиатрической клинике под Парижем. Туда его поместили лишь потому, что он был иностранец из Советского Союза, где всячески издеваются над людьми вообще и над сумасшедшими в частности, и где карательная психиатрия возведена в ранг государственной политики. Вообще, Костя, хотя ничего не понимал, но бессознательно готовился к худшему, ожидал того, что было с ним в прошлый раз на Пряжке.

Но в Фонтенэ-о-Роз ему почти не давали лекарств, утром приносили кофе и даже пирожное и спрашивали, что он хочет на обед, он мог смотреть телевизор, отдыхать, гулять в саду среди зеленых деревьев. На него никто не орал, не выгонял из палаты, он мог делать все, что хочет.

Косте казалось, что он попал прямо в рай – самое главное, что можно было спокойно лежать или сидеть и смотреть в окно, никто ни на кого не орал, никто никого никуда не выгонял. Все это было настолько неожиданно для Кости, что подействовало на него, как электрошок, и, к удивлению врачей, уже через три дня он почти полностью пришел в себя.

Однажды утром он проснулся и, не вставая с кровати, стал задумчиво смотреть в окно. В голове у него еще не вполне прояснилось, и вдруг он увидел за окном страшную старуху, она медленно боком подошла к окну и уставилась на него своими огромными глазами. Костя испугался и закрыл глаза, а когда снова их открыл, старуха исчезла.

“Сегодня выпил литр красного... Как грустно! Сезон любви - птицы летают на дворе, самцы сеют семена в самок, светит солнце. А я один, я вечно один, хотя Галя и приехала. Галя очень красивая. Это мой тип. Я люблю ее, а она меня не любит. Она отказалась провести со мной эпидермический диалог, и я отвел ее с дочкой в сад. Пусть погуляют.”

“После обеда я ездил навестить Сюанну, она в больнице. Ей делают химиотерапию, у нее всюду торчат трубки, ее питают через пупок или через влагалище, я точно не знаю. Я ходил для нее в магазин и принес бутылку воды. Она наорала на меня за то, что я разлил воду на пол. Это естественно, ей надо выразить себя. Как хорошо я ее понимаю.”

“Женщины так эгоистичны, они предпочитают хранить свое тело для самих себя. Женщина - самое прекрасное творение Бога. Но они эгоистичны. Это дефект их воспитания. Нас с детства приучают стыдиться собственного тела. Например, мое тело - это я. Я существую, это онтологично. Я - это я. А она - это она. Я свободен, я совершенно свободен.”

“Я везде вижу людей, в костюмах с галстуками они идут на работу. Утром они пьют кофе - это их наркотик, курят сигарету - это для них та же соска - они все находятся в стадии сосания. Есть анальная стадия, а есть сосальная стадия. Через стадию сосания я уже прошел. Раньше, еще когда я был в армии, я курил сигареты. Потом я стал курить самокрутки. Потом я находил окурки на улицах. А потом я вообще перестал курить и теперь чувствую себя очень хорошо. Люди идут на работу. В обед они идут в кафе и жрут. Я тоже жру. Мы как свиньи - жрем, чавкаем, обжираемся - как это отвратительно! Когда Галя увидела, как я ем, она обезумела. Потому что я веду себя естественно, я вытираю пальцы о рубашку, когда у меня есть газы в

кишечнике, я их выпускаю, когда у меня есть газы в желудке, я их отрыгиваю, когда у меня в зубах застряла пища, я достаю ее оттуда пальцем или деревянной палочкой, когда у меня в носу есть сопли, я достаю их оттуда и иногда ем - они очень вкусные! Они похожи на улиток, которые мы ели в детстве с братом и Эвелиной. А Галя - лицемерка. Она и свою дочку учит всякому лицемерию, но я этого не хочу терпеть!”

“Вообще я мечтал жениться на атеистке, чтобы убедить ее в существовании Бога, но Галя, кажется, верит в Бога и ходит в церковь, хотя мне кажется, что это не совсем правда, она и здесь лицемерит. Я тоже хожу в церковь, у меня даже есть иконы в углу комнаты. И еще у меня есть портрет русского патриарха, я его прикрепил красной кнопкой к стене, эту кнопку я вколот ему прямо в лоб, между двумя глазами, и у него получилось третье око.”

“Маруся – высокая, у нее светлые волосы и голубые глаза. Это мой тип. Зачем она ходит в джинсах? Лучше бы она ходила в юбке. Зачем она приехала с Костей? Это меня раздражает. Костя разбил стекло в Центре Помпиду. Его отправили в психбольницу. У него опыт. Я уважаю этого человека.”

Дима приехал автостопом из Швейцарии без французской визы. Пьеру позвонили его знакомые и попросили встретить Диму и на время приготовить, потому что ему было негде жить. Пьер поехал к метро на машине, которую ему отдали в мастерской, где он работал, двери у этой машины закрывались плохо, а одна вообще не закрывалась, и Пьер привязывал ее веревочкой, но все равно это была машина, и она ездил, и Пьер добирался на ней даже в Нормандию и к морю в Довиль, на самый фешенебельный французский курорт.

Он был там всего лишь один день - они приехали туда с его женой и дочкой, и у самого океана на белом мелком песочке оставили машину - там было много машин, и много народу, все загорали и купались. У его жены не оказалось купальника, и Пьер дал ей свои старые тренировочные брюки, обрезанные по колено, которые, в случае необходимости, заменяли ему плавки, — она купалась без лифчика - так делали во Франции почти все женщины, правда, пока она шла к воде, она закрывала грудь руками, а уже потом в воде плавала, как хотела.

По Парижу Пьер не любил ездить на машине из-за трудностей с парковкой, все было занято, и машину невозможно было поставить, поэтому он предпочитал перемещаться на метро. Но Диму встретить он согласился, это было недалеко, — у ближайшей станции метро Пон де Леваллуа, куда от его дома было двадцать минут ходьбы, а на машине вообще пять минут. Нужно было пройти через два моста над железнодорожными путями, где внизу ходили электрички, потом перейти через мост над Сенной, внизу был островок де ля Жатт (который Пьер, любивший игру слов, называл “Иль де ля Шатт”,

что на арго означало “Остров Пиписьки”), справа вдали виднелись огромные небоскребы Дефанс - это был квартал, построенный в подражание американским небоскребам - Пьер говорил, что архитектор, соорудивший этот квартал, страдает мегаломанией, - и там неподалеку было метро.

Маруся потом видела Дефанс, действительно, похоже на Америку, огромные блестящие дома по сто этажей, и подъемник, — можно полюбоваться сверху на пейзаж. Фонтанчики, бассейн с разноцветными огнями и вода вечером становится зеленая и фиолетовая. А в подземельи там метро и автобусы — так приятно и тихо, пахнет сыростью, как в погребе, и уютно...

Когда Пьер подъехал к метро, Дима сидел на паребрике мостовой, в белой рубашке и джинсах. Оказалось, что он свободно говорит по-французски, потому что в детстве Дима жил в Швейцарии вместе с родителями, которые там работали, занимались геологией. Дима вообще говорил без умолку, он говорил постоянно, остановить его было невозможно, а когда говорить уже становилось не о чем, он начинал приплясывать, прищелкивая пальцами, и напевать какие-то неизвестные мелодии. Дима очень любил джаз. В карманах у него были конфетки, которые он доставал и по одной давал Пьеру: Пьер жадно их ел.

Пьер хотел стать знаменитым писателем, но он никак и ни на чем не мог подолгу сосредоточиться. Он знал, что он ЕСТЬ. И Бог тоже ЕСТЬ. Они вместе онтологические существа. И его родители тоже ЕСТЬ. Каждое существо ЕСТЬ само по себе. Каждое существо прекрасно, но только человеческое существо, кошек и собак Пьер ненавидел, так как считал, что они воруют частичку любви, которая могла бы попасть к нему. Если он видел, что юноша обнимает собаку, а рядом стоит девушка, он говорил:

— Вот зоофил! Он это делает потому, что не решается обнять свою подружку! Потому что это — табу!

Он любил только гусей и лошадей, потому что их можно было есть. Гуляя по лугу, он иногда останавливался и наблюдал великолепных лошадей - жеребцов и кобыл, он подзывал их ржанием - он научился ржать, как настоящий конь. Вообще-то, он звал кобыл, но часто приходил жеребец, а Пьер не любил особой мужского пола, он их боялся, он любил только женщин.

Не так давно Пьер выгнал из дома Марину. Марина была странница, она ходила по Парижу с двумя дочками, а в рюкзаках у них были книги, жития святых и евангелия, уже начатые тубики с кремом и дезодоранты, конфеты в разорванных бумажках, расчески с обломанными зубьями и еще много-много всего. Они пришли к Пьеру, потому что им негде было жить, а Пьер принимал у себя всех. Марина каждый день молилась Богу, дочек она отправляла спать, а сама молилась. У нее было худое лицо, черные кустистые

брови и огромные черные глаза. Пьер терпел два дня, а на третий день поздно вечером объявил:

— Марина, сегодня ты спишь со мной!

Марина посмотрела на Пьера, на его обвисшие щеки в красных прожилках, на его нос с растущими на нем волосами, на обломки гнилых зубов, торчащие из-под седых усов над губами, растянутыми в похотливой ухмылке, немного подумала и, встав на колени, стала молиться о спасении души Пьера. Пьер сидел рядом на кровати, уперев локти в колени и с восхищением смотрел на Марину. Он ждал, что вот сейчас она помолится, разделется, ляжет рядом с ним, и они проведут вместе упоительную ночь. Девочки были тут же, они крестили Пьера и приговаривали: — Изъиди! Изъиди! Нечистая!

Пьер добродушно улыбался и осматривал их крепкие ножки и юбочки, под которыми угадывались ягодицы. Но Марина встала с колен и ушла. Она ушла, забрав с собой девочек, хотя был уже час ночи, и электрички больше не ходили. Она просила Пьера разрешить им остаться хотя бы до утра, но Пьер был неумолим, он специально дотянул до такого позднего часа, чтобы поставить Марину в безвыходное положение и вынудить ее спать с ним.

Не могла же она ночью вместе с девочками идти неизвестно куда, но она все равно ушла. Вспоминая об этом, Пьер чесал яйца и задумчиво говорил:

— Я просто хотел, чтобы она ушла, поэтому и попросил ее спать со мной. Но вообще-то она прекрасно устроилась, я тут видел ее на вокзале, она, кажется, нашла себе мужика и живет с ним...

“Самые прекрасные слова в русском языке - это самец и самка. Но люди их не любят, потому что это табу. Я написал открытку одной девушке, которая мне очень нравится: «Моя любимая самка, я приеду, чтобы спать бок о бок с тобой. Твой Пьер.» Но она почему-то очень обиделась и сказала, чтобы я ей больше не писал и не звонил. И ее муж сказал, что разобьет мне морду. Это странно. Когда я приезжал в Ленинград, я жил у них на квартире.

Ее муж тогда уехал жить к своей матери, а я остался с ней вдвоем в пустой квартире. Наверное, нужно было попросить ее спать со мной, но я каждую ночь мирно шел спать один в свою комнату. А надо было ей сказать: «Давай спать вместе!» Она, наверное, стеснялась предложить мне это сама. Поэтому я решил написать ей эту открытку, надеясь, что она как бы в шутку ответит мне, но на самом-то деле мне сразу же станет ясно, что она хочет спать со мной бок о бок, и я приеду в Петер, а еще лучше пришлю ей приглашение. Однако, она очень разозлилась.”

“Вчера у меня ночевала Марина. Марина - это странница. Она бродит везде со своими двумя девочками. У них на головах платки, и они молятся Богу. Она ночевала у меня одну ночь, а потом я сказал ей:

— Марина! Сегодня ты спишь со мной!

Она встала на колени и стала молиться, а девочки стояли рядом, крестили меня и причитали:

— Изъди! Изъди!

Они очень хорошенькие. Я не педофил, но через пару лет они совсем созреют. Они скоро достигнут половой зрелости. По-русски есть слово «сладкий страсть». Это слово мне очень нравится. Я хотел поцеловать одну девочку, но она отскочила. А вторую я все же успел поцеловать, она еще маленькая, я для нее как отец.”

“Я хочу быть отцом. У меня тоже будет такая девочка. Я буду возить ее в тележке, которую украду в универмаге напротив. Нет, красть - это неблагоприятно, я ее найду на улице. Я найду на улице еще много тряпок и заверну ее в эти тряпки и буду катать по улицам, а все будут на нас смотреть. Я смогу целовать ее столько, сколько захочу и даже смогу класть ее совсем голенькую в свою кровать, и у нас будет эпидермический диалог.

А когда она вырастет, я возьму для нее бесплатные презервативы в поликлинике, у нас в поликлинике я видел объявление о том, что подросткам выдают бесплатные презервативы, я даже узнал, когда их можно взять. Я могу взять эти презервативы и для Юли, она тоже скоро достигнет половой зрелости, а Гале я предложу вставить внутриматочную спираль, потому что она, наверное, боится забеременеть, поэтому и не хочет спать со мной. А когда у нее будет спираль, она будет спать со мной каждую ночь.

Только как же тогда я оплодотворю ее? Я прокрадусь ночью к ней в комнату и оплодотворю ее сзади, сзади спираль, кажется, не действует, а она будет спать и даже не заметит, она будет сладко спать. О моя мама, где ты! Я хочу обратно в тебя! О мам, где ты? Я называю Галлю Гал, так мне больше нравится. Юля же называет ее мам. О мам!”

Дима жил у Пьера уже месяц. Он был единственным представителем мужского пола, которому удалось так долго прожить у Пьера, обычно он позволял жить у себя только женщинам в надежде на то, что они будут с ним спать, а мужчины не задерживались дольше двух недель.

Вообще-то в Париже жила димина двоюродная сестра Катя, она была замужем за французом, и он рассчитывал остановиться у нее. Но у них была очень маленькая квартира, они жили вместе с братом мужа, а он был немного странный, да тут еще Катя недавно родила, а ее муж, тщедушный француз маленького роста, но очень образованный, страдал комплексом неполноценности и вообще был довольно вспыльчивый и привередливый, они часто ругались.

С Димой у Кати были не очень хорошие отношения, потому что их родители были в ссоре. Родители Кати как-то давно сдали Диму в милицию, потому что тот украл наркотики в поликлинике, и за ним охотились милиционеры, а катины родители случайно узнали, где он прячется, и навели милицию на его след. Дима с тех пор их ненавидел. Но еще до того однажды Дима купил своей матери мороженое и положил его в холодильник, а в это время к ним в гости пришла катина мать - сестра диминой матери. Дима сидел у себя в комнате и слушал музыку, он очень любил джаз, а блатную музыку ненавидел, после того, как побывал в тюрьме, он вообще не мог спокойно слышать не только блатные песни, но даже блатной жаргон, а вот джаз Дима слушал постоянно, при этом он приплясывал, дергаясь всем телом, изображая гитариста и прищелкивая пальцами. Он был очень худой, со светлыми кудрявыми волосами и голубыми глазами. Так он приплясывал у себя в комнате, а тетя Мила - сестра его матери - сидела в кухне и ждала свою сестру.

Наконец Дима решил зайти на кухню и предложить гостье чаю, потому что его мать задерживалась - и тут он увидел, что тетя ест мороженое, которое он купил для своей матери! Этого он ей тоже никогда не мог простить!

У Димы было еще два брата - один брат играл на скрипке у Петропавловской крепости, и Дима помогал ему собирать выручку, второй же брат вступил в секту мормонов и получал доллары из Америки. У Петропавловской крепости Дима и познакомился с одной швейцаркой, которая прислала ему приглашение. Он, правда, уже заранее собирался ехать именно во Францию, потому что тетя Мила ездила туда в гости к Кате и все время повторяла: «Франция - это рай!»

И его мать говорила, что единственная страна, где она хотела бы жить - это Франция. Но когда Дима приехал во Францию, оказалось, что ему негде остановиться, потому что у Кати было нельзя. Катя предложила ему пожить у Пьера, у которого был большой дом в пригороде Парижа Буа Коломб:

— Хотя к нему и приехали жена с дочкой, но места хватит на всех.

Дима согласился. Пьер тоже был не против, он всегда принимал гостей, они его кормили, даже если у них было немного денег, все равно ему хоть что-то да перепадало. Во всяком случае, бутылку вина ему всегда покупали. Пьер встретил Диму у метро, Дима ему сразу понравился, потому что прекрасно говорил по-французски, у него были изысканные манеры, и, к тому же, он сидел в тюрьме, а значит у него был опыт страдания, это Пьер очень ценил. Сам Пьер в тюрьме не был, но провел два года в Сент-Анн, там ему сделали восемь электрошоков, но он считал, что сумасшедший дом и тюрьма - это одно и то же. Он все время говорил:

— Да, я знаю, у меня опыт! — и многозначительно тряс при этом головой, горестно сжав рот в куриную гузку.

В сумасшедшем доме Пьеру впервые пришло в голову, что он обязательно должен поехать в Россию, а в то время это было не так просто, потому что коммунисты мало кому давали въездную визу, тогда Пьер надумал стать дипломатом, а чтобы не терять времени зря, решил считать, что он уже дипломат, и вот-вот отправится в Россию, когда же кто-то при нем достал портфель, который назывался дипломат, Пьер принял это за Знак, подтверждающий, что действительно, он уже дипломат; после этого Пьер дни напролет, лежа на койке под воздействием лекарства, только и делал, что обдумывал подробности своей поездки в Россию.

И Дима ему сразу же показался похожим на дипломата - у него ведь были такие до блеска начищенные ботинки и белая рубашка, и держался он так прямо — настоящий дипломат! Пьер немного завидовал Диме и вместе с тем восхищался им, потому что у него был опыт.

Дима стал для Пьера как бы тайным идеалом. Но, несмотря на это, Дима прожил у Пьера в доме всего пятнадцать дней, а потом Пьер написал ему на бумаге: «Дима, завтра ты уходишь, потому что приезжает Света!» Дима подумал, что это шутка, но Пьер был очень мрачный, не разговаривал с ним, отворачивался, ходил боком, к тому же спрятал телефон, который Дима, правда, все равно нашел потом в помойном ведре. Дима решил уйти на время, а потом, когда настроение у Пьера изменится, вернуться назад. Он не оставлял надежды навсегда поселиться во Франции.

Пьер очень хотел оставить после себя потомство, этот вопрос занимал его постоянно, потому что уже скоро (а может, и не так скоро) он должен умереть, то есть это не называется умереть (Пьер никогда не употреблял это слово), а просто уйти, конечно, навсегда, а его ребеночек останется, он воспроизведет себя, как говорил его отец, который никогда не снимал с головы своей шляпы и часто, сидя на кухне, щупал пульс. В такие минуты лицо его обретало задумчиво-беспокойное выражение, он был ипохондриком. А потом он отправлялся на природу писать пейзажи, еще он рисовал валькирий, он изучал Вагнера и даже пел вместе со своей дочерью Эвелиной, облаченной в голубую тунику, и на волосах у нее была золотая ленточка...

На автопортретах он рисовал себе огромные кустистые брови, такие же брови были и у Пьера, они росли в разные стороны и напоминали траву, в которой Пьер собирался умереть, когда настанет его час. Он не хотел умирать в приюте, это его ужасало, он пойдет умирать за город, ляжет там в траву, никто не выливает туда помой, во Франции очень хорошо продумана система канализации. Он будет слушать пение птиц и спокойно умрет, как его мать и отец, которые лежат вместе в одинокой могиле на кладбище в Нормандии под прямоугольной плитой, украшенной сбоку скромным распятием.

Пьер ни разу не был на их могиле, впрочем, один раз он все же туда заглянул. по дороге он сорвал один цветочек - это был мак, и еще один - розовый. мохнатый - Пьер не знал, как он называется, он не разобрался в растениях - и проходя мимо, небрежно бросил их на плиту. Потом он прошел по всему кладбищу и ненадолго остановился перед могилой молодых солдат, погибших за Францию.

Пьера всегда раздражала эта комедия: сражайтесь за родину! Он сам был в Алжире на войне и из-за этого потом и попал в сумасшедший дом, он не мог вынести этого ужасного напряжения, и с тех пор стал пацифистом.

У Димы в Ленинграде был сын, он женился очень рано, в девятнадцать лет, но его жена потом погрязла в наркотиках, как говорил сам Дима, да и он тоже одно время был наркоманом, даже сидел из-за этого в тюрьме, правда, Пьеру он сказал, что сидел из-за политики, потому что всегда был против коммунистов, и Пьер его очень жалел. Он говорил:

— У Димы есть опыт. Я уважаю этого человека.

У Пьера тоже был опыт, только он сидел не в тюрьме, а в психбольнице Святой Анны, но ему казалось, что это одно и то же. Диму переполняла энергия, он вообще не мог долго сидеть на одном месте, и почти все время приплясывал и пританцовывал, прищелкивая пальцами и что-то напевая. Дима все воспринимал всерьез, Маруся не сразу обратила внимание на эту его особенность, а зря. Однажды Денис в шутку предложил Диме ограбить магазин.

— А что? — тут же вдохновился Дима, — это совсем не сложно. — Он сел и сразу же стал рисовать план воображаемого ограбления:

— Мы заходим втроем в эту дверь, естественно, в масках, я впереди, она — посередине, ты — сзади, подходим к кассиру...

Потом Дима еще долго обсуждал с Марусей этот план, и так ей надоело, что она не знала, как от него избавиться. Однако вскоре его двоюродная сестра позвонила ему и по телефону сказала, что есть работа — ухаживать за старушкой, но родственники этой старушки хотят, чтобы за ней ухаживал человек верующий. Ход диминых мыслей тут же резко изменился.

— А что? — тут же заявил он Марусе, — я скажу, что я окончил духовный семинарий, и после этого ухаживал за своей бабушкой. Правда, она теперь умерла, но это не имеет никакого значения.

Потом от кого-то последовало предложение смотреть за детьми, и Маруся, как-то вернувшись домой, увидела, что Дима стоит на четвереньках посреди комнаты и заглядывает под стол и под диваны, приговаривая:

— А где же мой маленький гномик!

Оказалось, что он пытался играть с Юлей в прятки — готовился к работе с детьми. Юля же, заявив Марусе, что Дима — сумасшедший, ушла и заперлась в своей комнате. Однако эту работу Дима тоже не получил.

Дима знал, что Пьер собирается продавать свой дом. Однажды, когда Пьера не было дома, а Дима с Марусей сидели на кухне, в дверь позвонили. Оказалось, это пришла какая-то незнакомая дама, которая заинтересовалась домом Пьера. Дима встретил ее очень галантно, проводил наверх, а сам, стремительно перепрыгивая через несколько ступенек, спустился вниз на кухню к Марусе.

— Сколько стоит этот дом, только быстро? — задыхаясь, завопил он Марусе.

— Миллион семьсот тысяч франков”, — ответила ему Маруся с некоторым недоумением.

— Значит так, сиди тихо и помалкивай, десять процентов тебе, остальное — мне! — выпалил Дима и так же стремительно бросился наверх к незнакомке.

Потом оказалось, что дама была торговым агентом фирмы, с которой Пьер заключил договор на продажу недвижимости, и была очень удивлена резко повысившейся ценой дома. Вскоре Пьеру пришло уведомление о расторжении договора.

Больше всего Диму занимал вопрос о том, как остаться во Франции, даже его мама говорила, что это единственная страна, где она хотела бы жить, и он решил добиваться политического убежища. Это было достаточно сложно, потому что власть коммунистов в Советском Союзе пришла к концу, да и самого Советского Союза уже как такового не существовало, и было невозможно доказать, что тебя преследуют и твоей жизни угрожает опасность.

— Что же мне делать? — в отчаянии спрашивал Дима у Маруси. — Обрати в эту воющую страну я не вернусь.

— А ты скажи им, что ты гомосексуалист, и тебя за это преследуют, — в шутку предложила Маруся, — Ведь у нас еще в УК статью о гомосексуалистах никто не отменял, так что пока у тебя есть шанс.

Дима недоверчиво захихикал, потом вдруг вскочил и стал отплясывать бешеный танец, извиваясь всем телом, подергиваясь, прищелкивая пальцами и напевая что-то по-английски. Потом он успокоился, сел за стол и налил себе вина.

— Ты что? — спросила его Маруся.

Дима ничего ей не ответил, и стал тут же рассказывать ей про свою жену — какая она сволочь и его совершенно не понимает. Потом, порывшись в карманах, достал оттуда горсть орехов, стал разгрызать, и, доставая изо рта уже разгрызенные, галантно предлагал Марусе. Марусе было неудобно отказываться, и она, чтобы не обижать Диму, съела пару орехов, правда, предвзительно их обтерев.

На следующее утро Дима встал рано, когда все еще спали, и куда-то ушел. Он никому ничего не сказал, но он так делал всегда, поэтому никто

особенно не волновался. Правда, ночевать он не пришел, но Пьер не придал этому ровно никакого значения.

— Гуляет, — хихикая и подмигивая Марусе сказал он, когда она спросила у него, где же Дима. На следующий день Димы тоже не было, и тут Пьер заволновался:

— Черт! Где же Дима? Может быть, его забрали эти проклятые лягавые? В нашей сволочной стране можно ждать чего угодно!

Но вскоре он выпил, успокоился и забыл про Диму.

Дима явился лишь на третий день, рано утром — грязный, небритый и измученный. Оказывается, под влиянием марусиных слов, он решил объявить себя гомосексуалистом.

Вообще, Дима в частных беседах отрицал, что он гомосексуалист, хотя и признался как-то Марусе, что на зоне ходил среди «петухов» или «опущенных», что одно и то же. И тут он все же решился открыто объявить о своей сексуальной ориентации, а если от него потребуют доказательств, он сможет сказать, что в России у него остался друг, которому он хранит верность.

Дима решил организовать акцию - подняться с плакатом на Нотр-Дам. На плакате он написал: «Французы! Помогите гомосексуалисту из ГУЛАГа!» Он залез со своим плакатом на Нотр-Дам и устроился между башенками снаружи, это место он облюбовал уже давно, еще когда приходил в первый раз, чтобы составить план действия; там он простоял примерно полчаса, но его никто не замечал. Он продолжал мужественно стоять и к концу двух часов ожидания ужасно замерз, к тому же плакат порвался на ветру. Дима от холода стал приплясывать и прищелкивать пальцами: он изображал то гитариста, то ударника, то певца, и даже спел несколько фраз по-английски хриплым голосом, он так разошелся, что едва не упал вниз, но зато почувствовал, что согрелся. Сзади он услышал какое-то шуршание и обернулся: за ним столбенею от изумления наблюдал седой человек в форменной фуражке со связкой ключей в руке, очевидно, это был сторож. Через какое-то время сторож, заикаясь, произнес:

— Что это вы тут делаете? Собор уже закрывается, приходите завтра.

Близко подойти, однако, он не смог - Дима специально устроился так, чтобы выгнать его было невозможно.

— Я советский гомосексуалист из ГУЛАГа, - гордо ответил Дима.

Сторож все еще не догадался.

— А что же вы тут делаете? Вот тут неподалеку есть кафе, где собираются гомосексуалисты, вы наверное просто спутали, идите туда, я вам покажу, где это.

— Мне нужно получить политическое убежище, в Советском Союзе мне грозит смерть, меня посадят в лагерь. Я отсюда не слезу, пока вы не вызовете телевидение.

Сторож попытался его уговорить, даже предлагал написать ему адреса всех местных гей-клубов, сказал, что там ему помогут, но Дима ничего не хотел слушать. Наконец смотритель, бормоча под нос:

— Проклятые иностранцы, проклятые гомосексуалисты, вечно с ними проблемы! — поплелся вызывать полицию, уже было поздно и нужно было закрывать собор. Вскоре Дима увидел внизу несколько полицейских машин, и комиссар с рупором стал уговаривать его спуститься вниз. Они сверху казались маленькими, просто игрушечными, а комиссар напоминал какое-то ди-ковинное насекомое, Диму это очень позабавило. Сзади тоже к нему пытались подкрасться полицейские, но Дима пригрозил, что прыгнет вниз. Он завопил, что требует, чтобы приехало телевидение, и только когда увидел внизу машину с надписью ТВ, согласился спуститься вниз.

Когда его вели к полицейской машине, он приветственно помахивал над головой руками, как делают государственные деятели, когда их встречают в других странах. Диму посадили в полицейскую машину и повезли, по дороге полицейские говорили с ним очень дружески и даже с некоторой завистью: он теперь стал знаменитостью, и скоро у него будет много денег, так пусть он тогда не забудет пригласить их в ресторан... Дима радостно скалил зубы в предвкушении вкусного обеда.

Но его почему-то привезли в тот же психоприемник, что и Костю, там долго осматривали, ощупывали, спрашивали - с какого возраста он занимается гомосексуализмом, и кто его больше интересует : мальчики или взрослые мужики. Дима бодро отвечал на все вопросы, ожидая, когда же его все-таки покормят, но его просто отвели в камеру и заперли на всю ночь.

Только Дима стал засыпать, как услышал скрип открывающейся двери, и кто-то, обутый в сапоги, тяжело дыша, подошел к его кровати и нежно обнял Диму. Дима в ужасе стал отбиваться, потом вскочил, и забился под кровать... Человек в сапогах еще походил вокруг, он не говорил ни слова, и только сопел. Наконец он выругался и ушел. Все стихло, но Дима уже боялся вылезать из-под кровати, он перетащил туда подушку и матрас, и так и заснул под кроватью.

Утром он проснулся от того, что кто-то грубо толкал его в плечо. Он открыл глаза и увидел огромные сапоги. Сверху на него презрительно смотрел угрюмый полицейский с красной физиономией. Он не предложил Диме ни кофе, ни даже хлеба, хотя Дима объяснял ему, что голоден, он не сказал ни слова, а просто, с презрением глядя на Диму, вытолкал его на улицу, выбросил вслед его синюю нейлоновую сумочку и с грохотом закрыл ворота.

Дима некоторое время стоял в растерянности, потом бросился к газетному киоску - он был уверен, что его портрет будет везде, на всех обложках и первых страницах газет. Он просмотрел все - ничего не было, он не верил собственным глазам, получалось, что все напрасно. Оставалась еще надежда,

что вчера его показывали по телевизору. Он позвонил своей двоюродной сестре, которая уже давно жила во Франции с французским мужем. Однако, по телевизору его тоже не показали, ни слова не было, даже в новостях.

Пьера все это не удивило, он был философ и великий мистик - так он сам себя называл, он сказал, что так все и должно быть : он был в хорошем настроении, потому что выпил красного вина и поел колбасы и ковбьял в зубах острой деревянной зубочисткой китайского производства. Дима решил на следующий день снова пойти в Нотр-Дам, но на сей раз устроить там стриптиз во время богослужения. “Просто так они от меня не отделаются”, — злорадно думал он.

Однако на следующий день в Нотр-Дам его не пустили, человек у входа, увидев Диму, сразу же подошел к нему вплотную и тихо сказал, чтобы он сейчас же уходил, а то он вызовет полицию, и Диму надолго упрячут за решетку. Дима стал уверенно отвечать, что они не имеют права, потому что он российский гражданин, а их французские законы для него не указ, но человек нехорошо улыбнулся и достал из кармана радиотелефон. Тогда Дима быстрым шагом направился в сторону Латинского квартала, пугливо оглядываясь по сторонам. Ему вовсе не хотелось за решетку.

В комнате, где жила Галя, было окно в крыше, оно открывалось наверх. На потолке висела одна лампочка на ободранном проводе, а так как у Пьера далеко не в каждой комнате были лампочки, то это было своего рода роскошью. Раньше до Гали в этой комнате жила Ивонна, полька, ее с приездом Гали он переселил в другую, похуже. Она работала по ночам в ресторане и приходила домой иногда под утро, а иногда в два часа ночи.

Ивонна платила Пьеру за комнату 600 франков в месяц, это было очень недорого, и она жила у Пьера уже несколько лет, но Пьер периодически ее выгонял. Когда она возвращалась после работы поздно ночью домой, ей, чтобы попасть в свою комнату на третьем этаже, неизбежно приходилось пройти мимо комнаты Пьера, а Пьер всегда оставлял дверь открытой, и, всякий раз, когда Ивонна проходила мимо - а он не спал и ждал этого момента - он заунывным голосом звал ее:

— Вона! Вона! Иди ко мне! Вместе нам будет теплее!

Ивонна и так уставала, а эти заунывные призывы просто доводили ее до белого каления, к тому же ей не нравилось изобретенное Пьером имя “Вона”.

Пьер занимал лучшую комнату в доме, с туалетом и иногда ставил себе на ночь электрический обогреватель. Это было естественно, ведь он был хозяином дома, хотя это слово ему и не нравилось. Правда, дверь, ведущая в туалет из комнаты, была сломана, так что получалось, что туалет находится как бы прямо в спальне, и Пьеру казалось, что это смущает Галю, но порой он

находил в этом даже что-то приятное. Но потом ему показалось, что Галя от этого становится не такая страстная, а она и так-то не была особенно страстная, только один раз, когда они с Пьером выпили вдвоем три бутылки красного вина, Пьер буквально втащил ее на второй этаж и повалил на кровать. Галя хихикала и не особенно сопротивлялась, а Пьер раздел ее, разделся сам и предался удовольствиям любви. Правда, он выпил и съел слишком много, поэтому у него была сильная отрыжка, и из его желудка вместе с газами поднималась в рот не успевшая перевариться пища, Гале не очень хотелось целоваться с ним, но Пьер, властно загнул ее голову так, что она испугалась, чтобы он не сломал ей шею, и впился в ее рот страстным поцелуем. Галя все время видела, как он ест сопли, поэтому целоваться с ним ей было не особенно приятно, и она старалась по возможности этого избегать. К тому же, профессорская борода колосась, и Гале было больно, но она терпела, — одно сознание того, что Пьер – французский профессор неизменно наполнял ее неизъяснимым блаженством, и в этот миг она даже переживала оргазм.

Как только Галя приехала, и Пьер обнаружил, что она не такая страстная, как он ожидал, он предложил ей вставить внутриматочную спираль, потому что решил, что это оттого, что она боится забеременеть. Галя согласилась, и Пьер повез ее к своей знакомой жещине-гинекологу, которая жила в пригороде Парижа.

Когда они ехали обратно на машине, Пьер попросил у Гали руководство по применению спирали со схемой, где были нарисованы женские половые органы и тщательно с интересом все изучил, периодически задавая Гале вопросы. От того, что она целовалась с Пьером, у Гали началось какое-то заболевание десен, она заразилась этим от Пьера, у нее периодически были ужасные зубные боли, но зубной врач, знакомая Пьера, тоже из белых русских, заверила Галю, что это не заразное, хотя Галя ее об этом и не спрашивала. Ей прописали какое-то полоскание, и постепенно мучительные зубные боли прошли.

Сверху площадь перед Центром Помпиду походила на палубу корабля и в довершение сходства там была установлена пароходная труба, выкрашенная в голубой цвет. Маруся отчетливо помнила, как Пьер впервые привел ее сюда. Сперва они решили подняться на самый верх, а потом уже спуститься в библиотеку. Наверху находился ресторан, кафе, и можно было выйти на открытую площадку и полюбоваться видом Парижа. Вокруг было много иностранцев, слышалась немецкая, английская речь.

Маруся сразу заметила группу толстых русских женщин, одетых, несмотря на жару, в кожаные пиджаки, и вслух громко восхищавшихся красотою Парижа. Сверху было видно все, там, где была Сена - по словам Пьера,

потому что самой Сены не было видно из-за домов - Маруся видела много устремленных вверх башенок, остроконечных, украшенных разными вырезными штучками, но она не могла понять, где же находится Нотр-Дам, зато Эйфелева башня была видна прекрасно, и Маруся подумала, что надо бы туда сходить, подняться на нее. Она сказала об этом Пьеру, который весь перекопился и ответил, что это очень дорого стоит, и вообще, все эти «истерические памятники» его не интересуют - он нарочно так говорил, чтобы было смешнее, он вообще любил переиначивать слова и часто отпускал каламбуры.

В свое время Пьер выпустил книгу стихов, которые написал в психбольнице. Книга называлась «Я — параноик». Стихи, в основном, состояли из игры слов, книгу никто не покупал, и издатель потом был вынужден за свой счет выкупать ее из магазинов, после чего полностью разорился. Пьер рассказывал об этом со смехом, повторяя свою любимую фразу: «Все это глупости!»

Маруся с Пьером спустились на третий этаж в библиотеку. В библиотеке повсюду были установлены компьютеры и телевизоры. На стуле перед одним из телевизоров сидел бородатый старик, неподвижно уставившись на экран. Потом Маруся постоянно видела его здесь, - он перемещался от одного телевизора к другому и смотрел подряд все программы: из Англии, Германии, Испании и других стран. Ботинки у старика были подвязаны веревочками, и сам он был весь обтрепанный, от него сильно пахло мочой. Маруся с Пьером прошли в угол огромного зала, туда, где стояли стеллажи с русскими книгами. Возможно, от вида корешков русских книг, Марусе внезапно захотелось поговорить по-русски, она почувствовала, что уже давно не говорила по-русски, а все по-французски, и от этого у нее устали губы и даже язык.

Они снова спустились вниз. Пьер отправился в туалет, а Маруся ждала его в холле, где под самым потолком, рядом с портретом Жоржа Помпиду висело нечто огромное и странное, напоминавшее половинку гигантского яйца, выкрашенную в желтый и белый цвета. Тут к ней, на ходу застегивая штаны, подошел Пьер. Он ткнул пальцем наверх и спросил Марусю, что ей это напоминает.

— Для меня, - тут же сказал он, не дожидаясь ответа, - это огромное яйцо!

О яйцах у Пьера была разработана целая теория, он считал, что по тому, как человек ест яйца, можно понять, как он относится к факту своего рождения. Сам Пьер, когда ел яичницу-глазунью, воинственно вращал глазами и с подчеркнuto театральным остервенением втыкал нож прямо в желток яйца. Он относился к факту своего рождения крайне отрицательно.

Чтобы поменьше находиться в доме у Пьера, Маруся потом часто ходила в Центр Помпиду и проводила там весь день, с открытия до закрытия, она приходила к двенадцати часам, вместе с первыми посетителями и выбирала себе в библиотеке лучшее место - на стуле, лицом к большой стеклянной стене, где можно было читать книгу, а когда надоест - смотреть вниз, на людей

на площади. Она проводила так по много часов, если ей хотелось есть, она доставала кусок булки, который предусмотрительно брала с собой из дому, и пластмассовую бутылочку с водой, воду в бутылочку она набирала в туалете, выхлестать было нельзя, иначе потом пришлось бы снова стоять в очереди на вход.

Маруся была в старом джинсовом полупальто, который она купила на Блошином рынке на Порт де Монтрей за пятьдесят франков у араба, она все время ходила только в нем и не снимала его даже в доме у Пьера, потому что там было очень холодно. Ей очень не хотелось возвращаться туда, но вечером, когда автоматический голос объявлял, что Центр закрывается, она с чувством тоски и обреченности вставала, брала свою сумку и шла к выходу, утешая себя мыслью о том, что ведь еще нужно ехать в метро, потом идти, и еще много времени пройдет, прежде чем она снова окажется в этом жутком доме.

В Петербурге Маруся тоже часто ходила в Публичную библиотеку. Она любила сидеть в зале Основного фонда за первым столом, спиной ко всем, лицом к окну, и прямо напротив она видела угол Гостиного Двора, чуть справа внизу — кусок Невского с голубоватыми фонарями, и по нему ехали машины, а сверху падал снег, или дождь, и всегда было темно, и всегда с неба что-то падало, а Маруся сидела за этим столом и часами смотрела в окно, забыв про раскрытую перед ней на столе книгу. В зале Основного фонда всегда было много народу, как правило, все места заняты, и худенькая девушка ставила стремянку, чтобы достать книги сверху. Маруся сидела и смотрела в окно, постепенно впадая в полнейшую прострацию. Она как бы парила, летела над городом, под этим низким серым небом и смотрела сверху на него, это было наяву, она уже не раз пролетала там, и могла лететь все выше и выше, а могла — совсем невысоко, и если ей угрожала опасность, или просто какая-то неприятность, то чтобы ускользнуть, нужно было просто подпрыгнуть и так немного задержаться, а потом делать так, как будто плывешь. Погружаясь в это особое пространство, Маруся как бы оставляла свою оболочку, свое тело внизу, за столом, и могла обрести относительную свободу.

Иногда, правда, эта свобода становилась тяжестью, легкость исчезала и Маруся погружалась в какое-то особое темное пространство, причем чем дальше она продвигалась вглубь, тем темнее и темнее становилось, и постепенно уже было нечем дышать, и оставалось только срочно выскакивать обратно на свет — а вдруг не успеешь? В таких состояниях Маруся иногда ловила кайф, и постепенно привыкла к этому так, что они стали ей необходимы как наркотик. Она чисто бессознательно вызывала в себе эти ощущения. Возможно это был путь к безумию, у каждого он свой. Всем нужно пройти через эти особые пространства, у одних они яркие блестящие, слепящие, у других — темные, мрачные и душные, но всегда, как правило, в этом есть свой особый кайф, больше, чем в пьянстве или куреве.

В тот первый раз, когда они с Пьером вышли из Центра Помпиду на улицу, было очень душно, Маруся чувствовала, что задыхается от жары и выхлопных газов тысяч машин, она боялась, что потеряет сознание и упадет прямо здесь, на улице, в толпе прохожих, целиком окажется во власти враждебных ей людей. На площади перед Центром толпился народ. Больше всего людей собралось вокруг мужчины, который записывал себе в рот огромную саблю. Зрелище было не из приятных, и Маруся хотела идти дальше, но Пьер остановился и, точно зачарованный, стал наблюдать за ним, самозабвенно ковыряя в носу. Потом, когда мужчина благополучно проглотил и вытащил назад свою саблю, Пьер подошел и дал ему один франк.

— Это страдание, - с серьезным видом пояснил он Марусе, - он страдает.

Они повернули на одну из узких улочек, справа от Центра Помпиду. Пьер подошел к окну, открытому прямо на улицу, в котором стоял араб и продавал бутерброды и напитки. Насаженный на шампур огромный кусок мяса медленно вращался над зажженным пламенем. Продавец в белом фартуке отрезал ножом от этого куска мясо, клал их на булку, добавлял салат, жареный картофель, разные соусы, и получался очень аппетитный бутерброд. Все это стоило двадцать франков. Пьеру очень хотелось есть, да и Маруся тоже проголодалась. Пьер остановился перед окном и со страдальческим видом смотрел на продавца.

— Он - арабский, - пояснил он Марусе по-русски. Маруся ждала, что же будет дальше.

Подходили люди, покупали бутерброды и отходили, а Пьер с Марусей все так и стояли, как вкопанные. Продавец с насмешкой смотрел на них. Наконец Пьер решился. Он подошел поближе и спросил, можно ли положить вместо салата побольше жареного картофеля. Продавец ничего не имел против. Пьер снова задумался. В волнении он ковырял в носу и облизывал пальцы. Марусе это надоело, к тому же и продавец смотрел на них с нескрываемой насмешкой. Наконец Пьер все-таки достал из кармана две монеты по десять франков и протянул их продавцу. Тот сделал ему бутерброд и даже завернул его в белую бумажку. Пьер взял бутерброд и, разломив его пополам, половину протянул Марусе. Маруся была очень голодна, поэтому прониклась признательностью к Пьеру.

Они сели на скамейке на площади под деревом и стали жадно есть. Тут же к ним подошла толстая девочка в грязном засаленном платье и стала что-то жалобно говорить, протягивая руку. Она просила милостыню. Пьер отвернулся от нее, но она тоже перешла на другую сторону скамейки и продолжала просить. Тогда Пьер протянул ей бутерброд. Девочка отрицательно покачала головой и снова настойчиво протянула руку.

— Ей нужны деньги, - сказал Пьер, обращаясь к Марусе. - Я предлагаю ей еду, но она отказывается. Значит, она не голодна. Ей нужны только деньги.

Какой подлый мир, всем нужны только деньги, все думают только о деньгах!

Маруся молчала. Девочка наконец отошла, ее лицо было профессионально кислым, на нем застыла гримаса унижения и подобострастия. Маруся огляделась вокруг и увидела, что девочка уже подошла к другой скамейке. На площадке было несколько таких девочек, которые попрошайничали, подходя по очереди ко всем иностранцам.

— Это румыны, - продолжал Пьер, - они несчастны. О какое несчастье! Сколько горя на земле!

Он уже съел свой бутерброд и с наслаждением облизывал пальцы. Пьер очень любил говорить о страданиях, он считал, что имеет на это право, ведь у него был опыт – восемь электрошоков!

Пьер повез Галю с дочкой на машине к берегу Ла-Манша. Они видели гору Сен-Мишель, проезжали через всю Францию, и Пьер даже один раз купил Юле мороженое, это было в городе Фужере, где находится средневековый замок, окруженный рвами и стенами, и там, в этом средневековом городе живут современные люди, узкие улочки, вымощенные грубым булыжником, круто поднимаются вверх. Было очень жарко, они устали и вспотели. Они купили целую коробку с фисташковым мороженым в большом магазине «Монопри» и сели отдохнуть и перекусить на площади около фонтана. Пьер был недоволен, что Юля все время говорила «спасибо» и «пожалуйста», как ее учила мама, и пытался отучить ее от этого. Юля уже начинала его бояться, и старалась не отходить от мамы. Однажды, когда Юля заснула в машине, Пьер с Галей пошли прогуляться по лесу, но оказалось, что лес огорожен колочей проволокой, и им пришлось пролезать между прутьями, Галя даже порвала себе платье. У Гали в то время были месячные, и ей не очень удобно было сношаться с Пьером в таких походных условиях, лежа на колочей траве, к тому же рядом не было никакой воды, и нельзя было помыться, но Пьер был очень доволен.

Он считал, что нет никакой разницы между грязным и чистым - это он прочитал у какой-то писательницы, и это ему так понравилось, что на какое-то время он вообще перестал мыться. Правда, с тех пор, как у него поселилась Галя, он все же периодически мылся и брился, и от него уже не так пахло. Он даже стал употреблять одеколон и чистить зубы, хотя и был глубоко убежден в том, что это глупости, и нужно только торговцам зубной пастой и парфюмерией.

Они поношали с Галей на сене, рядом был загон для скота, и там ходили лошади, они с интересом наблюдали за Пьером и Галей. Пьер во время сношения никогда не терял головы и периодически раздраженным голосом давал Гале указания, как она должна повернуться и в какую позицию

должна лечь. В основном он просил ее, чтобы она садилась верхом на него, «как бык на корову», добавлял он, хихикая, потому что это позволяло ему сохранить силы и энергию, а иначе он очень уставал и сразу кончал, а это ему не нравилось, потому что, хотя ему и было все равно, и он не был фаллокротом, но он знал, что все русские - фаллокроты, и поэтому приходилось делать некоторые уступки, к тому же Гале нравилось (или ему так казалось) сношаться с ним, когда у него стоял член, а это случалось довольно редко. Когда он выпивал много вина или водки, член у него совсем не стоял, но он все равно пытался получить свою долю удовольствия - перекатывался по Гале взад и вперед, терся об нее то задом, то передом и шлепал ее по заднице все сильнее и сильнее, это его особенно возбуждало.

Когда он был маленьким и учился в школе, у них была очень красивая молодая учительница, и она, наказывая мальчиков, ставила их в угол со спущенными штанишками и шлепала по голой попке ладонью. С тех пор Пьер не мог этого забыть и всякий раз, когда он об этом вспоминал, это его ужасно возбуждало. Пьер говорил, что Галя сделала ему много хорошего, например, с тех пор, как он начал жить с ней половой жизнью, у него гораздо меньше стал псориаз, который покрывал его руки.

Он болтал язычком из стороны в сторону как младенец, который кричит или доволен и активно вдыхал воздух через нос. При этом он надувал живот и через нос же воздух выпускал. «Это псориаз, у меня такая кожная болезнь. Это психосоматическое.» Он лежал на траве, раскинул руки, вдыхая полной грудью воздух и глядя в голубое небо, с наслаждением потягиваясь под яркими лучами солнца. Внезапно он сел, взял нож и стал скоблить себя по псориазной руке. Белые чешуйки стали обдираться, проступило что-то розовое, вроде сукровицы, но крови не было. «Мне совсем не больно...» конечно ему не было больно, а может, и было, а он просто так «самоутверждался», как когда, схватив ножик, предварительно выпив бутылку красного вина, он сгибался пополам, прижимал ножик рукояткой к животу и говорил петрушечьим голосом :

— Ну-у-у, я тебя убью... — и почему-то русские слова в его устах звучали непристойно.

И еще Галя сделала ему добро - Пьер часто об этом говорил - с тех пор, как он с ней совокуплялся, он перестал стесняться мочиться в присутствии посторонних. Раньше, когда он, например, хотел помочиться на улице, он подходил к углу дома, расстегивал штаны, но не всегда мог, а теперь эти задержки мочеиспускания почти прекратились, и он стал мочиться свободно. Он говорил, что в том, что ему не всегда удавалось помочиться, виновата его мать, потому что в детстве, когда он садился на горшок, она на него кричала. Или же это из-за того, что, когда он рождался на свет, сперва появился его брат, а ему пришлось подождать в утробе, поэтому у него развилась клаустрофобия.

“Сегодня утром звонила Эвелина и сказала, что пойдет топиться. Она точно обозначила место, где она будет топиться. Я знал, что она не утопится, раз говорит так прямо. Она полюбила католического священника, а им нельзя жениться.”

“Все женщины всегда любят священников. Еще они любят деньги. Женщина и деньги - это всем известно. Я пошел посмотреть, как топится Эвелина. Я стоял на мосту, а она была внизу. Она зашла в воду по колени и стала орать. Конечно, она замочила юбку. Прибежали люди и вытащили ее. Я очень смеялся - она была вся в грязи.”

“Моя сестра любит своего отца, хотя он уже умер. Но для меня он есть. И моя мать тоже - есть. Они оба - есть. Никто не умирает. Перед тем, как уйти, мне надо воспроизвести себя. Во мне есть желание стать отцом. Я хочу быть отцом. Но я не хочу походить на моего отца. Мой отец смотрел на меня, нахмутив брови. Я его боялся. Я и сейчас его боюсь. У него были черные глаза. Он сидел за столом и ел. Когда он приходил с работы, он сразу же усаживался за стол, ноги - под стол и ел, ел, жрал, целый день! Он был невыносим, этот тип! А моя мать ему прислуживала.”

“Мужчина работает и приносит деньги, женщина же платит ему натурой. К черту! Прогнившая система. Любовь и деньги не имеют ничего общего.”

“Мой отец всегда говорил: «Никогда ноги “красного” не будет в этом доме!» «Красными» он называл русских, потому что они все коммунисты. А у меня в доме теперь полно русских! Если бы он это знал!”

“Когда мне невтерпех, я удовлетворяю себя сам. Но если в доме кто-то есть - естественно, женщины - тогда другое дело. Почему каждый должен заниматься онанизмом в своем углу? Лучше лечь вместе, и всем будет хорошо.”

“Вчера ночью я звал Ивонну к себе. Я оставил дверь открытой и слышал, как она пришла с работы в два часа ночи. Я плохо сплю ночью. Это потому, что у меня нет женщины. Когда у меня будет женщина, я буду спать хорошо. Тогда я буду как все люди. Я звал: «Ивонна! Ивонна! Иди ко мне! Нам будет хорошо вместе!» Но Ивонна не пришла. Потом я оставил ей записку: «Ивонна, я тебя люблю. Приходи сегодня ко мне. Нам будет хорошо. Галя об этом не узнает, если ты ей не скажешь!» Скоро приезжает Галя с Юлей, и я не хочу, чтобы они узнали об этом. Но Ивонна не пришла. Она меня избегает. Это обидно для меня.”

“Сегодня приехали Настя и Валерий. Настя красивая и большая. Это мой тип. Зачем она приехала с Валерием? Я люблю таких женщин. Она похожа на мою мать. Я поцеловал ее в лоб. Ей было приятно. Она не любит Валерия.”

“Валерий - еврей. Все евреи любят деньги. Мой отец не любил евреев. Но я тоже еврей, потому что мне сделали обрезание. У меня член, как у еврея. Но

мой отец был аристократ. Аристократ не имеет ничего общего с деньгами. Деньги загрязняют руки.”

“Мой отец работал ревизором в газовой компании. Он приходил к людям и проверял газовые счетчики. А они придумывали всякие хитрости, чтобы не платить. Мой отец хорошо знал людей. Он разбирался в их психологии. Он был честный человек. Я тоже честный человек. Честь для меня - дороже всего.”

“Сегодня видел Аллу. Она очень красивая. Это мой тип. Я схватил ее сзади за сумочку. Я пошутил. Она испугалась, потом сказала: «Ну-у-у, Пьер!» Я смеялся. Она не любит своего мужа. Они уже давно спят отдельно. Я мог бы спать с ней. Я ее люблю.”

“Сегодня пришла Ивонна и привела Джоанну. Джоанна - это американка. Она очень красивая. Это мой тип. Завтра я ее поцелую”.

“Джоанна оттолкнула меня, когда я хотел ее поцеловать. Она сказала, что я мог бы быть ее отцом. Нет, это не мой тип. Я сказал, что она должна уйти из моего дома. Это мой дом, и я в нем хозяин. Но это мне не нравится. Мне не нравится слово «хозяин». Мне не нравится слово «спасибо». Это все комедия, а я не люблю комедию. Я откровенный человек”.

“Позвонила Валя. Она сказала, что у меня будет жить Света. Света - красивая, ей двадцать лет. Это мой тип. Я поцеловал ее в лоб и в шею. У нее короткая черная юбка.”

“Мне кажется, что у Светы есть опыт. И у меня опыт. Восемь электрошоков. Главное - это познать себя. Свое тело. Души нет. Культурные люди не знают себя. Культура - это знание опыта других. А себя они не знают. Я знаю себя. Я - личность.”

“Сегодня жарко. Я сижу в кресле и не двигаюсь. Зашел Петр, он меня не заметил. Я нарочно не двигаюсь. Так делают животные. Это мимикрия. Петр мне не нравится. Он двуличен. Нет, он безличен. Он любит шоколадный крем, он, как большой бородатый ребенок, сидит на кухне и ест бутерброды с шоколадным кремом. Петр - еврей.”

“Петр принес много денег, но мне не дал. Недавно я получил счет за электричество. Это было ужасно, и это из-за него. Он всю ночь не спит и что-то пишет, у него постоянно горит свет. А потом он спит до двух часов дня. Я показал ему счет. Он вынул деньги и хотел мне дать. Но я отказался. Мне не нужны эти грязные деньги!”

“Люди еще узнают, кто такой Пьер Торше! Я написал на бумаге : «Controlleurs conposteurs!» Я нарочно написал слово «con» отдельно! По-русски «con» означает “пизда”. Это женский половой орган, но это грубое название. Я хотел повесить это на вокзале. Галю вчера поймали контролеры. Они были очень агрессивные. Они кричали на нее. Ей пришлось заплатить им штраф. Потом она шла пешком от Пон Кардине до Аньер. Она очень устала

и испугалась. Бедная Галя! Теперь у нее совсем нет денег. Какая гадость! Какое прогнившее общество!”

“У соседей лает собака. Это естественно, ей надо самоутвердиться. Она не умеет говорить, поэтому лает. Я не люблю собак, они много жрут. Я видел на улице девушку и юношу. Девушка присела на корточки и целовала собаку. А лучше она целовала бы юношу! Ему ведь тоже хочется.” “Еще день прошел! Главное - это настоящий миг! Я живу настоящим мигом. Когда-нибудь я напишу книгу «Присутствие и отсутствие».”

“Сегодня нашел на дороге четыре гайки и три болта. Значит, день прожит не зря - я заработал двадцать франков. Проклятый капитализм! Франция - это не рай! Тут все давно прогнило.”

“Слушал по радио передачу «В пижаме ли вы спите»? Я уже давно сплю голый. В простынях хорошо, как в животе у матери. Простыни - это приятно. Я могу себя трогать, сколько хочу, а пижама мешает. Только дураки спят в пижамах. Те, кто спят в пижамах - несчастные люди.”

“Утром стоял на мосту. Ветер освежает меня. Я люблю ветер. Он дает мне энергию. Солнце я тоже люблю. Оно дает энергию. Я часто питался солнцем и ветром.”

“Видел рекламу с голой женщиной. Это реклама стирального порошка. Какие идиоты! Но женщины любят свое тело и всегда купят то, что нарисовано рядом с ним.”

“Наше правительство - это идиоты! Я анархист! Я коммунист Петр Трахов! У меня есть мой портрет на фоне красного знамени. Там я гордый и честный - настоящий коммунистический лидер. Когда мы с Галей ходили в гости к Франсуа, я выпил много вина и громко говорил. Это естественно, мне нужно было самоутвердиться перед Галей. А Галя потом мне сказала: «Ты орал как партийный лидер на митинге!» Да, я хотел бы быть лидером. Еще она мне сказала: «Я тебя ненавижу!»“

Жить за счет Пьера с каждым днем становилось все сложнее и сложнее, холодильник был пуст, последние деньги закончились у Маруси два дня назад, так что ей ничего не оставалось, как последовать диминому примеру и отправиться на помойку. Сам же Дима куда-то исчез, его не было уже три дня. Правда, несмотря на голод, Марусю слегка подташнивало от одной мысли об этом — у нее в мозгу почему-то постоянно всплывали воспоминания о грязных питерских помойках, располагавшихся, как правило, в глубине сырых дворов-колодцев и источавших отвратительный запах. Однако эта помойка мало походила на те. За огромными выкрашенными в серый цвет железными воротами ровными рядами стояли аккуратные серые пластмассовые бачки с яркими зелеными крышками, они были на колесиках, чтобы их было удобнее передвигать.

Там были очень большие бачки, были и поменьше – на выбор. Неожиданно Маруся услышала знакомую русскую речь. Она обернулась и заметила силуэты женщины и ребенка. Это были Галя с Юлей. Оказывается, они тоже уже давно ходили на эту помойку. С тех пор, как Галя отказалась спать с Пьером в одной кровати и заперлась на ключ, Пьер перестал кормить их и давать им деньги. Правда, она получала пособие на свою дочку — четыреста французских франков, но сэкономила и не тратила эти деньги, потому что хотела купить себе обратный билет и уехать в Россию, хотя бы на автобусе, но билет даже на автобус стоил дорого, и ей приходилось тяжело. Пока же, чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были искать себе пропитание таким образом. Девочка ловко залезла в огромный мусорный бак, причем на ней была даже надета специальная одежда, «помочная», как они ее называли. Ее мать давала ей эту одежду, чтобы она не пачкала хорошую. Рядом с помойными бачками все-таки ужасно воняло, потому что, вместе с продуктами в упаковках, в бачках находились и какие-то покрытые плесенью гнилые отбросы, — видимо, то, что выбрасывалось, не сортировалось. Маруся и Галя стояли рядом и помогали девочке. Юля выбрасывала из бачков пачки печенья, упаковки мяса, картофель в сеточках, а они быстро подбирали все это и закидывали в большие сумки. Галя сказала Марусе, что они стараются набрать побольше, чтобы ходить сюда не так часто, потому что их могут поймать и сдать в полицию. Раньше, когда ее дочка ходила сюда одна днем, ее как-то засек лысый мужик, сотрудник магазина, который в ярости стал грозить Юле кулаком. Девочка очень испугалась, и после этого они целую неделю сидели голодные. Потом Галя набралась храбрости и отправилась вечером вместе с дочкой на знакомую помойку. Маруся была рада, что оказалась на помойке не одна. Она чувствовала себя не очень уютно. Когда она подошла к большим железным воротам, за которыми находился задний двор супермаркета и помойка, она огляделась по сторонам. Мимо прошла пожилая чета хорошо одетых французов, они с подозрением покосились на нее. Маруся была в старом потертом джинсовом полупальто, рваных сапогах, в руке у нее была огромная сумка, похожая на мешок. Галя рассказала Марусе, что Пьер решил написать книгу о жителях России. Он считал, что это самые свободные люди в мире, потому что, как и он сам, они не стесняются рыться на помойке.

Во Франции Пьер чувствовал себя изгоем. Он даже нарисовал большую картину, на которой русая девушка в цветастом сарафане заглядывала в помойный бак. Картина называлась “Россиянка” — по аналогии с “Тантянкой” Гогена. Маруся потом видела разбросанные по всему дому розовые и голубые страницы, на одной из которых она прочла: «Они с дочкой отправились рыться на помойку. Они облазили все помойки окрестных магазинов. Это опрокидывает все социальные устои.» Пьер сам тоже ел то, что приносили Галя с дочкой. Галя особенно старалась его ублажить, чтобы он не прояв-

лял особой агрессивности по отношению к ней и к Юле. Тем не менее, Пьер периодически хватал в руки по столовому ножу и начинал их крутить у Гали перед носом, бешено вращая глазами и хихикая, приговаривал :

— Такой... и такой... и такой...

Галя пыталась увести Юлю наверх, но это не всегда получалось, потому что Пьер начинал верещать и швыряться в них пробками. Юля тут же включалась в игру, а Галя с ужасом ожидала, что Пьер швырнет в нее вместо пробки бутылку или нож.

— Я как ребенок..., — повторял он при этом и лукаво посматривал на Галю. Он часто пытался внушить ей мысль, что если она не будет с ним спать, то он может стать настолько агрессивным, что набросится на Юлю или саму Галю с ножом. Он говорил, что половой акт успокаивает его надолго, хотя со стороны это было совершенно незаметно. Однажды он сказал, что отвезет Юлю на машине в бассейн, а сам завез ее невесту куда и оставил там. Галя отправилась ее искать и нашла в другом квартале, всю в слезах, ужасно испуганную. С тех пор она уже не решалась отпускать Юлю с ним.

Когда Пьер вел машину, он часто разгонялся до скорости 120 км/час, не говоря уж о том, что он периодически начинал вилять рулем то туда, то сюда, при этом он возбужденно хихикал. Он сильно втягивал в себя воздух через нос, его ноздри раздувались, а волосатые руки судорожно сжимали руль. В общем, все это стало порядком надоедать Гале. К тому же, наступил уже октябрь, а Пьер так и не приступил к исполнению своих профессорских обязанностей. Правда, теперь он писал книгу.

Сестра Пьера, когда ей было восемнадцать лет, пела в Военном Клубе, у нее был хороший голос, она пела арии из итальянских опер. Тогда она влюбилась в молодого человека. Но она была очень толстая, просто круглая, и к тому же, очень стеснительная и не могла заставить себя заговорить с ним, а только молчала и краснела.

Потом, правда, ее выдали замуж за вполне приличного мужчину, но вскоре она обнаружила, что ее муж ничего не видит. Днем он носил очки с толстыми стеклами, а на ночь эти очки снимал. Она потом говорила, показывая на белый квадратный фарфоровый чайник, что даже после его смерти всегда чувствовала его присутствие рядом, он все время был здесь, как этот белый холодный блестящий куб, и только последние два года он отодвинулся от нее. Ее муж умер, выпал из окна, как она говорила, а как дело было на самом деле никто не знал - почтальон утверждал, что это она сама его вытолкнула. Его жизнь была застрахована на большую сумму, и она вытолкнула его из окна.

Но она говорила, что он зачем-то полез на окно и выпал, потому что хотел рассмотреть что-то внизу. Но он ведь был очень близорукий и к тому же

ничего не чувствовал носом, то есть не ощущал никаких запахов, и был почти глухой. Он настолько плохо видел, что ей приходилось самой вставлять его член себе во влагалище, а влагалище у нее было очень узкое или просто сильно сжатое из-за того, что она долгое время принимала триперидол - это лекарство позже было признано вредным для здоровья, его отменили, но тогда назначали в огромных количествах. Ей оно было нужно, потому что она была не совсем здорова.

Эвелина внезапно начинала плакать безо всякой видимой причины, иногда из-за того, что чувствовала себя очень слабой, а иногда из-за того, что ее друг давно к ней не приходил. Этот друг был существом загадочным - иногда она ощущала его присутствие в шкафу, иногда - под кроватью. Порой он приходил к соседям в комнату наверху, чтобы увидеть ее, но сама она его в эти моменты почему-то не видела. Она говорила, что он, кажется, израильтянин, а у них такие красивые волосы. И еще он очень много работал и был очень занят. Она никак не могла встретиться с ним, это было не так просто, но она все же надеялась, в конце концов, на встречу.

У кого-то из ее соседей на лестнице недавно была свадьба, на каждой площадке у всех дверей были выставлены большие горшки с цветами, правда, цветы были искусственные, из искусно подкрашенных бело-розовых и зеленых тряпочек, но именно эта похожесть на настоящие и была в них самым отталкивающим, и всякий раз, когда Эвелина проходила мимо них, ей казалось, будто она касается рукой какой-то гадости, мерзости.

После смерти мужа - после того, как он выпал из окна, у нее в квартире завелись невидимые арабы, они часто появлялись у нее и воровали то документы, то туфлю с правой ноги, то одну серьгу. Они проникали то через окно, то через дверь, а если все было закрыто, им было достаточно и щелей или дырочки в розетке, от них было невозможно избавиться, они очень беспокоили Эвелину.

Она часто приходила к Пьеру, ей было тоскливо одной дома, а у Пьера постоянно жили какие-то люди, и было весело. Эвелина обходила весь дом, в каждой комнате она находила обрывок материи - и говорила :

— Смотри-ка, это платье моей матери! или же:

— Эту ткань покупала моя мать для обивки мебели.

Маруся ходила за Эвелиной по всему дому и кивала головой. Она была рада ее присутствию хотя бы потому, что с Пьером ей было тяжело, и его присутствие угнетало и вселяло страх, а с Эвелиной Марусе было веселее и легче. Потом они втроем садились за стол, и Эвелина долго молчала, уставившись в пол. Заметив пятно на своей юбке, она начинала ужасно волноваться и пыталась его счистить.

У Пьера на стене висели фотографии разных красивых девушек, вырезанные им из журналов, среди них была фотография одной манекенщицы с

вытянутым носом и нежно опущенными губами, глаза манекенщицы смотрели задумчиво и томно. У нее на голове была офицерская фуражка с красным околышем. Однажды Эвелина долго вглядывалась в эту фотографию, на ее лице то появлялась, то исчезала улыбка. Наконец она вздохнула и сказала, обращаясь к Пьеру :

— Это же фотография испанского короля Хуана Карлоса! Пьер дико захотел и крикнул :

— Да ты совсем спятила! Что это у тебя в голове все короли!

Эвелина вздохнула и сказала, обращаясь к Марусе:

— Да, вот он всегда так. И в детстве он очень сильно дергал меня за косички, - и вдруг, опустив голову, залилась безутешными слезами.

В это мгновение из своей комнаты вниз спустились Галя с Юлей, они сели за стол подальше от Пьера, видно было, что они его побаиваются. А когда Пьер вдруг, разозленный тем, что Юля засмеялась, положил на стол свои ноги в огромных грязных ботинках неестественной формы, напоминающих ортопедическую обувь, Галя внезапно тоже разрыдалась и, схватив Юлю за руку, выскочила из-за стола. Эвелина продолжала сидеть, глядя непонимающим взглядом на Пьера и на его ноги, потом вдруг резко вскочила и вышла, хлопнув дверью. Пьер остался наедине с Марусей, его ноги по-прежнему лежали на столе, подошвы ботинок касались грязных тарелок и кусков хлеба и сыра. Он задумчиво ковырял в носу. Потом вдруг, взглянув на Марусю, он визгливо захохотал, резко вскочил со стула, бросился к Марусе и запечатлел у нее на лбу злобный колючий поцелуй.

Последнее время Пьер пребывал в плохом настроении. У Гали тоже был какой-то затравленный вид, а Юля побледнела и тоже стала очень нервная. Она часто без причины начинала плакать или обзывалась на Пьера всякими словами. Наверное, эти слова она выучила в школе, которую она здесь посещала и где с ней в классе, в основном, учились негры и арабы. Пьер тоже обзывал ее разными словами, а однажды Маруся увидела, как Юля плюнула на Пьера. Тогда он погнался за ней и тоже плюнул на нее.

Однажды, выпив, Пьер повеселел, и начал шутя кидаться в Юлю пробками. Юля в ответ тоже кидала в него пробками, постепенно Пьер начинал злиться, потому что Юля была более ловкая и более меткая и попадала в него чаще, чем он в нее, к тому же, она еще смеялась над ним, отчего Пьер постепенно разъярялся еще сильнее. Галя напрасно старалась их урезонить. Пьер расходился все больше и больше, и наконец вскочил, весь красный, растрепанный, в расстегнутой рубашке, из-под которой торчали седые взлохмаченные волосы, гордость Пьера (когда Пьер шел по улице и видел на рекламной фотографии юношу с гладкой мускулистой грудью, то он неизменно

показывал на него пальцем и со смехом кричал: - “Смотри, смотри, у него нет волос!”).

Пьер бросился за Юлей, а та — от него. И вдруг Марусе стало ясно, что он, если догонит ее, то точно задушит, и Галя тоже, вероятно, почувствовав это, вскрикнула и бросилась вслед за ними. Хлопнула дверь, потом лязгнула тяжелая железная калитка, раздался топот, и все стихло. Маруся осталась за столом в одиночестве.

Пьер любимым путем хотел получить любовь, а его жена Галя, кажется, тоже не особенно собиралась его любить. Пьер затаил на нее злобу, он вовсе не хотел быть, как его отец. Там в Петербурге, она с ним спала: на узкой кровати в комнате в коммунальной квартире, и Бог был рядом с ними, а рядом ровно дышала ее дочка, такое милое прекрасное существо. Но в Париже она почему-то отказалась спать с Пьером.

Пьеру это надоело, и он в один прекрасный вечер залез к ней в комнату через окно, она спала рядом со своей дочкой. Пьер разделся, посапывая от наслаждения залез под одеяло и пристроился рядом. Он нежно поцеловал ее в шейку. «О нежное мясо, прекрасное мясо, благодарю тебя, Господи, что ты послал мне такое прекрасное мясо!» Не то, чтобы Пьер на самом деле был людоедом, просто он как все французы немного путал секс со жратвой и обожал, например, жрать и целоваться: пища переходит из одного рта в другой, и это очень приятно, это придает пище какой-то необыкновенный привкус. Галя вздрогнула всем телом и проснулась.

Дальше события развивались стремительно, но Пьеру все равно было приятно наблюдать, как его все боится. Галя схватила свою дочку на руки, крича от ужаса, выскочила на улицу и прямо в ночной рубашке побежала в неизвестном направлении. Пьер позевывая смотрел ей вслед, пока она не скрылась между домами. Потом он потрогал свой член и лег в кровать. Там еще сохранился запах нежного детского тельца и прекрасного тела взрослой женщины. Он долго принахивался, посапывая, пока наконец не заснул спокойным сном.

Правда, потом Пьер, рассказывая знакомым об этом периоде своей жизни, посмеивался, и шутил. Но сначала после отъезда Гали и Юли он ужасно расстроился, чтобы отвлечься переставил в доме две двери, пробил новую дверь в стене из кухни в салон, даже хотел перенести туалет на улицу в гараж, но у него не хватило на это сил. Он напился до полусмерти, выходя из дому, споткнулся, разбил себе лоб о стену и орал всем проходящим к нему в гости :

— Ну, что ты пришел? Я твой отец, что ли?

А потом дал объявление в газету «Русская мысль»: «Пожилой верующий француз, православный, хотел бы познакомиться для создания семьи с

русской девушкой, блондинкой, ростом не ниже 175 см. Имеет собственный дом.» На объявление откликнулись многие, и приходили на смотрины на очень высоких каблуках.

«Гал, извини меня за то, что в последнее время я был немного резок. Но перед твоим отъездом у меня в голове установилось что-то вроде навязчивой идеи. Я ведь не хотел вам с Юлей ничего плохого. Почему я спрятал ножи в своей комнате под подушкой? Да просто потому, что я боялся, чтобы Юля не поранилась ими. А тогда ночью, когда вы от меня убежали, у меня в руке оказался нож потому, что я хотел перерезать им телефонный провод. Вы ушли как цыгане и скрылись от меня. А я совсем не хотел этого, я хотел, чтобы вы остались.

А тогда, когда вы стояли под дверью, и я не пускал вас, я даже не знал, что на меня нашло, я сам не понимал, что я делаю. Конечно, есть только одно Божественное Счастье, и только Бог делает счастливыми всех нас. Но я все время несчастен, это несправедливо.

Почему я пью вино? Потому что я, когда иду в магазин, каждый раз его покупаю. Лучше бы, конечно, я пил воду из горных источников и бродил по горам в течение пятнадцати дней, подставляя лицо свежему ветру и лучам солнца. Но вместо этого я пью вино и с этим ничего не поделаешь. Наверное, тебя изнасиловали в детстве, и с тех пор ты не любишь мужчин. А я, вместо того, чтобы быть смиренным и ласковым, являл тебе лицо вечного пьяного разъяренного мужчины, напоминая тебе твоего отца, когда он, пьяный, возвращался с работы и избивал тебя до полусмерти.

Эвелина вчера выписалась из лечебницы. Жан-Франсуа отвез ее домой на машине. Эвелину не надо было запираить в тесной комнате, ей нужны широкие пространства, чтобы она могла вдоволь покричать, ведь именно этого ей хочется.

Ивонна, наша мать, когда Эвелина была маленькая, постоянно запирала ее в подвале. Лучше бы она отправляла ее погулять в сад, где она чувствовала бы себя на просторе. Эвелина иногда впадает в ярость, ярость - это хороший предохранительный клапан, он позволяет нам самоутвердиться и самовыражаться. Поэтому я тоже иногда впадаю в гнев.

Юля называла меня педерастом. Наверное, это потому, что ее никогда не целовал взрослый мужчина, к тому же она не понимает значения слова «педераст». Я обнаружил, что она написала на стене это слово. Но не волнуйся, это не страшно, ничего серьезного. Я просто покрашу эту стену краской. В Париже сейчас тепло - 14 градусов, но я все равно утепляю дом - набиваю на стены стекловату, и сверху покрываю ее бумагой - так будет еще теплее.

Я узнал, что у вас на выборах партия женщин завоевала 9% голосов, это очень хорошо, я хотел бы, чтобы у вас в парламенте было как можно больше женщин. У нас во Франции и вообще в Европе такое невозможно, хотя в Англии Маргарет и была премьер-министром.

Я бы хотел приехать в июне на белые ночи, не могла бы ты попросить в ОВИРе для меня визу?"

Нежно любящий тебя

Петр Трахов

Примерно через неделю после того, как Галя с дочкой сбежала от Пьера, у него в доме появились Денис и Вадик. Денис был высокий, с окладистой русой бородой и длинными стриженными в скобку волосами — настоящий русский тип, он был и художником и поэтом одновременно. Вообще-то, он намеревался просить политического убежища в Германии, приехав в Париж, решил попросить убежища и здесь, на всякий случай. Денис лично знал поэта Олега Григорьева, точнее, знала его мамаша, а Денис тогда еще был совсем маленький, а его мамаша вообще была в этого Григорьева почти влюблена, и все уши своему сыну прожужжала про него. Лично Денис познакомился с Григорьевым позднее, когда ему было уже шестнадцать лет, шел он как-то по Невскому, и вдруг из подворотни услышал хриплый голос:

— Денисушка...

Он обернулся, а это поэт Григорьев, весь грязный, оборванный, с гноящимися глазами вцепился ему в рукав и тянет за собой:

— Денисушка... Пошли, кольнемся...

Денис с ним тогда не пошел, но потом с гордостью рассказывал об этом всем знакомым.

Из Германии Денис приехал вместе с Вадиком. Вадик был не такой интеллеktуал, как Денис, за что тот презрительно называл его пэтэушником, но все же, вдвоем им было как-то легче. Вадик уверял, что он раньше в Питере был крупным бизнесменом, но потом решил все бросить и подумать о спасении души. Вот он все и бросил и уехал в Германию, а оттуда собирался в Америку, в монастырь. В Питере он много чем занимался, ему даже предлагали наладить бизнес по торговле девочками.

— А что, — говорил он, — берешь такую классную девочку и привозишь, и хозяин тебе за нее до пяти тысяч марок может отвалить, ну это конечно, если она, вообще, супер... Так можно хорошие бабки сделать...

— Ну и чего же ты? — спрашивала его Маруся.

— Да так... — уклончиво отвечал Вадик, — все же живая душа...

Вадик рассказал Марусе, как там в Германии украл у магазина чей-то велосипед — очень хороший, дорогой, “просто супер”, но ему никак не уда-

лось его продать, как он рассчитывал – городок был маленький, все друг друга знали, и полиция сразу же отправилась в лагерь, где жили русские беженцы. В результате Вадик пришлось этот велосипед вывезти ночью на пустырь и там оставить.

Пьер был уверен, что Вадик кого-то убил и теперь решил скрыться, свалить в Америку. Маруся же предполагала, что, может, он просто растратил чьи-то деньги и теперь скрывается от мести. Во всяком случае, он ожидал вызова из Америки из мужского монастыря, а пока усердно упражнялся в молитве — каждое утро он выпрыгивал из окна во двор, становился на колени и читал молитвы.

Он постоянно следил за своей речью и почти не ругался матом. Получалось, что даже Денис ругается больше, чем он. Денис пользовался успехом у дам, правда, только при первой встрече: познакомившись с ним поближе, женщины почему-то полностью утрачивали к нему интерес.

Первое, куда направились Денис с Вадиком – это была помойка магазина “Монопри”, о которой им сразу же рассказал Пьер, то есть стал описывать им димины подвиги и просто не мог обойти вниманием помойку.

Потом они стали ходить туда уже регулярно, раз в неделю. Денис обычно стоял на шухере, пока Вадик рылся в помойном бачке – оттуда доносился стук, лязг и ругань – это Вадик энергично выбрасывал на землю отбросы. Потом Вадик звал Дениса, они вместе складывали все в сумки и отправлялись домой. Как-то Маруся поздно вечером, возвращаясь домой, проходила мимо “Монопри”, и увидела там Вадика с Денисом – они мирно сидели на каменных столбиках напротив ломойки и ели вкусные крендельки с маком и с сахаром и слоеное печенье с изюмом, которое только что нашли в помойном бачке, они угостили и Марусю.

Трофимова однажды приехала в гости в Буа-Коломб к Марусе с Тамарой и еще с одной своей подружкой — Иррой, муж которой сидел в Санте за неизвестные преступления. Они решили навестить Марусю, а заодно и «посмотреть на сумасшедшего» - то есть на Пьера. С собой они привезли водки, печенья и замороженную пиццу. Водку смешали с апельсиновым соком и выпили, при этом Маруся почувствовала, что вся покрылась красными пятнами. Перед этим она несколько дней на ночь принимала снотворное и пребывала в полной прострации, а когда выпила водки, то ощутила нездоровый подъем. Пьера не было, Дениса и Вадика — тоже, поэтому они сидели одни, пили и беседовали. Тамара, как только выпила, начала вся трястись и орать на Трофимову, что, мол, это та ее вызвала в эту поганую Францию, и теперь ей отсюда не выбраться, а этот старый серб, с которым она живет, над ней издевается, и издевается утонченно, а она даже не может работать, вот она

тут закончила курсы программирования — и то не смогла работать, потому что он не дает ей спать по ночам — вваливается в два часа ночи пьяный, и начинает горланить песни. Иногда он приходит со своим братом и требует, чтобы она вставала и готовила им еду.

Тамара вся тряслась, Трофимова лениво слушала ее и говорила:

— Ну не ври, не ври... Стоит тебе хоть раз дома не переночевать, как ты сразу же домой звонишь — как там мой Славка ненаглядный?

Тамара завизжала:

— А ты видела, как этот Славка пьяный валяется в собственной блевотине, яйща и хуй вывалив наружу? Ты видела, как он моего Пашку бьет и матом на него орет? Видела? Видела?

— Ох, — отмахнулась от нее Трофимова с видом превосходства, — тебе совершенно нельзя пить. Стоит тебе выпить, как ты сразу начинаешь...

— Не, ты рукой не маши, — не унималась Тамара, — ты скажи, это тебе легко, ты всю жизнь как блядь со своим Топшкой горя не знала, и сама блядовала от него, а теперь еще учишь меня? Да как ты можешь понять?

Трофимова явно получала от этой перепалки какое-то странное удовольствие, она, возможно, просто чувствовала себя сильнее Тамары или удачливее, или же ловила кайф оттого, что у нее жизнь складывается все же лучше, чем у той, хотя ее и бросил Боря, и она была в депрессии и пила какое-то лекарство. Боря ушел от нее просто так, даже не к какой-то бабе, а просто потому, что она ему надоела.

Тамара была родом из города Грозного, там у нее остался брат, но он был женат на бабе с двумя детьми, и она говорила, что ей некуда ехать. Маруся неоднократно предлагала ей уехать обратно в Россию: можно было ехать на автобусе через Варшаву или прямо в Москву, это стоило недорого, но Тамара говорила, что у нее нет денег, и это, вероятно, так и было. Ее муж отказался платить даже за ее ребенка, который был устроен в какой-то колледж на полный пансион. Им пришел счет на восемьдесят тысяч франков, а он сказал, что платить не будет, и не заплатил, и Тамаре теперь нужно было самой где-то добыть эти деньги. Когда Маруся опять предложила ей уехать в Россию, та поначалу, вроде бы, загорелась. Трофимова же была явно недовольна и тут же сказала:

— Ну ты что, с ума сошла, куда тебе ехать? К кому? И что ты там будешь делать?

— Да, правда, — внезапно скисла Тамара, — ехать некуда. Отец и мать умерли, где я жить-то буду? И что делать? Нет уж, лучше здесь.

Трофимова смотрела с явным торжеством и удовлетворением, как большая толстая сытая кошка. Маруся подумала, что это она заманила Тамару сюда, в Париж, когда та осталась одна с ребенком, которого она родила от какого-то финна опять-таки по совету Трофимовой. И тут в Париже Трофимо-

ва ей тоже «помогла» — нашла ей старого серба, который двадцать лет проработал в ресторане «Распутин» и который, по словам Тамары, был «настоящей прожженной канальей». Раньше у этого серба был замок, и он был очень богатый, но он все пропил, онпил так, что у него началась белая горячка, и однажды он допился до такой степени, что не мог выйти из комнаты, то есть не мог найти дверь, он разделся догола, он просто хотел выйти в туалет пописать, но не мог найти дверь в комнате, он весь обоссался и облелся, а потом встал на колени перед батареей парового отопления, обнял ее и залился горячими слезами. Когда Тамара вошла в комнату, она увидела, что он просит батарею:

— Выпусти меня, пожалуйста, отсюда, я тебя очень прошу!

Тамара облила его холодной водой и он пришел в себя. Обычно она пыталась забрать у него деньги, а он не отдавал, и она его долго уговаривала:

— Бика (так она его ласково называла), отдай маме денежки! Мама деньги сохраняет, а ты пропьешь!

Но он был хитрый и денег не отдавал. Его любимым фильмом всегда был «Рембо» с Сильвестром Сталлоне, он ложился на диван и смотрел его в десятый или в двадцатый раз, радуясь победам любимого героя. Ему казалось, что это он один расправляется с целой бандой полицейских. Когда они с Марусей и с Трофимовой как-то приехали к нему в гости, он, весь потный и совершенно пьяный, только что пришел из кафе, где провел целую ночь, мокрые волосы свисали ему на лоб, а мутные глаза, обведенные черными кругами, были воспалены. Он с хитрым прищуром смотрел на Трофимову и все повторял:

— Да-а, Ольгу я знаю! Ольга блядь! Ты ведь блядь? — приставал он к ней.

— Да, блядь, — с гордым вызовом, но чуть устало отвечала Трофимова, и тот заливался радостным сумасшедшим смехом. А потом они все вместе поехали на трофимовской машине к какой-то польке, вместе с которой Трофимова раньше работала в ресторане. Этой польке было уже сорок пять лет, и они ездили посмотреть, какие зубы она себе встанила, в квартире у нее было темно, там впотьмах вышел какой-то юноша и галантно поцеловал всем им руки, а потом появилась эта полька, ее звали Тереза, и она продемонстрировала всем свои зубы, они действительно были очень хорошие, не слишком белые, а цвета слоновой кости, она даже включила свет на какое-то время, чтобы все могли получше рассмотреть эти зубы, — Трофимова сообщила, что они обошлись ей в целое состояние. Потом они поехали дальше — Трофимова с Тamarой сидели впереди, а Маруся сзади, вместе с двумя собаками, она смотрела в заднее стекло и видела, как быстро уносятся назад домики, дорожные знаки, магазины, деревья с облетевшими листьями и все-все-все. Рядом Маруся чувствовала спокойное размеренное покачивание теплого шерстяного собачьего бока, и это ощущение придавало ей немного сил, потому

что своих сил в Марусе уже оставалось очень мало, ее все больше заполняла пустота. Они зашли в магазин “Монопри” и купили там шесть бутылок красного вина, “новое Божоле” было написано всюду, во всех углах магазина, в это время в ноябре здесь делают вино Божоле, и пока оно новое, молодое, — его нужно пить, его обязательно нужно попробовать, — так объяснила Марусе Трофимова. И они нажрались этим Божоле, а потом пошли в парк, и сидели на берегу озера и продолжали пить, и Трофимова говорила, что вот, хорошо, как будто в Питере.

Трофимова вышла замуж за француза уже пятнадцать лет назад, Маруся тогда была у нее на свадьбе, и обратила внимание, что весь зал Дворца бракосочетаний был буквально забит мужиками всех видов и размеров: высокими, маленькими, худыми, толстыми, бородастыми, усагими, лысыми, волосатыми. Это все были бывшие любовники Трофимовой. Мужа Трофимовой звали Антуан, а она ласково называла его Тошкой. Тошка по-русски не говорил ни слова, и Трофимова обычно в его присутствии в выражениях не стеснялась и крыла и его и всех остальных французов. Она не скрывала, что выходит замуж только чтобы уехать во Францию и нисколько не любит Антуана. Но Антуан этого, конечно, не знал, он надеялся создать настоящую крепкую семью и завести со Трофимовой кучу детей. Потом они уехали в Париж, и Маруся долгое время не имела от Трофимовой никаких известий, кроме одного случая, когда с группой французов, приехавших в Ленинград на экскурсию, Трофимова передала ей пакет с поношенными вещами, полученными, очевидно, в одной из благотворительных парижских организаций. Тогда Маруся и трофимовский знакомый Виталик поехали в аэропорт встречать этих французов и долго ожидали вместе с ними, пока они получают свой багаж, при этом французы ужасно боялись КГБ, и Виталик тоже, он буквально трясся, можно было подумать, что у него нервный тик, он шаркался в сторону от каждого прохожего, а Маруся еще неловко пошутила по-французски, что багаж им теперь не отдадут, что КГБ все заберет себе, и французы буквально обмерли, лица у них вытянулись, и они так заволновались и стали требовать начальника аэропорта, что Маруся тоже испугалась и с трудом ей удалось объяснить им, что она просто пошутила. А Виталик пришел встречать одну французенку, на которой он мечтал жениться, правда, ей на вид было лет пятьдесят, а Виталику всего двадцать пять, но он так заискивающе смотрел на нее, так угодливо старался под нее подладиться и показать, что любит ее, а она всячески демонстрировала ему свое презрение и безразличие. Потом, когда французы уехали, Виталик стал ругаться матом и обзывать эту французенку сукой и блядью, и в его голосе звучала настоящая ненависть.

Года через два Маруся случайно встретила в театре мать Трофимовой, очень моложавую и кокетливую даму, и та стала ей рассказывать, что Оленька работает в ресторане, торгует сигаретками, и разными мелочами типа пре-

зервативов, но что у нее все хорошо, и что все же она не где-нибудь, а во Франции. Еще через два года Трофимова сама приехала в Ленинград, у нее тогда начался бурный роман с одним ленинградским фарцовщиком, Борей, у них была страстная любовь, и Боря везде возил ее на машине, и Трофимова даже сказала Марусе, что не может с ней встретиться, потому что машины под рукой нет, а ездить в общественном транспорте она просто не в состоянии, и ходить по улицам тоже не может. После этого Трофимова сделала Боре приглашение в Париж, и вскоре до Маруси дошли вести, что Трофимова развелась с Антуаном и вышла замуж за Борю, причем к тому времени Трофимова уже стала “француженкой” в соответствии с французскими законами, поэтому вполне могла обеспечить Боре законное пребывание в стране. Их счастливая жизнь продолжалась довольно долго, и Трофимова всегда при случае расхваливала Борю и его мужские достоинства, и строила планы на дальнейшую жизнь. И вдруг Маруся узнала, что Боря бросил Трофимову, и она пребывает в жесточайшей депрессии.

Маруся думала, что она Борю заебала, в прямом смысле этого слова, недавно в последний марусин приезд сна ей хвасталась, что они «занимаются этим» чуть ли не целый день и ночь напролет.

После того, как Боря ушел от Трофимовой, та часто звонила Марусе, рыдала и говорила, что вот теперь она получает обратно то, что сделала Тошке, от которого ушла, как только получила французские документы, то есть получалось, что Боря тоже ее использовал для этого, а теперь она стала ему не нужна.

— Ты представляешь, — икая от слез говорила Трофимова Марусе, вспоминая свою счастливую жизнь с Антуаном, — я как-то приехала из отпуска, а он мне лошадь купил. Настоящую лошадь! Видишь, как он меня любил?

Маруся, с одной стороны, была довольна, что обычно такая наглая и самоуверенная Трофимова наконец-то оказалась в дерьмо, но, в то же время, ей было ее жалко, как бывает жалко животное, которое вдруг обидели, причем оно даже не понимает, за что, потому что оно ни в чем не виновато, оно только удовлетворяло свои животные инстинкты и ни о чем не думало по неспособности. В тот вечер, когда они приехали к Пьеру, Трофимова была наряжена в короткое шерстяное красное платье в обтяжку с большим вырезом на груди, и ее сильно выступающий вперед бюст соблазнительно покачивался. Ее черные волосы были распущены по плечам, черные глаза сильно накрашены, губы тоже, но на щеке уже были морщины, и в углах рта лежали какие-то горькие складки. Тут открылась дверь, и вошли Денис с Вадиком. Денис сразу же приглянулся Трофимовой, она стала с ним заигрывать и строить ему глазки, но Денис, казалось, на это абсолютно не реагировал. Трофимова встала и несколько раз прошла мимо него, задев его грудью. Денис отодвинулся с прохода и старался на Трофимову не смотреть. Тогда напив-

шаяся Тамара, которая перед тем пыталась петь, вдруг вскочила со стула и с криком :

— Дай я тебя поцелую, — бросилась к Денису. Тот с неожиданным порывом вскочил со стула и выбежал из комнаты. Тамара бросилась за ним. Денис с воплем:

— Я в Бога верую! — побсжал на третий этаж. Но Тамара, которая была похожа на одержимую, продолжала его преследовать. Кажется, ей все же удалось настичь Дениса где-то наверху, и они вскоре спустились вниз, причем он был явно смущен. Трофимова смотрела на них с легким презрением. А когда Тамара, выпив еще, затянула песню “Утро красит нежным светом...”, Трофимова поморщилась и с презрением отвернувшись сказала:

— Совок...

На следующий день, позвонив, спросила Марусю:

— Как подростки? — Она имела в виду Вадика и Дениса, но Марусе было плевать на то, как она их определяет, потому что ни Вадик, ни Денис не имели к ней никакого отношения. Трофимова же внезапно пустилась в рассуждения о том, как хорошо все придумано во Франции, и что правильно, что они защищаются от иностранцев, и что они вынуждены это делать, причем она говорила не “они”, а “мы”, как будто она уже считала себя прирожденной француженкой, которая выступает против засилья иностранцев у себя дома. Трофимова несколько раз повторила, что ненавидит негров и арабов.

— И совков..., — добавила она подумав. — Никогда больше не поеду в Питер, там кругом одно дерьмо, все грязное, лучше я поеду в Альпы, в Италию, — там солнце, все чистое, и вообще, цивилизованный отдых.

Приехав в Париж пятнадцать лет назад, Трофимова вначале сразу же пошла к знакомому своей матери, который уехал как диссидент уже очень давно и издавал в Париже свой журнал, она надеялась, что он ее пристроит, и вначале все было очень хорошо, потому что у него там было свое бюро переводов, и он ее туда взял, она переводила технические тексты и даже политические диалоги, однажды даже речь украинского националиста, он постоянно повторял: «М-м-м, э-э-э, ну-у-у...» и ей это так ужасно надоело, что она стала пропускать эти места, но Сергей (так звали диссидента) на нее наорал, он считал, что нужно переводить все, включая эти звуки, потому что на Западе работать надо на совесть и так, на халяву, не получится, это она в Советском Союзе привыкла делать все кое-как, а во Франции это не пройдет. Тогда она ужасно обиделась, это была их первая ссора, до этого они с ним очень хорошо находили общий язык, иногда спали вместе, и она была в него даже влюблена.

Потом, правда, она быстро поняла, что она не одна пользуется его благосклонностью, он не пропускал ни одной особи женского пола, очевидно, он

решил реализовать в жизни таким образом, он посещал разные рестораны, заказывал самые диковинные блюда, знал, что из чего готовится, жрал в три горла. то есть стал настоящим гурманом, во французском духе, и еще ебался от души, все знакомые Трофимовой прошли через него, но он им, конечно, помогал, как мог, деньгами и кормил.

Он в сущности был добрый человек, и никому не желал зла. Он очень любил рассказывать о своих знакомствах с советскими писателями, которые уже давно вошли в классику советской литературы, так называемые классики соц.реализма. Он рассказывал истории из их жизни, в частности, из супружеской, как один советский писатель, например: каждый день желал сложить своей жене, тоже известной писательнице, писавшей в свое время про комсомольцев и строителей метрополитена. А она уже не могла защищаться, потому что была полностью парализована, и ее только возили в инвалидном кресле из комнаты в комнату, хотя писать она продолжала.

У него дома было много спиртных напитков, martini, красное вино, причем хорошее, коллекционное, и шампанское, и даже голубой ликер цвета ультрамарина, от него зубы становились голубыми, он дал его попробовать Трофимовой, а потом пригласил посмотреть в зеркало, утверждая, что у нее от него стали голубые зубы. Потом он повел ее в спальню и показал ей свою постель, со словами:

— А вот моя супружеская постель...

А перед этим, когда она уже изрядно выпила, подошел к ней и сказал :

— Можно я за тобой немного поухаживаю...,— потом поцеловал ее в сосиску и расстегнув ширинку, достал оттуда свой член, короткий и толстый. Трофимовой он понравился, еще по рассказам матери она поняла, что он стоящий мужик, хотя мать подробностей не рассказывала, все равно было ясно, что между ними что-то было.

К тому же, он мог помочь устроиться и в плане материальном тоже, хотя у него и была уже жена, японка сорока пяти лет, и он был ею доволен - он сам говорил, что она очень легко возбуждается - раз - и готово! Но почему бы не попытаться счастья - ведь Трофимова была моложе, и у нее тоже был пылкий темперамент - в общем, она должна была его удовлетворить. Но беда была в том (это она поняла значительно позже), что ему каждый месяц были нужны новые бабы, он и ее так же использовал, а она-то даже была влюблена в него какое-то время, и говорила, что он похож на Емельку Пугачева.

Он с женой был записан в клуб nudistov, клуб находился в окрестностях Парижа, вход в него был замаскирован под скалоу, вокруг много красивой растительности, она была как будто дикая, в этом клубе все ходили голые, там были и дети, и старики, и молодежь - но нужно было платить довольно большие взносы, то есть туда могли ходить только люди состоятельные, а Сергей себя таким считал. Он и Трофимову водил в этот клуб, там был бас-

сейн и сауна, но разные половые контакты были категорически запрещены, даже обниматься было нельзя - если тебя за этим застукают, то сразу выгонят - и деньги не помогут. Трофимова со своим огромным бюстом сразу привлекла внимание многих, вокруг нее стали увиваться негры, а Сергей сидел, развалившись за столиком и пил пиво, у него были огромные яйца и очень короткий, очень толстый член, даже какой-то противоестественно толстый, как обрубок водопроводной трубы, в спокойном состоянии он напоминал раздавленный сверху картонный стаканчик из-под мороженого.

Один раз, когда они со Трофимовой сношались, он так и заснул, и захрапел, но даже и во сне не вытащил свой член из трофимовской пизды, он хотел получить от жизни максимум удовольствия, даже во сне он не собирался терять время даром.

У него были и знакомые гомосексуалисты, но он с ними никогда не сношался, он сам не знал, почему, иногда мысли об этом приходили ему в голову, и один раз даже один пассивный гомосек пришел к нему и заискивающе на него смотрел, но тот, по его словам, даже и в мыслях не имел вступить с ним в какие-либо отношения, кроме деловых, конечно.

Маруся тоже была в гостях у Трофимовой. Тогда она жила в новом районе на окраине Парижа, нужно было ехать до конечной остановки метро - Кретей - и там еще идти. Когда Маруся по дороге к метро проходила через мост Леваллуа, она в очередной раз обратила внимание на рекламный плакат - на огромном щите красовалась девушка с неестественно большим бюстом - и башней из белокурых волос на голове, она, лукаво улыбаясь большим ярко-красным ртом, протягивала вперед, по направлению к Сене руку с длинными ярко-красными же ногтями и изо рта у нее выходила фраза: "Ведь я достойна этого лака!", а внизу была надпись - фирма "Лореаль".

В Ленинграде, когда Маруся подрабатывала в салоне причесок ночной уборщицей, к ним устроилась девушка Надя, с очень глупым лицом и добродушными бараньими глазами, но что-то в ней притягивало внимание, Маруся все приглядывалась к ней и наконец поняла - это был неестественно огромный бюст, подтянутый чуть ли не под подбородок. Они тогда остались одни поздним вечером, все уже ушли, и они, как всегда стали обходить все столы мастеров, отливая понемногу из бутылок шампунь, откладывая понемножку крем в приготовленную баночку, там была и кухня, где иногда парикмахерши оставляли еду, и там можно было попить чаю.

Однажды они с Ирой зашли туда, и Маруся оставила свою сумку на подоконнике, а злая косноязычная старуха, работавшая там туалетчицей, сперла у нее кошелек, но потом эту старуху уволили, и убирать туалет приходилось им по очереди, а один раз туалет засорился, и Маруся долго собирала тряпкой с

пола воду, смешанную с мочой, а потом прибежала парикмахерша, задержавшаяся позже других, и она очень хотела в туалет, она села на унитаз и помочилась, и вся ее моча почти сразу вытекла на пол, а Марусе снова пришлось убирать за ней, и она молча это сделала, хотя ей было и противно.

Там уборщицей работала еще одна толстая старуха, Нина Ивановна, жившая напротив в коммуналке, и окна ее комнаты выходили на лютеранскую церковь, где тогда был бассейн. Она жила одна, и когда однажды Маруся принесла ей зарплату, она внезапно загорюдилась дверью своим толстым телом и, схватив Марусю за руку, прошептала :

— Красивая, а счастья нет! - как цыганка, Маруся и не поняла, что же это значит, старуха совсем не нравилась ей.

А тогда они с Надей остались одни и долго ходили по огромному пустому салону, а потом вышли на балкон, как раз был ноябрь, праздник, и под окном укрепили огромный красный транспарант с белыми буквами, он был весь мокрый от дождя, и ветер тяжело раскачивал его и бился о стену, они покурили, а потом вернулись - ведь нужно было подмести и мыть пол, а Надя стала переодеваться, она сняла платье, и Маруся увидела действительно нечеловеческих размеров бюст, лифчик был ей явно мал, он выпирал со всех сторон и на нем тут и там виднелись черные синяки. Перехватив марусин взгляд, Надя с гордостью поправила лямки и сообщила:

— Вот с мужем недавно хорошо побаловались.

Но что-то в ее лице и взгляде было неясное, ускользающее и вместе с тем притягивающее, хотя в то же время становилось проливно думать об этом, и Маруся резко повернулась и вышла, ей нужно было убирать педикюрный кабинет - самое противное изо всего - огромное количество ноготей и обрезков кожи, и ей приходилось задерживать дыхание, чтобы прекратить рвотные позывы.

В конце работы нужно было ставить салон на сигнализацию - а если это не получалось, что-то не работало, то вызывали мастера и ждали - ждать можно было и час, и два, и всю ночь.

И Маруся помнила, как однажды уже зимой, была ее очередь, и она вызывала мастера и села его ждать, она смотрела телевизор в салоне, пока не кончились передачи, потом она пошла прогуляться по салону, все было чисто убрано и блестело, она подошла к окну - напротив шла бурная жизнь в ресторане «Кавказский» - подъезжали и отъезжали машины, заходили гары, вываливались пьяные, и по Невскому все ехали и ехали машины. Наконец внизу позвонили в дверь, пришел мастер, он за пятнадцать минут нашел неисправность и собрался уезжать, а за ним пришла милицейская машина, где сидели еще два мента.

Было очень холодно, мороз тридцать градусов, а Маруся была одета всего-то в демисезонную куртку и джинсы. Мастер сказал, что с удовольствием бы ее подвез, но им в другую сторону, и они отъехали, им было тепло там, в машине, а она, выйдя на улицу, сразу почувствовала, как ее охватило холо-

дом, джинсы сразу заледенели, а транспорт уже не ходил и ей нужно было идти пешком от салона до улицы Жуковского.

Она пошла очень быстрым шагом, надеясь согреться на ходу, но холод проникал все глубже и глубже, и возле Гостиного Двора, не пройдя и половины пути до дому, она поняла, что не дойдет. Даже зайти погреться было некуда - все парадные на Невском были закрыты и магазины тоже. Она поняла, как замерзали в блокаду, и ей стало страшно. И вдруг рядом с ней затормозила машина. Дверца распахнулась, за рулем сидел молодой человек, он пригласил ее садиться, выбора не было - либо замерзать, либо ехать с ним. В машине было тепло, звучала блатная музыка, а водитель был под хмельком и благодушно настроен.

— Тебе куда? - спросил он.

— Мне до Жуковского.

— Ладно, до Литейного довезу, а там сама дойдешь.

До Литейного доехали быстро, она вышла, ее никто не удерживал, и она радостно побежала домой, на этот раз все же успев добежать до дому и не заледенеть.

Трофимова встретила Марусю на машине, они быстро подъехали к дому, по дороге предварительно завернув в магазин “Монопри” - Трофимова купила четыре бутылки красного вина, а потом, махнув рукой, еще две, прибавив при этом, что Боря дал ей денег на гигиенические пакеты, но она купит себе ваты, потому что вата дешевле. Трофимова все говорила Марусе, как хорошо ей живется во Франции, поэтому, наверное, ей не хотелось ударить в грязь лицом при первой же встрече. Трофимова с Борей жили в блочном доме, вокруг стояли такие же дома - почти как в новостройках в Ленинграде, и лифт был такой же грязный, весь исписанный и изрисованный.

Они с Трофимовой зашли в маленькую прихожую, причем дверь была открыта, а на пороге лежал огромный ротвейлер, размером с небольшого теленка.

— Видишь, мы поэтому и двери не закрываем, - пояснила Трофимова, - его и так все соседи боятся.

Тут из комнаты вышла еще одна собака - ризеншнауцер, а за ней еще одна - овчарка. Маруся удивилась, почему Трофимова держит столько собак, но та ей пояснила, что Боря работает охранником на одном заводе, и собаки ему просто необходимы, да к тому же Трофимова их очень любит. Собаки окружили Марусю и молча мрачно и враждебно смотрели на нее. Марусе стало не по себе, хоть она тоже любила собак. Она захотела погладить ризеншнауцера и уже протянула было руку, но Трофимова закричала :

— Не трогай! Она терпеть не может чужих!

Маруся в ужасе попятилась, а Трофимова, загнав собак в кухню, провела ее в комнату. Там на полу у телевизора сидел небольшого роста мужичок с черными волосами, в джинсах, и играл в компьютерную игру.

— Вот это мой муж, Борька, - познакомься. - Трофимова подтолкнула Марусю вперед. Но Боря даже не повернул голову, и не обратил на Марусю ровным счетом никакого внимания. Он был весь поглощен игрой.

— Черт, - пожаловался он вслух, неизвестно к кому обращаясь, - вот эти ниндзи никак не могут пройти через эту гору, им эти мудаки мешают, а звездочки уже все кончились, блядь!

Он был не на шутку взволнован.

— Ну ладно, - сказала Трофимова, - пошли на кухню, а то он очень занят.

Они с Марусей устроились за столом в кухне и, сткрыв первую бутылку, разлили вино по чашкам.

— Бутылку спрячь, - прошептала Трофимова, - а то Борька мне пить не разрешает.

Маруся замаскировала бутылку за большой коробкой с собачьим кормом, и они сидели и мирно потягивали красное вино. Потом Трофимовой понадобилось ненадолго выскочить в магазин, в это время пришла ее дочь Полина, высокая худая светловолосая девочка лет шестнадцати, волосы у нее были закручены штопором, голос был низкий и хриплый, на Марусю она посмотрела, как на пустое место, и даже не поздоровалась.

А Боря, тем временем, прошел на кухню и, усевшись напротив Маруси на место Трофимовой, сказал:

— Привет! Ты что, с Ольгой в школе училась? Ну и как она была, ничего? Она же просто блядь, понимаешь, блядь и ничего больше. У нее даже был так называемый “голубой” период, как у Пикассо, когда она с педерастами жила - представляешь себе? А француза ты ее видела? Француз-то ей попался помоечный, как раз по Сеньке и шапка, у него вся спина была покрыта таким лишаем, псориаз, что ли, но он, правда, очень любил ее дочку, занимался с ней и даже устроил в дорогой колледж. Ну а она на него совсем плевала, совсем, ну я и думаю - как же это так, это же просто безнравственно, так нельзя. А подруги у нее - ты видела? - да просто все были валютными проститутками, правда, попадались и настоящие красотки, - тут уж ничего не скажешь, но были и не очень, правда, уродин не было. А Ольга - ну что ж, я конечно сперва с ней пару раз так от нечего делать, да и вообще - почему бы не доверять за щеку, если сама предлагает, а мне тоже от этого польза. Но к проституткам я никогда не ходил, разве что уж если сперма совсем в голову бьет и из носа капает, а так они неприятные - просто автоматы какие-то, у них все на время, постоянно на часы показывают, время, мол, деньги, и это здесь нормально. А то, что про меня Жора сказал, что я ни одной юбки не пропускаю - так уж точно он педераст - такое бабе гово-

реть! С ним все ясно! Я раньше в Питере всех писателей знал, и ту, что в инвалидном кресле под конец жизни ездила, известную писательницу, она еще вышла замуж за красивого юношу, гораздо моложе ее, а он оказался педерастом, любил мальчиков. Так он ей только и делал, что повторял: "Когда же ты содхнешь, старая сволочь?" — и ходил возле нее с такой рожей, что просто испугаться можно было, а сам жил за ее счет и все гонорары проедал и тратил на своих дружков. Она ничего сделать не могла, ужасно злилась, но его все равно продолжала любить...

Весь этот монолог Маруся выслушала молча и встrepенулась только, когда Боря упомянул их общего знакомого Жору, который работал в "Русской мысли", но которого оттуда выгнали "когда "Русскую мысль" перестало финансировать ЦРУ". Тем временем Боря все подливал себе да подливал из бутылки, которую он обнаружил за коробкой с собачьим кормом, при этом он не преминул заметить, что Оля алкоголичка, что это он ее спас, а то быть бы ей в лечебнице для алкоголиков, и что пить ей нельзя ни в коем случае. Маруся просто онемела от таких откровений, она не знала, что на все это Боре ответить, но к счастью, тут вернулась из магазина Трофимова, с подозрением покосившись на Боря и на Марусю, стала готовить на плите какое-то мясо. А Боря снова ушел в комнату играть в компьютерную игру. Вскоре из комнаты стал доноситься визг и хихиканье трофимовской дочери, и борин довольный басок, как будто он ее там щупал и щекотал, но Трофимова не обращала на это ровным счетом никакого внимания, и Маруся подумала, что ей виднее.

Потом Боря и Трофимова пошли провожать Марусю, а заодно и выгулять собак. Всю дорогу они говорили про домик, который хотели купить тут же, неподалеку. И они специально повели Марусю по парку, вдоль озера — было уже темно, около двенадцати часов ночи — туда, где они присмотрели себе такой небольшой домик с хорошенькой крышей и оконцами, они часто ходили вокруг него, прикидывая в уме, как будет замечательно, когда у них будет такой же, и как бы они его перестроили, "окошечки бы сделать побольше, а дверцы — поменьше, и вместо этой стены поставить бы веранду".

Марусе с самого начала в этом домике почудилось что-то странное, но она не спешила делиться своими догадками со Трофимовой, а только молча слушала, как они мечтают. И вдруг Боря тихо произнес:

— Бля, да это же сортир. Точно, сортир, — добавил он, обойдя домик еще раз. Трофимова молча подошла поближе и вошла внутрь. В домике было темно, свет не зажигался, но сильно пахло мочой и блестели унитазаы. В углу была раковина.

— Бля, сортир... — протянул Боря с явным разочарованием. Трофимова молчала.

В Париже на улицах и день и ночь продолжалась жизнь, на углу возле Оперы стоял шарманщик, на плече у него сидела птица, он играл какие-то грустные мелодии, в корзинке у его ног мирно спала собачка, укрывая одеяльцем (потом Марусе кто-то сказал, что они дают собачкам наркотики, чтобы те дрыхли с утра до вечера, а прохожие умилялись), у Центра Помпиду часто прогуливался смуглый, тощий, похожий на индуса продавец сахарной ваты, он выдувал огромные розовые клочья этой ваты из специальной старинной машины, с бронзовыми блестящими ручками и завитками, а на плече у него сидела обезьянка, да и сам город, эти старинные дома, церкви, в которых в любую жару было прохладно, действовал на Марусю завораживающе, она могла часами ходить по улицам, заходя в садики, пила воду из фонтанчиков, гуляла по магазинам...

Особенно ее притягивала Сена – там на набережных, пахнущих мочой, постоянно собирались какие-то юноши и девушки, а также было много клошаров, они сидели, выпивали, закусывали и смотрели на проходящие мимо речные трамвайчики, где горел свет, за столиками сидели веселые люди и звучала музыка. Марусе особенно нравился один деревянный мостик, украшенный цветами и зеленью – туда она ходила смотреть салют ночью 14 июля: огромные огненные шары, спирали, змеи, пирамиды и другие разноцветные фигуры вдруг расцветали на ночном небе, и вся толпа восхищенно ахала. Маруся тоже смотрела и не могла оторваться. Ей совсем не хотелось возвращаться домой, к Пьеру.

Если у нее были деньги, она покупала себе “греческий сэндвич” в Латинском квартале, спускалась к Сене, садилась прямо на набережной, свесив ноги вниз, и глядя на воду, долго так сидела.

В последнее время Марусе было очень тяжело здесь, ей казалось, что счастье осталось там, в далеком сером дождливом городе, где шелестят под ногами желтые листья и так спокойно и легко на душе, и ничего не нужно, а только идти по широким просторным улицам к себе домой.

На крыше напротив сидит огромная серая птица, крылья и голова у нее черные, она что-то сосредоточенно и долго выкусывает у себя под крылом, потом осматривается вокруг и смотрит себе под ноги. Дом из светло-серого кирпичика, такой квадратненький, окна выкрашены в желтый цвет, а дверь – в красный. Все предметы в комнате освещаются каким-то новым светом и приобретают враждебный угрожающий смысл и вид.

Иногда под вечер, когда она уже лежала в кровати и засыпала, в голове проносились слова, целые фразы, они были так красиво построены, связаны между собой, но если она вставала, чтобы их записать, то сон сбивался. Но она знала, что если заснет, то они уйдут и никогда не вернуться. Эта невидимая нежная грань между сном и бодствованием незаметно стиралась, она пере-

ходила в другое состояние и засыпала, дыхание постепенно становилось ровным и она погружалась в сон.

Однако, стоило поймать этот момент перехода и как раз тогда толкнуть ее, разбудить, вырвать из сна, создавалось ощущение, как будто она оступилась на краю пропасти и падала туда. Она знала, что, если проделать это несколько раз подряд, все время на этой грани сна и бодрствования, то потом она долго не сможет заснуть, и сердце будет тяжело биться в груди и каждый раз, на грани сна и перед тем, как войти в сферу покоя и темноты, она, содрогнувшись всем телом, в ужасе будет просыпаться, задерживаясь на этой невидимой грани и не решаясь, не имея возможности ее перешагнуть.

Так вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.

Пьер рассказывал Марусе про свой мистический опыт, о том, как его посетил Святой Дух, как он почувствовал легчайшее дуновение и потом пошел работать на завод, то есть таким образом воскрес для полноценной жизни, а до этого он два года пролежал на кровати и жил, как растение. Это было всего один раз, и он сравнивал это появление Святого Духа со сверхзвуковым самолетом, который, пролетая, вызывает сотрясение воздуха, и от него дребезжат стекла.

Когда Пьер стал православным, ему в качестве общественной работы поручили помогать Сюзанне, она была парализованная, но не вся, а частично, руки у нее были иссохшие, и она ходила как зайчик, прижав их к груди, ноги у нее еще функционировали. Однажды она позвонила Пьеру и сказала, что у нее еще и рак, он пришел к ней, чтобы навестить и увидел у нее на носу между выпученных рачьих глазок наклеенный пластырь, и она дрожащим голосом сообщила ему, что там и находится болезнь. Сюзанна рассказывала ему, что в детстве, когда она была еще маленькая, ее родители очень сильно ее били, но потом, когда она выросла, она стала очень красивая и у нее было много любовников, поэтому она считала, что неплохо прожила свою жизнь, ей было, что вспомнить. Правда, из-за этого битья она теперь вся больная, и недавно у нее что-то случилось с ногой, она ее подвернула, упала, и так лежала очень долго, а потом кое-как доползла до телефона и вызвала скорую помощь, врачи приехали, а она никак не могла открыть дверь, поэтому они вынуждены были разбить стекло и проникнуть к ней через окно.

Ее отец был генералом белой армии, служил у Врангеля, а потом, в Париже, работал шофером такси, а мать служила в ресторане. Сюзанна никогда не хотела иметь детей, потому что она бы их тоже била, как ее отец и мать. У нее в ящиках комода хранились аккуратно сложенные вещи, иногда она доставала их своими скорченными ручками, а потом складывала обратно, при этом раздраженно приговаривая: «Ах, черт!» Она тоже не любила

ни собак, ни кошек, и в этом отношении понимала Пьера. Летом Сюзанна непременно уезжала в дом отдыха, там очень хорошо кормили, и она заранее предвкушала поездку, радуясь, как могла. Правда, она и здесь могла каждый вечер спускаться в ресторан, что был на первом этаже ее дома, и там жрать за десятерых, но эта пища не шла ей впрок. Пьер, рассказывая об этом, горестно покачивал головой и ковырял в носу. Из дома отдыха она писала Пьеру открытки: «Погода холодная, но кислорода до фига! Мне очень хорошо, кормят как на убой! Наилучшие пожелания. Сюзанна.» Пьер иногда завидовал ей, потому что часто был голоден и жрал, что придется. Маруся видела, как однажды на вокзале Сен-Лазар он нашел на полу конфету, ее кто-то уже пососал и выплюнул, а Пьер поднял ее, демонстративно осмотрел со всех сторон, сказал:

— Ах как это вкусно! - и, чавкая, съел. Он не придавал особого значения материальным удобствам, и был доволен тем, что у него теперь, хотя бы, есть крыша над головой.

Раньше, когда он бродил по Франции, он ходил по лесам, и даже когда наступала ночь, он шел всю ночь, глядя на луну, которая служила ему ориентиром. Он не спал ночью, потому что в лесу на воздухе он никак не мог заснуть, к тому же он боялся, потому что его могли убить и ограбить. Однажды он спал в каком-то сарае рядом с клошаром, и тот захстел трахнуть его в зад, а Пьер злобно его оттолкнул. Потом, вспоминая об этом, он говорил, что если когда-нибудь его и выебут в жопу, то это будет не грязный клошар. А однажды ночью зимой он чуть не замерз, его спасла большая косматая собака, к боку которой он прижался и так провел всю ночь. Правда, собак Пьер все равно не любил, как и остальных животных. Пьер спал днем, когда светило солнце, с тех пор он любил солнце. Часто, валяясь у себя в деревне в Нормандии на дворике, окруженном глухой стеной, он говорил вслух:

— Солнце — это наш бог!

И когда он приехал туда с Галей, они выпили три бутылки красного вина, и Пьер попросил ее залезть на лесенку, только без трусов, и когда она удивилась, рассказал, что в детстве видел фильм, в котором девушка собирала вишни и залезла на лесенку, но трусы не надела, забыла, что ли, а ее молодой человек стоял внизу и ласкал ее, отчего та, естественно, не могла собирать вишни. С тех пор Пьер завидовал тому молодому человеку и мечтал тоже оказаться в такой ситуации, и хотя тогда вишен еще не было, а стремянка стояла в грязной кухне на каменном полу, он все равно хотел повторить этот опыт, и наконец ему это удалось.

Ночью, лежа в постели рядом с Галей, он расспрашивал ее про покойников, и наконец, когда она просто завопила на него не своим голосом и попросила заткнуться, он в раздражении, кипя от благородного негодования встал, взял свое одеяло и волока его по полу, вышел из комнаты. Он хотел прилас-

кать Галю, но она оттолкнула его руку и выругалась. Пьера это очень задело, он сказал Гале:

— Ах вот как! Когда отталкивают руку, которая хочет тебя приласкать, это кое-что значит!

Когда сестра Пьера была маленькая, она провалилась в нужник, устроенный во дворе, возможно, с того случая она была немного не в своем уме и иногда по ночам в своей квартире начинала громко кричать, тогда соседи вызывали полицию, и ее увозили в сумасшедший дом. Покойный муж сестры Пьера был еврей, так что никто в их семье никогда не был антисемитом.

В Париже несколько еврейских кварталов, в одном из них возле бульвара Сен-Мартэн, где огромное количество лавочек, в которых торгуют оптом и того и гляди могут всучить тебе какую-нибудь дрянь, жила родственница сестры Пьера, которая немного повредила мозгами после смерти своего мужа, у нее в квартире вечно жили приживалки, она уже не могла жить одна, ей было необходимо кого-нибудь тиранить и чтобы ей кто-то помогал, с ней разговаривал и следил за ней, чтобы она куда-нибудь не ушла, своего мужа она тоже держала в ежовых рукавицах.

Однажды она встала в два часа ночи, накрасилась, оделась и собралась уходить из дому, хорошо, что старушка по имени Вера, которая тогда жила у нее, проснулась и удержала ее. Старуху звали мадам Израэль, она обычно прятала от Веры мыло и туалетную бумагу и совсем ее не кормила, а по субботам та должна была зажигать у нее огонь, и готовить пищу заранее в пятницу, потому что в субботу это было запрещено. Она часто повторяла:

— Я хочу, чтобы у меня все было чисто в моей маленькой уютной квартирке!

Ее сын, у которого раньше тоже была лавочка, продал ее и уехал в Англию вслед за своей женой, с которой он вскоре развелся, потому что та его била, такая она была здоровенная бабища. Но у них были дети, и сын иногда ездил их навеситить. Он привез к своей маме в квартиру коробки с товарами, потому что больше девать ему их было некуда, теперь они лежали у нее на шкафах, и маму это ужасно раздражало:

— Это не помойка! Он привез свои коробки ко мне! Я хочу, чтобы у меня все было чисто в моей маленькой уютной квартирке!

Но она все же не выбрасывала их, потому что это был ее младший любимый сын. Она любила русских и хотела, чтобы у нее жили только русские. Ее дочка находила ей русских, которые за небольшую плату соглашались приглядывать за ней.

Когда мадам Израэль была недовольна кем-нибудь из них, она подходила к телефону, звонила дочке и говорила:

— Что это она тут делает! Здесь ей не Россия!

Старушка по имени Вера жила у нее четыре года, она рисовала картины, сидя в своем уголке, корабли на Неве и Петропавловскую крепость, раз в неделю она ходила убирать еще и к старику, с которым заключила фиктивный брак, чтобы приехать во Францию. Она была не прочь у него остаться навсегда, но он этого не хотел, а только давал ей конфетку, нежно целовал и говорил:

— До свиданья, Вера, до понедельника!

В конце концов, ей все это надоело, но в Россию она возвращаться не хотела, ей было хорошо и во Франции.

Напротив в окне, на расстоянии двух метров, каждый день около двенадцати отец семейства с длинной бородой в ермолке садился за стол и долго сосредоточенно ел, он был в очках и очень толстый, вечером он надевал лапсердак и отправлялся в синагогу, его жена, тоже в очках, с огромным носом и толстым задом, целыми днями трепалась по телефону и жрала из коробки кукурузные хлопья. По дому бегали хорошенькие черненькие мальчики с румяными щеками и с черными пейсами, тоже в ермолочках, они появлялись в одном окне, потом исчезали, появлялись в другом. Вечером муж с женой удалялись в свою спальню, потом через некоторое время, если окно было не закрыто, оттуда слышались стоны и вздохи.

Этажом ниже сумасшедший юноша, высунувшись в окно, рассказывал прохожим о том, что у него в желудке завелись чудовища и не только в желудке, но и в комнате под кроватью. Он делал это примерно два раза в неделю. У него в квартире всю ночь горел свет.

Когда Маруся проснулась, на часах было три часа утра, значит, она спала всего три часа. Марусе приснилось, что ночью в комнату входила согнутая фигура в белом, подходила к самой кровати, а потом бесшумно исчезла, как фигура марусиногу дедушки во сне, когорый она видела уже после его смерти, когда он весь в белом, и сам белый, подошел к ней и звал за собой, и она уже хотела идти с ним, но в последнюю минуту испугалась и не взяла его за протянутую ей руку. Проснувшись она же могла понять, сон это или было на самом деле. Может быть, Пьер пытался проникнуть к ней в комнату, потому что Гали с дочкой не было дома уже две недели, а Ивонна была в сумасшедшем доме.

Маруся вспомнила, как однажды ночью сюда заявился Антуан, приятель Пьера из Сент-Анн. Сначала он пришел днем, и Маруся накормила его — сварила макароны, он поел, и поинтересовался, где Пьер. Маруся сказала, что Пьер уехал в Нормандию. Вероятно, Антуан принял это за намек и ночью явился с огромным тюком за спиной, долго звонил у ворот, а потом пере-

лез через ворота, и стал бродить вокруг дома. Антуан гремел ставнями, пытаясь проникнуть в дом, шуршал внизу листьями или бумагой, и потом залез на крышу соседнего гаража и долго ходил по ней в призрачном свете луны.

Маруся в ужасе побежала вниз, проверить, все ли заперто, в кухне ставни были сломаны, и закрывались плохо, поэтому Антуану почти удалось открыть их. правда, не до конца. Маруся спустилась в подвал, где были еще два маленьких оконца, и срочно тоже закрыла их. А Антуан еще несколько часов продолжал стучать в окна и трясти двери.

Под утро начал накрапывать мелкий дождь. Наконец, видимо утомившись, Антуан уселся в кресло прямо под дождем, накрылся простыней, которую извлек из своего узла, и заснул. Утром его обнаружил Пьер, вернувшийся из Нормандии.

Он отправился в Нормандию на неделю, но по дороге внезапно вспомнил, что ему нужно к зубному врачу и сразу же поехал обратно. Правда, по дороге назад Пьера снова охватили сомнения, и он опять повернул в сторону Нормандии. Потом опять повернул назад, затем опять решил ехать в Нормандию. Так повторялось несколько раз – Пьер поворачивал то в одну, то в другую сторону. Но в конце концов, он решил, что зубной врач важнее. Однако, вернувшись, Пьер сразу же отправился к себе в комнату и лег спать. Ни к какому врачу он так и не пошел.

Из-за того, что у Пьера совсем не было денег, он почти не покупал никакой еды, ел где-нибудь в гостях, а дома старался поесть то, что купят его жильцы. Но они тоже не особенно много покупали, а если и покупали, то уносили в свои комнаты. Ивонна же и вовсе съедала все из холодильника, когда не худела, а худела она редко – особой необходимости в этом не было. А Диму Пьер отвез к себе в Нормандию, где у него был еще один дом. Пьер возил туда всех своих гостей, Марусю, Галю с Юлей. Обычно они выезжали утром, а приезжали поздно ночью, когда было уже совсем темно. Пьер ездил в Нормандию чуть ли не каждую неделю, однако постоянно путал дорогу и спрашивал у редких прохожих, куда ему ехать. Вдоль дороги были установлены столбики, покрашенные фосфоресцирующей краской, которые отражали свет фар проходивших автомобилей, поэтому казалось, что столбики светятся в темноте. Маруся помнила, как ей хотелось спать, когда они доехали до дома, было уже совсем темно, в доме тоже не было света, и в темноте Пьер так и не смог включить свет, поэтому им пришлось устраиваться на ночлег в полной тьме, Пьер лег на надувной матрас прямо на бетонном полу, а Маруся устроилась в сарае во дворе, там стояла раскладушка. Утром она обнаружила, что дом очень большой, целых три этажа, и даже есть ванная и два туалета, один на первом этаже, а другой — на втором. Третий этаж был совсем не отделан,

там повсюду валялась стекловата, утром Маруся с ужасом увидела это, потому что ночью, когда они приехали, хотела сперва лечь спать там, и задним числом испугалась, представив себе бесчисленное количество стеклянных иголочек, впившихся в ее тело. Утром они сразу же поехали загорать и купаться на озеро Коко, которое называлось так, потому что было круглое, как кокос. По дороге они срывали ежевику, которая росла там прямо вдоль дороги, и ели ее.

Вот в этот дом Пьер и отвез Диму, чтобы от него избавиться. Потому что Пьер уже несколько раз выгонял Диму, однако вскоре Дима неожиданно появлялся снова, как обычно бодро напевая и приплясывая. Дима прожил в Нормандии две недели. Первое время Пьер жил вместе с ним, они воровали картошку на полях и пекли ее на костре во дворе, где росла одинокая груша.

Этот дворик у Пьера был огорожен со всех сторон бетонными стенами, и там росла травка, что очень радовало Пьера. Иногда он раздевался догола и валялся прямо на травке, подставив красное волосатое тело живительным лучам солнца. Он вообще любил раздеваться, и, будь его воля, он все время бы ходил голым. Дома при Ивонне он так и делал. Ивонна кричала на него:

— Пьер, и тебе не стыдно?

— А почему я должен стыдиться собственного тела? — отвечал ей Пьер вопросом на вопрос. В конце концов Ивонна хватала свою куртку и сумку, и хлопнув дверью, убегала к знакомому испанцу, жившему по соседству. А Пьер отправлялся загорать на крышу. Однажды, когда он еще бродил по Франции, где-то возле Лиона он тоже обнаружил заброшенный дом, и поселился там. Каждое утро, если светило солнышко, Пьер, совершенно голый, загорал на крыше, но это не понравилось соседям, которые вызвали полицию, и Пьера забрали.

Однако в Нормандии Дима скоро надоел Пьеру, он вывел его на большую дорогу, по которой шли машины на восток и оставил там. Дима уехал авто-стопом.

Правда, через месяц Дима снова появился, на сей раз с какой-то дамой преклонного возраста, годившейся ему в матери. Дима рассказал Пьеру, что полюбил ее с первого взгляда, и она теперь заменяет ему мать.

— Дима плакал, когда рассказывал мне это, — говорил Пьер, вращая глазами, — он обрел мать в этой женщине. Она любит его.

Но вскоре дама вернулась к своему богатому мужу, и Дима снова был вынужден очистить помещение.

Марусе очень нравились негритянки, они были одеты в красивые яркие длинные платья, и такого же цвета тюрбаны были намотаны у них на головах. У них были красивые коричневые плечи и руки и очень плавная

походка. Иногда к спине или к груди у них был привязан младенец. Наверное, точно так же они ходили у себя в Африке, и наверное им тоже там было более просторно и свободно, чем здесь, где каждый ютится на десяти метрах жилой площади, а если у тебя есть свой дворик размером с тазик, то ты уже счастлив и с достоинством можешь вечером выйти покурить к «себе в сад», и все зовут тебя «собственник». А вечером можно поставить туда столик и стулья и всей семьей, с трудом разместившись, ужинать на свежем воздухе.

Негры редко устраивались так хорошо, разве что редкие негры, папа у которых раньше был президентом у себя на родине, а потом, наворовав много денег, спасая от военного переворота и улетел на личном самолете в Париж. Но таких были единицы. С одним из таких негров сошлась Ивонна.

Ивонна жила в Париже уже пять лет, она вышла замуж за сына русских диссидентов Сашу, который родился во Франции и считался французом. Однако она с ним почти сразу же рассталась, и не хотела даже встречаться, правда, когда ее начинали осаждать кредиторы или приходили почтовые уведомления с просьбой оплатить покупку, которую она сделала в том или ином магазине, оставив там чек, а на ее счету денег, естественно, не было, она звонила Саше, и тот тут же предлагал ей оплатить все ее счета. А такое случалось частенько, потому что у Ивонны потребности явно превосходили ее финансовые возможности — у нее в комнате стояло около тридцати пар обуви, шкаф был забит тряпками, а стол был завален дорогой косметикой. Когда она рассказывала об этом Марусе, то плакала от умиления и все повторяла, какой Саша хороший.

А негр — любовник Ивонны — покупал в универмаге воду “Контрекс” целыми ящиками, потому что воду из-под крана пить было опасно, здесь вода, оказывается, была еще хуже, чем в Питере, и можно было подцепить любую заразу. Ивонна рассказывала Марусе, что с Энтони она познакомилась на улице, то есть она шла со своей подругой Джоанной по улице, а Энтони сидел на подоконнике, и там играла музыка, а Энтони был в хорошем настроении, и он заговорил с ними, ну и они зашли к нему, а там было много народу, все пили и курили марихуану, и Ивонна влюбилась в Энтони, потому что он был очень красивый негр, к тому же его папа оказался президентом одной африканской республики и недавно, перед самым происшедшим там военным переворотом, успел улететь оттуда в Париж. У Энтони было много денег.

Конечно, Ивонна потом стала спать с Энтони, и он ей очень нравился во всех отношениях, у него был очень большой член, и он очень хорошо трахался. Но потом Ивонна обнаружила, что забеременела. Она сказала об этом Энтони, и тот ответил, что любит ее, но о женитьбе ничего не сказал, а Ивонне нужно было, чтобы он на ней женился. Тогда она решила ребенка не оставлять, а приняла таблетку, есть такие специальные таблетки, и у нее произошел выкидыш. Тем не менее, она все же продолжала встречаться с Энто-

ни, но не спала с ним, а делала вид, что ей то ли не хочется, то ли сам Энтони ее не устраивает, а он всячески ее добивался. В конце концов, кажется, она все-таки с ним переспала, и все равно ничего не добилась.

Был ноябрь, с каждым днем становилось все холоднее и холоднее. На сей раз Дима исчез надолго и снова дал о себе знать только весной. Оказалось, что Дима познакомился с одним очень знатным аристократом, к тому же очень богатым, которого встретил на Королевской охоте в Фонтенбло.

Королевская охота на оленя проводится раз в год в Фонтенбло, как правило поздней осенью в ноябре. Охота называется “королевской”, потому что она проводится со времен Людовика XIV. В лесу Фонтенбло собирается много народа, некоторые приезжают на велосипедах, но большинство — на машинах. Машины все должны оставить у входа в парк, и дальше следовать за охотниками пешком. Подъезжает множество специальных фургонов с охотничьими собаками, которых фореитор сначала выпускает, а потом сзывает сигналом огромного медного рога. Собаки, радостно виляя хвостами, толпятся вокруг него, предвкушая прекрасную прогулку по осеннему лесу и надеясь затравить оленя. Однако оленя найти совсем непросто, поэтому его заранее выслеживают и составляют возможный маршрут его следования. Несмотря на это, находят его далеко не всегда. В большой черной карете с красными колесами в сундучках хранятся еда и питье, чтобы те, кто охотится, могли подкрепиться. Места в карете стоят очень дорого, пятьсот франков, но к концу охоты карета обычно заполнена до отказа. Большинство охотников восседают на лошадях в красочных охотничьих нарядах, в каскетках, белых лосинах, куртках и сапогах со шпорами. Перед началом охоты все выстраиваются в линейку и главный охотник оповещает собравшихся о возможном местонахождении оленя. Раньше, в 16 веке, он докладывал об этом королю Франции, а затем торжественно надевал на него ботфорты. Теперь же это только дань традиции, а ботфорты надевать не на кого. Потом выпускаются собаки, и все отправляются на поиски оленя.

Дима уже давно ошивался около подобных великосветских тусовок, за это время у него даже успело сложиться нечто вроде тщательно разработанного плана — что говорить, как себя вести — и он только ждал удобного случая, дабы его реализовать.

В тот день было довольно холодно, и земля в лесу была покрыта слоем опавших листьев, все разбрелось по разным направлениям, ходили долго, но оленя так и не нашли, он остался жив и невредим, и продолжал мирно пастись в лесу Фонтенбло до следующей охоты.

Дима почти сразу отметил в толпе нужного ему человека: он был высокого роста и немного сутулился, одет он был в красный кафтан, на голове у

него был белый напудренный парик, а щеки слегка нарумянены. Он расхаживал по опушке леса, нервно и немного жеманно поигрывая тросточкой. Когда Дима приблизился к нему, в нос ему ударил резкий запах духов, казалось, он вылил на себя целый флакон. Дима с ходу без обиняков поведал своему незнакомцу о том, что он гомосексуалист, что, вообще-то, он из очень хорошей семьи польских эмигрантов, но теперь остался без отца и без матери, да еще и без работы, а аристократ столь же быстро, без какой-либо видимости колебаний предложил Диме жить у него в качестве прислуги, Дима должен был гулять с собачкой и убирать квартиру.

Наконец-то Дима нашел работу. И все, вроде, шло хорошо, пока однажды он не обнаружил в ванной комнате нечто жуткое, нечто столь ужасное, название чего, рассказывая эту историю Пьеру и Марусе, он даже некоторое время не решался произнести вслух, а все тянул и ужасался, а потом, вероятно для того, чтобы заполнить паузу, опять вдруг начал приплясывать и напевать, изображая из себя то гитариста, то саксофониста. Что же это было такое? Пьер, пока Дима пел и приплясывал, предположил было даже, что этот аристократ просто насрал в ванную, чтобы унизить Диму и заставить его убирать свое говно. Наконец Дима замолчал, сосредоточился и решил выложить все до конца — в ванной он обнаружил резиновый член огромных размеров.

Возможно, аристократ думал, что Дима страдает оттого, что долго не имел ни с кем половых отношений, а может, сам решил наемкнуть ему на свои чувства. Дима же, увидев член, не мог прийти в себя от возмущения, он тут же пошел и объявил своему хозяину, что не желает больше работать у него, так как это противоречит его религиозным убеждениям. Он покинул дом аристократа, на прощание громко хлопнув дверью, несмотря на то, что там у него была своя маленькая комнатка с телефоном, и его совсем неплохо кормили.

Та девушка, что короткое время любила его, оказывается приходила и к писателю-педофилу, но тот не знал, что она приходит и к Пьеру, а Пьер знал, и хихикал, радостно потирая руки. Почему-то это доставляло ему необъяснимое наслаждение. Потом девушка, ее звали Анна, пришла к нему, села на колени, нежно обняла, и лаская его редкие волосы, сообщила на ушко, что больше не придет, потому что полюбила другого. Пьер расстроился, но ненадолго, ведь он мог смотреть на девушек на улицах.

Недавно он видел одну, у которой были прекрасные волосы, они спускались ниже колен: она шла, а они развевались сзади. Пьер подумал, что ей не нужен халат, она могла целомудренно прикрываться своими волосами, когда например, робко, как газель, она будет вступать в комнату, а Пьер сладострастный и нетерпеливый будет ждать ее на ложе, покрытый простынями. Простыни — это хорошо, в простынях ты как в животе своей матери!

Пьер не помнил, как он был в животе у матери, но помнил свою мать, она кормила его. приносила ему пищу, когда он лежал на третьем этаже в своей комнате, как растение, лежал в течение года, ему не хотелось жить, он ни с кем не разговаривал, а она приносила ему еду и ставила перед ним. Он ее съедал молча, ничего не говоря.

А потом его мать отправили в больницу, она была уже очень старая, и просто устала, она так и сказала, что не хочет больше возвращаться домой, потому что ей все надоело, а сильнее всего ей надоела сама жизнь. Затем Пьера позвали в больницу, чтобы он с ней попрощался, и он видел свою мать под каким-то стеклянным колпаком в центре огромного зала. К ней отовсюду были подведены прозрачные трубки, по которым струилась жидкость, — и это произвело на него очень странное впечатление, он даже не мог понять, что это было, он просто помнил, что это было очень странно.

Отец Пьера, когда остался один, собирал во все шкафы своей комнаты съестные припасы, там было печенье, конфеты, банки с вареньем, колбаса, масло и просто хлеб. Он все время боялся, что снова начнется голод, ведь он помнил, как голодно было во время войны. Когда пришли немцы, он все равно продолжал работать, не оставил свою службу, поэтому потом, после войны, некоторые соседи обвиняли его в коллаборационизме, и даже сосед, всю войну торговал лошадиным мясом и за счет этого разбогател, и тот смотрел на него косо. Он считал, что про него самого никто ничего не знает. Впоследствии этого соседа дети сдали в дом для престарелых, и Пьер иногда приходил к нему, у него была отдельная комнатка с телевизором, а в холодильнике всякая еда и даже бутылочка красного вина, он всегда угощал Пьера, и вспоминал с ним свою жену, которая умерла уже очень давно.

Дима опять пропал, говорили, что он в Петербурге на Пряжке, куда его упрятали родители, потому что он не давал им покоя ни днем, ни ночью. Но и с Пряжки Дима сбежал и вскоре снова появился в Париже, где как раз проходил джазовый фестиваль, а Дима был без ума от джаза. На все концерты он проходил без билета, если его выводили, он проходил снова, контролерам было с ним не справиться, столько у него было энергии и изворотливости. Потом он учил Марусю, как надо проходить без билета:

— По бокам стоят два контролера, а ты так идешь, смотришь на одного контролера, и протягиваешь к нему одну руку, а вторую руку протягиваешь в другую сторону, как будто даешь билет другому, и каждый из них думает, что ты даешь билет его напарнику.

Правда, Марусе так и не довелось проверить димины слова на практике.

Он снова появился в доме у Пьера, заявившись туда прямо в пижаме, на голове у него красовалась не то феска, не то ермолка. Прямо с порога он

объявил, что стал мусульманином и спросил, в какой стороне находится Мекка. Пьер ему указал направление, но только приблизительно. Каждый вечер Дима спускался в подвал, становился на колени лицом по направлению к Мекке и совершал мусульманскую молитву. Он набрасывался с кулаками на каждого, кто случайно плевал на землю, даже на Пьера, который очень часто харкался. Дима утверждал, что никто не имеет права оскорблять землю.

Дениса он таким образом вскоре отучил от плевков. Однако Пьер никогда не менял своих привычек, и однажды, после очередного возмущения Димы по поводу его плевка на землю, вытолкал того за двери. В конце концов Дима вынужден был признать право плевать на землю за Пьером, остальных же продолжал преследовать.

Пьер так долго терпел присутствие Димы в своем доме, потому что Дима всегда приносил с собой продукты. Он приносил прекрасное тонко нарезанное мясо, сырое, но его так и ели сырым, только предварительно заливали соусом, который прилагался тут же, в маленьком пластиковом пакетике, на котором был нарисован лимон. Приносил он и мясо страуса, которое Пьер раньше никогда не ел – оно стоило очень дорого, и бифштексы, и куриные эскалопы, и мясо индошки, козий сыр, масло в пластмассовых коробочках, хлеб, лепешки и блинчики, печенье, белый шоколад и конфеты. Как-то Дима принес банку с шоколадным кремом, у пластмассовой крышки банки был отколот маленький кусочек, а однажды он преподнес Пьеру целых пятьдесят плиток белого шоколада, который Пьер потом использовал как приманку для женщин, попадавших в его дом. Сначала Пьер был уверен, что Дима эти продукты где-то ворует, но ему, вообще-то, было плевать, главное, что не нужно было постоянно думать о том, где достать пропитание.

Но наконец Дима поделился с Марусей и с Пьером секретом этого маленького чуда: Дима нашел место на заднем дворе супермаркета, куда выставляли мусорные бачки с продуктами, срок годности которых кончался.

Обычно Ивонна работала по ночам и вдруг Пьеру позвонили и сказали, что Ивонна в Сент-Анн. Пьер радостно захихикал и сообщил Марусе, что Ивонна тоже “того”, что она уже в психбольнице. Ивонна потом позвонила сама и попросила Марусю привезти ей пижаму, сигареты и книжку.

На самом деле, Пьер в глубине души немного расстроился, потому что Ивонна с ним обычно старалась быть ласковой, когда он был раздражен или не в духе, она целовала его в красный потный лоб и говорила Марусе:

— Смотри, вот как надо делать! Это совсем нетрудно!

Пьер делал вид, что отгоняет ее, но видно было, что ему это нравится, и вскоре он расплывался в улыбке.

Маруся взяла серые лосины Ивонны, серую ее футболку, пачку сигарет Мальборо и поехала в психбольницу. Пьер подробно ей рассказал, где она находится, потому что он сам провел там два года.

Там его лечили с помощью электрошоков, учили играть в теннис и позволяли печатать на машинке бесконечные стихи. Он потом показывал эти стихи Марусе. «Я параноик... парано... пара... но... ик. . Параноидальный..... параноический....» и т.д. и т.п. Тем не менее, когда книга его стихов под названием «Я — параноик» была издана, один из белых русских, Миша Толстой, прочитав ее, подпал под полное влияние Пьера. Пьер стал для него как бы учителем, и Миша во всем с ним советовался.

Именно Миша успокоил Диму, когда тот однажды явился в церковь Александра Невского на улице Дарю, и, заметив, что там внутри продают свечи, иконы, книги, вдруг неожиданно громко завопил и пинком ноги опрокинул стол и купель. А там как раз в это время собирались крестить младенца, но, к счастью, купель была еще пуста, купель со звоном покатила по каменному полу. Дима непременно хотел опрокинуть еще что-нибудь, его пытались остановить, но не могли, потому что он стал очень сильным - его просто переполняли силы - он стоял посреди церкви, вращая глазами, поворачиваясь, расставив руки и всем своим видом как будто говорил: «Ну подходи, кто не боится». Никто не решался подойти к нему, все боялись. И только граф Миша Толстой, который работал в церкви реставратором икон и жил в маленькой комнатке при церкви во флигеле, не испугался. У него всегда в шкафчике стояли бутылки с ликерами - из черной смородины, малины, клубники, ежевики - и он периодически наливал себе рюмочку и выпивал; он был небольшого роста, крепко сбитый, с черными глазами навыкате и черными волосами, его голова росла прямо из плеч, у него был черный пояс по карате, он стремительно подошел к Диме, тот попытался ударить его по голове, но промахнулся, а Миша заломил ему руку за спину и так вывел на улицу.

Тем временем кто-то уже вызвал полицию, и Миша стоял с Димой на улице и ждал машину. Но тут Дима стал так жалобно просить, чтобы его отпустили, он вдруг стал таким маленьким, беззащитным, и на его голубых глазах даже показались слезы - что Мише стало его жаль, и он отпустил его, а когда приехала полиция, сказал, что хулиган убежал.

Миша дружил с Пьером, они познакомились уже давно. Одно время Пьер бродяжничал, а потом его приютили русские, и он стал работать в РСХД шофером грузовичка, возил продукты, одежду и людей. Миша тогда был еще совсем маленьким, отдыхал в лагере в Альпах вместе с другими скаутами, а Пьер со своим грузовиком тоже был там, они подружились. Пьер рассказывал ему о смысле жизни, о том, что все вокруг - одна большая комедия, поэтому не нужно стараться стать кем-то в этом лицемерном обществе, а самое важ-

ное - это быть самим собой. Миша все это слушал, и ему хотелось стать таким же, как Пьер.

Сестра этого Миши была отправлена в католический колледж, потому что у нее были очень уважаемые родители, которые хотели, чтобы их дочь была воспитана в строгом нравственном и религиозном духе. Но как раз в этом колледже ее изнасиловал учитель математики. С тех пор она стала мужененавистницей и не переносила мужчин. Пьер, рассказывая об этом, всякий раз пускался в рассуждения о том, что девочку первым должен просветить какой-нибудь родственник, например, дядя, кузен или брат, но лучше старший, тот, у кого уже есть опыт. Таким образом он намекал на Юлю, которая, хотя была еще мала, но ведь когда-нибудь же она вырастет, и вот тогда-то Пьер и поможет ей, чтобы она не имела до конца своих дней отвращения к сексу с мужчинами. Хотя в глубине души он надеялся, что у него самого будет дочка, и он сможет все это объяснить своему собственному ребенку.

Маруся вышла из метро и пошла по пыльным улицам искать психбольницу. Она нашла ее почти сразу же, вокруг нее было много машин скорой помощи с голубыми полосками и голубыми же звездочками, которые подъезжали и отъезжали. Пройдя мимо двухэтажных каменных зданий, она завернула на пыльный двор и позвонила в обшарпанную дверь. Оттуда выглянула девушка в джинсах и накинутом на плечи белом халате, — наверное, санитарка. И тут же в глубине коридора Маруся увидела Ивонну, она буквально оттолкнула санитарку и бросилась Марусе на шею. Маруся очень удивилась, потому что раньше Ивонна никогда не обнаруживала по отношению к ней таких горячих чувств, а теперь Ивонна расцеловала Марусю и даже сказала ей, что любит ее. Маруся протянула ей мешок с одеждой и сигареты. Тут к ним подошел врач в очках и белом халате и спросил, что они здесь делают и почему Ивонна вышла из палаты, ведь это не разрешается. Ивонна с каким-то идиотским смехом, в котором чувствовалась тайная похоть и кокетство, сказала врачу, что Маруся — это ее сестра. Врач с подозрением осмотрел Марусю, но ничего не сказал. — Ну, идите, идите, — засуетилась девушка в белом халате. Ивонна снова обняла Марусю и ушла в глубь коридора. Тут неподалеку на скамейке во дворе Маруся заметила молодого человека с очень черными волосами и очень бледным перекошенным лицом. Он злобно смотрел на Марусю, а, когда она отошла от дверей, подошел к ним сам и стал настойчиво звонить. Дверь снова открылась, и та же девушка спросила у него, что ему надо.

— Я пришел к Ивонне, — сказал он.

— А кто вы?

— Я ее муж.

Тут Маруся снова на мгновение увидела Ивонну, как она отрицательно качает головой, как бы говоря, что никакого мужа у нее нет.

— Все, кто сюда приходит, говорят то же самое. — со смехом сказала девушка и захлопнула дверь перед носом молодого человека. Маруся пошла прочь.

Маруся однажды видела, переходя через мост Леваллуа, как в Сене вверх брехом плавало огромное количество дохлой рыбы. Значит, приятель Ивонны Энтони был прав, что избегал пить воду из-под крана.

Пьер тогда орал и возмущался весь день, он опять был зол и раздражителен, потому что снова остался без работы. Его взял было на работу один поляк, но он поручил Пьеру пришивать к футболкам неизвестного происхождения бирки «Made in U.S.A.», а Пьер пошел и накапал на него в полицию, потому что «он обманывает честных французов, а сам он всего лишь иностранец, которого во Францию никто не звал». Поляк заплатил штраф, а Пьер оказался на улице.

Пьер никогда не покупал вещей в магазине. Он все находил на помойке или на улице. В Париже и его окрестностях можно было найти все, что угодно. Люди побогаче выбрасывали на помойку все, что им было не нужно, предварительно связав одежду в узлы, а иногда и просто прямо через окно.

Галина дочка Юля однажды нашла такой узел и принесла его к Пьеру. Там они обнаружили множество сарафанчиков ярких расцветок и даже кусок фиолетовой материи типа ситца, усеянной фотографическими портретами какого-то улыбающегося негра, кроме того, там были рентгеновские снимки, и еще документы с фотографиями негров, негры были совсем черные, отчего на черно-белой фотографии у них вообще трудно было разобрать лицо, блестя только белки глаз и зубы. В тюке были и всевозможные потрепанные брошюры о том, как получить во Франции пособие на детей, по безработице и еще масса всяких полезных советов, но к сожалению все это уже устарело.

Галия тогда испугалась, что это все заразно, потому что рентгеновские снимки свидетельствовали о том, что негры от чего-то лечились. Она хотела все выбросить, но Пьер забрал узел в свою комнату. Фиолетовую материю с портретами негра он положил в качестве скатерти на обеденный стол, который он тоже сделал из детской кровати, найденной им на улице. Поэтому Пьер, сидя за столом, часто начинал его тихонько раскачивать и мурлыкать себе что-то под нос, вероятно, он представлял себя отцом, который укачивал в кровати своего ребенка, постепенно Пьер начинал раскачивать стол все сильнее и сильнее, так что Марусе несколько раз с трудом удалось поймать свою тарелку, которая едва не слетела со стола и не разбилась. В столешнице стола были высверлены дырки неизвестного происхождения и Пьер, когда был в хорошем настроении, совал туда палец, имитируя половой акт, при этом он заливался громким раскатистым смехом, напоминавшим ржанье коня, когда его пришпорили.

По воскресеньям Пьер отправлялся в церковь Святого Сергия, служба начиналась в десять часов утра, но он никогда не приезжал к началу, а всегда ближе к концу. Особенно он любил туда ездить, когда были церковные праздники, потому что тогда после службы всех кормили и давали красное вино. Один раз Маруся пошла с ним на престольный праздник, обретение мошей Сергия Радонежского, на праздничном обеде присутствовал сам епископ с фиолетовым носом и красным лицом, и все высшее духовенство. Рядом с ними за столом сидели студенты православного института Святого Сергия и еще какой-то мужичок с бородкой и в косоворотке. Как Маруся потом узнала, он женился на француженке, правда, не очень удачно, так как у этой француженки периодически случались приступы тяжелой депрессии, и он с ней очень мучился. Но все равно, он неплохо устроился — преподавал математику где-то в университете или в институте. Тщедушная прыщавая студентка Богословского института в очках, которая приехала из города Киева и никак не хотела уезжать обратно к себе, жаловалась ему, что ей негде жить, общежитие забито, а стипендию почти перестали выплачивать.

— Ну и уезжайте, — ласково наставлял ее мужичок с бородкой, — ведь это, может, знак вам, и Господь вам велит возвращаться на родину.

Студентка испуганно втянула голову в плечи и затравленно посмотрела на него, но все же покорно закивала.

— Вот мне, например, — продолжил тот, — Бог велел остаться, я и остался. Зачем же противиться Его воле? А вам, стало быть, Он велит вернуться, ну и уезжайте, не думайте долго, уезжайте, раз такова Его воля!

Все кругом ели консервированную кукурузу и пили вино. Пьер особенно налегал на вино, он уже несколько раз наполнял свой стакан из бутылки, его лицо приобрело багровый оттенок, и глаза блестели. Как только трапеза стала подходить к концу, Пьер выскочил из-за стола и направился к выходу, чтобы не принимать участия в уборке посуды, что должны были делать все гости, включая епископа. Бумажные тарелки, пластиковые стаканы и объедки собирались в полиэтиленовые мешки и выбрасывались на помойку.

Пьер собирал на улице все матрасы, которые не были сильно пропитаны мочой и не так воняли. Он складывал их в гараже — если к нему в дом придет сразу много странников (а лучше странниц), то им всем будет, где спать. Одна такая странница, правда, совсем старая, часто приходила к Пьеру, у нее было оплаченное место в доме для престарелых, но ей там не нравилось, она предпочитала бродить по улицам и собирать в сумку разный мусор, а ночевать она приходила к Пьеру. Пьеру она, конечно, была не нужна, поэтому он однажды ночью выгнал ее и больше к себе не пускал. Тогда она отправилась ночевать

к его сестре Эвелине, и с тех пор ночевала у нее, в благодарность за ночлег убирая ей квартиру, так продолжалось, пока у Эвелины не случился очередной кризис. Все началось с того, что Эвелина открывала шкаф, а от него отвалилась дверца и загородила ей доступ к кровати. Эвелина никак не могла эту дверцу сдвинуть, она просто не понимала, с какой стороны за нее можно взяться, и поэтому она остаток ночи была вынуждена провести на кресле, в согнутом положении. Наутро она пошла к Пьеру и стала просить его, чтобы он пришел и помог ей, но Пьер собрался только через неделю, когда Эвелину уже забрали в дурдом.

Когда Пьер видел в метро или на улице людей в костюмах и галстуках, он кривился и говорил:

— Дерьмо, ломают комедию! Сидят себе целый день в своих конторах, а потом идут в кафе, жрут и треплются о своей работе!

Пожрать он и сам любил, он считал, что вообще все французы любят пожрать, без этого для них жизнь лишена смысла. Еще французы любят машины, для них машины — это как их детки, они их моют и ласкают, правда, сам Пьер предпочитал ласкать женщин, в трусах или без трусов, это все равно приятно, ни с чем не сравнимое ощущение. Самое прекрасное в мире - это женщина.

Пьер хотел, чтобы у него родилась дочка, мальчик был ему не нужен, хотя, если подумать, то мальчику тоже можно найти применение, вот его хороший знакомый, писатель Габриэль Мацнефф, знает, как надо с ними обращаться. Но Пьер боялся уголовного кодекса и тюрьмы, часто, просыпаясь в шесть утра, он горько плакал, когда слышал шум проходящего мимо поезда.

Однажды он шел по давно заброшенному пути, и, то ли это было на самом деле, то ли Пьеру просто показалось, но этот поезд перевозил заключенных. Пьер видел их всех: несчастные, они были заперты в огромном вагоне, как животные, именно как животные. Пьер ненавидел всех этих правителей, которые издевались над людьми и запирали их в тюрьмы.

Пьер мог бы долго ласкать свою доченьку, потому что предполагаемая мать должна была оставить их и уйти в неизвестном направлении. Пьер не сомневался, что так оно и будет. Но он не знал, как сделать так, чтобы все же заполучить этого ребеночка. Иногда он думал, что можно проникнуть в комнату к какой-нибудь девушке, что жила у него, ночью, когда она будет спать, и он тихонько оплодотворит ее сзади, она даже и не заметит. Но тут были сложности. Например, как сделать так, чтобы член стоял, это было не так-то просто, ведь по заказу этого не сделаешь. Пьер читал про дыхательную гимнастику, и иногда после серий глубоких вдохов и кратких выдохов его член вставал, но ненадолго, а ему надо было успеть за этот краткий промежуток време-

ни добежать до комнаты и вставить его зади в девушку, причем не ошибиться в выборе отверстия, иначе совершится содомия - а Пьер ненавидел этот акт. Так, один его знакомый постоянно содомизировал свою жену, и в конце концов у нее прорвалась перегородка между анальным отверстием и вагиной, и ее госпитализировали.

Пьер старался не думать об этом, он вообще жил настоящим мигом. Его подруга Анна, которой было двадцать лет, никогда не снимала трусов, она была девственница и Пьер напоминал ей ее отца (а может, это только ему казалось). Анна была молодая и здоровая, у нее была приземистая квадратная фигура, но восхитительная нежная кожа и груди как спелые груши.

Маруся тоже один раз видела Анну на Сергиевском подворье на рю де Крими, куда она как-то пришла вместе с Пьером. У Анны было прыщавое лицо и редкие зачесанные назад волосы. Там же Маруся встретила и странницу Марину с ее двумя дочками - они все были в низко повязанных платках и длинных платьях, и в руках у них были мисочки с бесплатным супом. Тощая женщина в очках сидела на ступеньке церковной лестницы и читала какую-то, вероятно, очень умную книгу, об этом говорил весь ее сосредоточенный вид и задумчивый взгляд поверх очков. Маруся почему-то подумала, что это Эмили, про которую ей рассказывала Агаша, секретарша Кати.

Агаша рассказывала Марусе, что Эмили очень ей помогла, потому что как-то раз Катя в очередной раз уехала в Россию, и Агаша осталась без денег, ей было не на что даже купить себе хлеба, а Эмили прислала ей деньги в конверте, причем на нем не было написано от кого, а просто стояла подпись : «Добрый ангел».

Пьер считал себя православным, однако, входя в храм, он никогда не крестился, а стоял и наблюдал за службой, гордо скрестив руки на груди, как правило, конца службы он не дожидался и выходил на улицу подышать свежим воздухом. Так было и в этот раз.

Пьер купил себе один сандвич и разделил его с Марусей пополам, а когда к ним подошел сербский философ с длинной черной бородой, большим круглым носом и веселыми маленькими глазками за толстыми стеклами очков, Пьер и ему купил сандвич и тот, жадно вцепившись зубами, стал есть. Звали его Слободан, это и был тот самый вернувшийся с Афона катин муж, которого Костя застал у нее, когда впервые пришел к ней в гости. Правда, Катя теперь решила развестись с ним, потому что полюбила Володоу.

Слободан действительно недавно вернулся с Афона, поначалу он собирался уйти в монастырь навсегда, но провел там только два года, так как самое тяжелое в монастыре — это постоянная жизнь в коллективе, а этого он не смог вынести. Так, во всяком случае, говорил он сам. У Агаши была другая версия его возвращения. Слободан, естественно, тоже был влюблен в Агашу, о чем она уже успела сообщить всем, кому только можно. Он преследовал ее,

устроивал сцены ревности, и в конце концов, решил уйти в монастырь, а вот теперь вернулся, не выдержав длительной разлуки с Агафьей.

Единственным мужчиной, который не был влюблен в Агашу, оказался новый возлюбленный Кати – Володя. Во всяком случае, никто никогда ни от кого об этом не слышал. Более того, Агаша и Володя терпеть не могли друг друга, и все об этом знали, да они и сами этого не скрывали. Возможно, причины этой глубокой взаимной неприязни заключались в том, что они оба жили на содержании у Кати, и это невольно делало их конкурентами. А между тем, Агаша и Володя были земляки, так как раньше оба жили в Воркуте. Благодаря этому обстоятельству, все кругом сразу же узнали, что Володя некоторое время был любовником женщины, возглавлявшей воркутинский обком партии, но когда та ему что-то не так сказала, ударил ее с двух сторон по ушам так, что у нее лопнули барабанные перепонки, отчего она оглохла. Рассказывая об этом, Агаша делала выразительный жест, как бы собираясь совершить хлопок, но не доводила руки до конца и останавливалась в том месте, где должны были находиться незримые уши секретаря обкома.

Папа Агаши, Самуил Андреевич Покровский, был известным адвокатом. В Воркуте он проходил практику как молодой специалист, да так там и остался. Потом он стал помощником депутата Съезда народных депутатов. После того, как депутата по пути из Москвы в Ленинград выкинули из поезда, он перестал нуждаться в услугах помощника, и Агашин папа уехал в Америку с молодой женой, бросив на произвол судьбы Агашу и ее маму. Агаша осталась жить в его квартире вместе с девяностолетней совершенно глухой бабушкой, которая целыми днями сидела в углу дивана и что-то бормотала себе под нос. Маруся как-то приходила к ней в гости и была поражена: квартира напоминала склад вещей – в прихожей было свалено несколько пар лыж, стояло два велосипеда, лежал даже скафандр водолаза, а полки были забиты самыми разными книгами: от учебников по сталеварению до собрания сочинений Хэмингуэя. Агаша тогда поймала удивленный взгляд Маруси и пояснила значительным голосом: “Это книги и вещи людей, которых защищал мой папа.”

Агашу сильно раздражало то, что, по мере происходивших в стране перемен, поступок Володи начинал приобретать совершенно неожиданную политическую окраску, так же как и ее возмущение этим поступком тоже могло быть неверно истолковано. В конце концов, она вынуждена была ограничить круг лиц, которым она могла поведать эту историю, и говорила об этом не сразу, при первом же знакомстве с человеком, как делала это поначалу, а только более внимательно к нему приглядевшись.

С тех пор Володя перепробовал множество профессий — был гальюнщиком на речном пароходе, грузчиком в порту, продавцом в магазине строительных товаров - пока однажды не увидел по телевизору вернувшуюся в Россию

Катю, которая к тому времени уже отошла от феминизма и обратилась к православию.

Однажды, еще в Петербурге Маруся стала свидетельницей странной сцены, смысл которой для нее так и остался до конца неясным. В одной из компаний, где Маруся случайно оказалась вместе с Катей, какая-то худая черноволосая женщина, тоже когда-то связанная с диссидентскими кругами, едва увидев Катю, вдруг начала трястись всем телом от возмущения, всячески демонстрируя ей свое пренебрежение и отвращение. Чуть позже, уже много выпив, она сделала многозначительную паузу и обратилась к Кате с вопросом:

— А Курочкину вы знали?

Та задумалась и через некоторое время ответила :

— Да...

Тогда женщина почему-то вскочив, вдруг завопила:

— Да-а-а! Да-а-а! Ну и что?

— А что вы имеете в виду? - с некоторым удивлением спросила ее Катя.

— А вот и то! А вот и то! - с еще большим возмущением выкрикнула брюнетка, и, в ярости толкнув стол, и разбив две рюмки, выскочила на кухню, где, нервно закурив, злорадно прошипела вышедшей за ней следом Марусее, передразнивая Катю:

— А что вы имеете в виду! Надо же, что за подлость! Та вышла из тюрьмы просто старухой, потеряла все свое здоровье, а она, видите ли, в Париже прохлаждалась! Что вы имеете в виду!

Маруся и потом часто слышала, как диссиденты обвиняют друг друга в сотрудничестве с КГБ, в подлости и т.п., но такую бурную реакцию ей довелось видеть впервые. Говорили, правда, что темноволосая дама была неравнодушна к Косте, который в тот вечер сидел рядом с Катей и, казалось, никого, кроме нее, не замечал.

С каждым днем становилось все холоднее, приближалось Рождество. Перед Новым Годом время растягивается и длится очень долго. Маруся стала замечать, что в последнее время оно стало куда-то проваливаться, в какую-то огромную черную дыру. Раньше каждое действие, поступок были осмысленны, а теперь что Маруся ни делала - все это проваливается и не имеет ни смысла, ни значения, ни длительности. Раньше она получала удовольствие от каждого своего жеста, ощущая его красоту и значительность, теперь же дни стали другими, они сжались, уменьшились до микроскопических размеров, их не стало, они ушли, исчезли, и их не вернуть назад никакими усилиями. Иногда кажется, что нарастает лишняя кожа, как на пятках и если ее содрать, что чувства снова станут прежними, эта гадкая кожа нарастает всюду - на лице тоже, в виде прыщей, угрей и бородавок. Эти угри можно давить

и ковырять до бесконечности, но ничего не изменится, только, может быть, в каком-то месте, вернее, в одной точке, чувствительность появится, но это ненадолго, потому что толстая кожа нарастает быстро сперва в виде тонкой плечочки как на глазу у курицы и этого достаточно - ты лишен способности четко видеть предметы вокруг себя, они расплываются в туманс - и вот он, синий туман, желтый туман, белесый, тошнотворный, тошнота чувствуется физически, когда пишешь, она немного уменьшается, потом возвращается снова. Кругом шелестят полиэтиленовые пакетики, люди с лицами, как у животных. Те, что похожи на котов - лучше, достойнейшие, красивейшие особи. Остальные - отвратительны.

Счастье иногда в воспоминании о синем море и зеленой траве, в соснах и во вкусе зеленого листа салата с майонезом и том синем камне, он искусственный, но все же драгоценный, его называют турмалин.

В детстве Маруся знала девочку по имени Клара, которая называла финнов турмалаями, она и про Марусю тогда сказала, когда увидела ее в доме отдыха:

— Я думала, ты хромая турмалайка.

Она тогда была пьяная и у нее была такая толстая кудрявая коса, и пепельные волосы, и молочно белая кожа и толстая-толстая задница, и вообще она была красивая, Клара, сексуальная. Она нарядила Марусю в джинсы и встала рядом с ней перед зеркалом, потом взяла ее под руку и изгибаясь как кошка, начала ластиться к ней:

— Ах как бы я хотела иметь такого мужика, как ты, он был бы такой красивый.

И Маруся почувствовала, что хотела бы стать мужиком для Клары, она почувствовала себя виноватой, что она не мужик, а так бы она обняла ее, на ней были такие красивые трусики, все в звездочках, которые красиво врезались в пухлое тело, и такие длинные розовые ногти. Она

берегла руки и говорила, что когда моет пол, всегда надевает резиновые перчатки. Ах как Маруся любила ее, она была прекрасна. Правда, она была глупая и спала со всеми подряд, в школе ее даже прозвали «Клара — бактериологическое оружие».

Она была влюблена в Ежика, но не давала ему, потому что про него говорили, что всех, кто ему давал, он сразу бросал. А тех, которые не давали, естественно, тоже бросал, ибо не видел никакого смысла болтаться с ними просто так.

Как-то вечером она шла с ним, усталая, и сгорбилась, а он как даст локтем ей в грудь и говорит:

— Ну что вымя повесила? Иди прямо!

А та девочка с красивыми круглыми глазами и круглым лицом, она тоже Маруся нравилась, но она стеснялась познакомиться с ней и попросила отца,

он тогда был в хорошем настроении, добрый и пошел к их столику, и они подружились. Они собирали маленьких рачков, их было очень хорошо видно, если смотреть в воду в стеклянной маске, как они переползают по песчаному дну на тоненьких ножках, таща на спине красивую завитую ракушку, и у них такие огромные выгаращенные глаза, но если их вытащить на сушу, они очень быстро умирают, ими можно любоваться только в воде. И еще там были медузы, огромное количество, после очередного шторма их прибило к берегу, и одна самая большая медуза была размером с огромное блюдо, и внизу под этим прозрачным куполом у нее была фиолетовая кайма, говорили, что такие медузы жгутся, потому что если медуза целиком белая и прозрачная, то она безвредная и не жжется, а медузы с фиолетовым внутри сильно жгутся. Они выбрасывали их на берег, и молотили палками, издавая какие-то воинственные крики, и медузы превращались в студень, в кашу, и вокруг у берега бились черные обломки досок, зеленые водоросли, такие приятные на ощупь, как шелк, и осколки стекла, найденные на берегу моря были такими гладенькими и порезаться ими было невозможно. И они часто мечтали о том, что как-нибудь ночью пойдут купаться, родители будут спать, а они пойдут только вдвоем, и будут купаться совсем голые, и прожектор, который стоял на пляже, будет освещать их белые тела, голые, как зародыши ос, внутри которых противно что-то чернеет. А вечером после захода солнца, когда оно еще не совсем ушло, а красным светом ложится на море, и песок еще не успел остыть, они мечтали о том, что хорошо бы уплыть куда-нибудь далеко-далеко вместе, в Турцию, потому что ведь там за морем находится Турция, или еще что-то, но главное уплыть ото всех, и долго быть только вдвоем вдали от всех.

После того, как Боря бросил ее, Трофимовой приходилось выкручиваться самой, она спекулировала икрой и еще чем-то, кажется, даже пыталась торговать картинами, но не очень успешно из-за большой конкуренции. Трофимова обычно бросалась скупать то, что уже и так хотели покупать все, и в результате оказывалась ни с чем. Несмотря на всю ее животную хитрость и живучесть, она не могла здесь конкурировать с теми, кто всю жизнь занимался картинами и делал на этом деньги.

Она знала Наташу Коршунову, которая уже давно скупала картины у советских художников, устраивала аукционы, а художникам платила процентов десять от вырученной суммы, и те были очень довольны. Коршунова даже выписывала из России художников, которые здесь на нее работали — писали то, что она заказывала, в частности саму Наташу в голом виде, хотя она уже была и не первой молодости — ей было за сорок. Во время сеанса она надевала на себя рыжий парик и так лежала, картинно закинув руку за голову, иногда, как была голая, вставала, подходила к художникам и давала

указания — эту сисечку так нарисовать, повыше, а здесь животик убрать и так далее — таким образом она увековечивала свой образ и в то же время омолаживалась. Правда, потом ее все-таки выдворили из Франции — когда там началась уже самая разнузданная борьба с иностранцами. У нее обнаружили человек десять русских художников, которые жили у нее кажется, в подвале, в жутких условиях и без документов — почти на правах проституток, которых набирали на работу за границу, суля золотые горы, а потом отбирали документы, запирали в комнате без окон и заставляли работать за харчи. Художников тоже выдворили из Франции. Тут еще обнаружилось, что Наташа скрывала свои доходы и не платила налоги — и вот ее прихватили и кажется даже лишили права въезда на территорию Франции, занесли в компьютер, короче...

Маруся видела ее один раз на вернисаже, на который ее привел Пьер, перед самым Рождеством. В Париже в это время все улицы были украшены красивыми елками, мигающими фонариками и флажками, везде были расставлены игрушечные Санта-Клаусы, а в магазине продуктов становилось с каждым днем все больше, хотя, казалось бы, больше уже невозможно. Маруся по дороге купила у уличного торговца большие оранжевые мандарины — правда, здесь они назывались клементины, и были более сладкими, чем обычные мандарины. Пьер уверял Марусю, что это совершенно новый сорт.

Наташа Коршунова стояла в окружении толпы бывших заслуженных советских художников. Один старый хрыч, весь увешанный медалями и орденскими планками, со своей женой, тоже, наверное, решил заработать себе на старость, потому что Союз Художников дышал на ладан, вот он и переквалифицировался из соцреалиста в импрессиониста или авангардиста. Во всяком случае, Маруся видела там одну его работу — огромная женская жопа розовато-смуглого цвета. Вообще-то, это была дама, лежащая на боку спиной к зрителю, но нарисована она была в таком ракурсе, что была видна только ее огромная задняя часть. Эта работа, кажется, заинтересовала французов, и ее собирался купить один состоятельный нотариус — а Маруся знала, что во Франции самые состоятельные люди это нотариусы и юристы. Был уже конец декабря, поэтому вернисаж как-то незаметно сам собой перерос в рождественский бал-маскарад. Начиналось все чинно и официально, но не прошло и сорока минут, как Маруся с трудом могла узнать присутствовавших на открытии выставки художников — такие с ними произошли метаморфозы. Старый хрыч с медалями, бывший завкафедрой живописи в институте имени Репина в Москве, нарядился гусаром, на его черные джинсы, выразительно подчеркивая тугую задницу, была нашита красная ленточка, а на голове у него красовался огромный тяжелый шлем — но не гусарский, с жестким, якобы конским волосом. Другой, тоже завкафедрой — но уже рисунка в том же заведении — нарядился зайчиком: у него были белые ушки, а сзади на штанах был

пришит пышный хвостик; еще у одного бородатого художника в очках, с пористым красным носом на голове красовались кокошник и белая фата. Тут же проводилась лотерея, на которой разыгрывались бутылки водки, шампанского, сухого вина, можно было выиграть и кое-что помельче, вроде погремущек или пачки “Мальборо”. Когда основные призы были розданы, все дружно отправились к стоявшим в глубине зала столам с закусками и выпивкой. Но особого веселья как-то не ощущалось. Вообще, обстановка показалась Марусе какой-то нервной: все стремились поймать друг друга на слове, и хотя явно не переругивались, но в каждом жесте ощущалась скрытая враждебность. Изрядно подвыпивший завкафедрой рисунка жаловался Марусе, что его снимают с этой должности и переводят на должность простого преподавателя, потому что он в годы застоя слишком явно выражал свои коммунистические пристрастия, а после перестройки до того зарвался, что устроил свою юную любовницу, которая сама училась всего лишь на третьем курсе, преподавать на факультете. Поэтому против него сплели сложную интригу, и один его ученик, которому он раньше очень помог и вывел его в люди, объединился против него вместе с деканом. Маруся огляделась по сторонам и заметила здорового мужика, видимо, тоже художника, пришедшего на карнавал в форме офицера советской армии — он отплясывал бешеный танец, гремя сапогами.

Наташа Коршунова была одета в черный пиджак и черные короткие штанишки, у нее были черные аккуратно подстриженные челочкой на лбу волосы, она улыбалась такой блядской улыбочкой, глядя снизу вверх на стоявшего рядом с ней высокого носатого француза, и хихикала, а ее круглые розовые щечки так и лоснились. Помимо посетителей и художников на вернисаже были еще и цыгане, один цыган в красной шелковой рубашке картинно расхаживал с гитарой а тощая француженка, очевидно, потрясенная таким количеством «русского стиля», вдруг в подпитии пустилась плясать, тряся плечами и визгливо напевая какие-то непонятные слова. На столе были расставлены закуски а-ля фуршет, маленькие кусочки ананасов, насаженные на палочки, кусочки колбаски, бутербродики с искусственной икрой отвратительного вкуса и прокисшее шампанское — возможно, продукты для закуски Наташа тоже нашла на помойке, хотя внешне выглядело все очень красиво — ничего не скажешь — еще там были помидоры и ананасы, образующие какие-то диковинные гирлянды. Марусе очень хотелось спереть один ананас, но никак не удавалось — вокруг все время был народ. Пьер же был очень доволен, жрал и пил за троих.

Потом ночью Маруся слышала звуки, как будто кто-то блюет. Наутро Пьер сообщил ей, что икра была несвежая и он отравился. Маруся подумала, что вероятно, не только икра, но промолчала. Ей к счастью повезло и она не блевала.

Когда-то давно, когда она еще училась в школе, в канун Рождества Маруся шла по заснеженному Невскому, мела метель, и в глаза ей летел мокрый снег, острые снежинки больно кололи лицо, когда она вышла на набережную Невы, ветер стал просто невыносимым, он визжал в ушах, и сносил Марусю куда-то вбок. Обычно Рождество с детства ассоциировалось у Маруси со стихами Блока, и даже его портрет, который уже очень давно висел в ее комнате, казался ей словно подернутым инеем, голубые глаза как морозное небо в ясный день, волосы — каждая волосинка отдельно, как это бывает при сильном морозе, когда волосы покрывает тонкий иней, и весь его облик какой-то странно таинственный и чудесно далекий виднелся словно в дымке воспоминаний детства, и тут же представлялась наряженная елка, увешанная игрушками, и запах мандарин, и шурушащие обертки конфет и даже крашенные золотой и серебряной краской орехи — Маруся потом среди старых елочных игрушек в деревянном ящике нашла скорлупки, на которых виднелись остатки этой краски. И старые елочные игрушки — серебряный дельфин с плавниками и хвостом из кусочков голубой губки, желтый цыпленок с таким же красным клювом, ярко-зеленая стеклянная елочка, на ветвях которой застыл серебряный выпуклый иней, белый стеклянный мальчик с лопаткой в руке и в сиреневой лыжной шапочке, и сиреневый пингвин, прижимавший крылом к толстому боку бутылку с микстурой. Там же был Дед Мороз, сделанный из тонкой блестящей бумаги, весь набитый ватой, которая торчала из образовавшихся от времени дыр, в нежно розовых рукавицах, в нежно-голубой шапке, подпоясанный красным поясом, и державший в одной руке желтый мешочек. Лицо у него было фарфоровое, тонко раскрашенное кисточкой, и длинная белая ватная борода спускалась до самого пояса.

И Блок, который всегда был для Маруси самым прекрасным поэтом, она с ним даже разговаривала во сне, и он являлся к ней — она на самом деле видела его высокую стройную фигуру в сером костюме, озаренную каким-то неясным колеблющимся светом — и он был для нее как бы одновременно воплощением Петербурга и Рождества, и это рождало в ней именно то ощущение, которое она пыталась снова воскресить здесь, в Париже, и которое как будто уже умирало в ней, как будто уходило в какую-то унылую желтую вату.

Марусе иногда бывало так страшно и тоскливо, особенно часто это бывало ночью, когда она просыпалась перед самым рассветом, как будто она совсем одна и никто ей не поможет, и очень страшно будет умирать, но одно утешение, что это еще не скоро, и лучше об этом не думать, лучше стараться думать о чем-то другом или заняться чем-то отвлекающим.

Иногда, когда Маруся выходила из дома в Жмеринке поздно вечером в туалет, и видела в небе одинокую звезду, стоило посмотреть на нее, как она влекла и притягивала к себе и вот уже было невозможно сдвинуться с места

или подумать о другом или даже вернуться в дом. так можно было стоять до самой смерти, хотя она еще и не скоро. Или когда Марусю везла на санках бабушка, которая была вся закутана в платок и Маруся тоже, был очень сильный мороз и снег скрипел под полозьями санок, Маруся видела в черном небе огромную луну в дымке, эта дымка была от мороза, а мороз был такой, что даже в горле и в носу щипало и больно было дышать, поэтому бабушка закрыла ей нос и рот платком. И тогда уже Маруся боялась смерти и знала, что умрет. А теперь это все ближе и даже нет утешения, что еще не скоро, может, уже и скоро, и нельзя отвлечься от этих мыслей, они все навязчивее и навязчивее.

Маруся однажды видела у метро старика, сидящего прямо на каменном полу, он был грязный, оборванный и от него сильно пахло мочой, он сидел, вытянув ноги, так что в глаза бросались подошвы его пыльных ботинок. Он повернул голову и бессмысленным взглядом рассматривал ее, а она не решалась смотреть на него прямо, чтобы он не заметил и не попытался завязать разговор, но это была напрасная предосторожность, потому что он уже, очевидно, достиг состояния растения и такие функции, как речь, у него атрофировались. Ему это было не нужно, он просто жил.

Помимо продажи картин, Трофимова обслуживала новоявленных богачей из России, так называемых «новых русских». Они приезжали красиво потратить деньги в Париж, им хотелось покутить и погулять, и нужен был человек, который бы показал им магазины, рестораны, бары и прочие достопримечательности Парижа. Трофимова прекрасно для этого подходила. Ее знакомый в русском консульстве сообщал ей, когда приезжали нужные люди. И платили ей очень неплохо - франков по двести в день, да еще к тому же бесплатно кормили в ресторанах, куда она ходила. Трофимова все еще не смирилась с тем, что ее бросил Боря, она по-прежнему каждый день звонила Марусе и рыдала в телефонную трубку.

Маруся и сама чувствовала себя не лучшим образом, оттого, что жила в доме Пьера и каждый день наблюдала перед собой его красную физиономию с перекошенным ртом, когда он начинал смеяться, он широко его разевал и там в глубине трепетал его красный язычок. Все это в сочетании с обломками торчащих оттуда гнилых зубов производило странное впечатление, причем спереди у Пьера сохранились два зуба, они были какого-то желтовато-красного цвета, как будто на них смешались кровь и гной, и Маруся, когда смотрела на них, чувствовала приступ тошноты. Если Пьер шел по улице и какой-нибудь идущий навстречу с матерью ребенок говорил :

— Мама,— Пьер подхватывал его слова как эхо :

— Мама, мамочка... — Голос его становился кукольным, в нем звучало сладострастие, и этим сдавленным голоском он еще долго продолжал повторять:

— Мамочка, мамочка... — он все время рассказывал Марусе, как он в детстве был несчастлив, потому что его мама не любила его. Однажды Маруся нашла старую фотографию, где была снята его мать, молодая и худая, а два стоявших рядом с ней маленьких мальчика весело и беззаботно смеялись, она сказала, что вот, все же они были счастливы, раз смеются. Пьер очень обиделся, надулся и не разговаривал с ней два дня.

Потом он сменил гнев на милость и даже пригласил Марусю в китайский ресторан. Они пошли по старому заброшенному рельсовому пути, это была узкоколейка, которой уже никто не пользовался, вокруг насыпь заросла колючими кустарниками, было холодно, и Пьер дал Марусе свое старое драповое пальто. Маруся продиралась сквозь заросли этих кустарников, цепляясь за них длинными полами пальто. Неожиданно они наткнулись на каменный забор, Пьер перелез через него, а Маруся за ним, хотя она уже ужасно была зла на него, что он заставляет ее ползать по каким-то зарослям и лазить через заборы. В конце концов, они все-таки добрались до ресторана, где все стоило недорого, и даже вдвоем они могли поесть всего на пятьдесят франков. Пьер всегда брал к обеду бутылку красного вина, причем на сей раз он долго обсуждал с хозяйкой, какое вино лучше взять, хотя, на самом деле, он конечно предпочел бы подешевле, потому что денег у него было не так много. На второе он заказал рис с консервированными побегам бамбука и еще что-то острое, какое-то мелко нарезанное мясо в соусе, потом не удержался и взял еще бутылку вина. Выпив и пребывая в хорошем расположении духа, он вступал в разговор с официантами, которые одновременно были и хозяевами ресторана. Он рассказал им, что Маруся приехала из России, из Санкт-Петербурга, а китайцы сузив глаза и улыбаясь кивали головами. Непонятно было, знают они, где это, или нет. Однако Пьер не отставал от китайцев, пока один из них не ответил ему что-то более или менее связанное, оказалось, они вообще не знают такой страны, как Россия, не то что города на Неве.

Расплатился Пьер специальными талонами, называвшимися «tickets de restaurant», которые ему выдавали на работе.

Уходя, Пьер забыл в ресторане на спинке стула свою кожаную сумочку, которую незадолго до того нашел на улице, она была из хорошей кожи, к тому же там были документы Пьера. Он почти сразу же обнаружил пропажу и бегом вернулся в ресторан. Китайка с поклонами вернула ему сумочку в целости и сохранности, и Пьер все повторял Марусе, что у них во Франции всегда так.

Вскоре после этого Маруся попала в больницу с приступом желчекаменной болезни, и ей сделали операцию. Перед этим Маруся съела артишок и сердце артишока с майонезом, а потом арбуз и ночью ей стало плохо, у нее начались ужасные боли, она чувствовала, как острые камни проходят по протокам, доставляя ей ужасные мучения, сперва она терпела, а потом позвала Пьера. Он явился в серых кальсонах, на его шее было намотано какое-то тряпье, а на голове надет красный вязаный берет - так он спал, потому что в доме было холодно. Он предложил Марусе идти в больницу. Маруся сказала, что она не может идти, потому что у нее приступ, она и шагу не могла ступить от боли. Она попросила его вызвать «скорую помощь». Но Пьер сказал, что вызов «скорой» стоит от пятисот франков, и есть ли у нее деньги, чтобы за это заплатить. Маруся сказала, что таких денег у нее нет и стала рыдать, потому что боль стала невыносимой. Тогда Пьер, чертыхаясь, сказал, что сам отвезет ее на своей машине в ближайшую больницу. Маруся обычно боялась ездить с Пьером, но выбора не было. Пьера, кажется, очень пугало, что Маруся может умереть у него в доме, и у него будет много хлопот с ее трупом. Поэтому он и решил везти ее в больницу.

Они подъехали к большому серому зданию, оно находилось в Аньер, недалеко от Буа Коломб, потому что в самом Буа Коломбе больницы не было. Там Маруся сперва ждала в приемном покое, а потом ее пригласили войти в комнату и лечь на каталку. Она улеглась, к ней приблизился носатый молодой человек, попросил ее раздеться и стал щупать ей живот. Потом он дал ей градусник и попросил ее вставить его в задний проход. Маруся молча исполнила это, ей было совершенно все равно, потому что у нее ужасно болел живот. Вскоре ее отвезли на эхографию и там действительно обнаружили, что камни движутся по желчной протоке. Потом ей сказали, что нужно оставаться в больнице и делать операцию. Пьер пытался протестовать. Он боялся, что его заставят платить, и поэтому все время повторял, что денег у него нет — «и у нее тоже» — добавлял он и указывал на Марусю. Чернявый ассистент сказал Пьеру, что нужно остаться, что операция пустыковая, и что желчный пузырь вообще ни к чему.

— Как так ни к чему? — возмутился Пьер. — А зачем же тогда его создал Господь Бог?

Пьер любил вступать в дискуссии с продавцами, медсестрами и полицейскими. Ассистент ничего ему не ответил и молча ушел.

Марусю подсоединили к капельнице, положили на каталку и повезли на третий этаж, в палату. В палате кроме Маруси находилось еще две женщины — одна лет сорока все время ужасно стонала и рыдала, а другая — огромная толстая старуха с коричневым лицом сидела на кровати и умиротворенно покачивая головой, осматривалась по сторонам. Оказывается, ее уже

выписывали, и на следующий день ее место заняла молодая толстая арабская женщина. Всю ночь Маруся не могла спать от стонов и криков женщины, находившейся слева от нее, у окна. Оказалось, что у нее было прободение язвы желудка и одновременно приступ желчекаменной болезни. Ей ничего не помогало, она стонала и плакала, и никто к ней не приходил. Потом пришла молодая плечистая сестра и сказала ей, чтобы она замолчала, так как тут ничем помочь нельзя. Только под утро, когда ей сделали укол морфия, она успокоилась и заснула.

К Марусе же в три часа ночи пришли сестра и врач и запихнули ей через нос пластмассовый желудочный зонд. Этот зонд они подключили к какой-то трубке, которая торчала над головой у Маруси, и по этой трубке побежала какая-то жидкость, то темно-зеленого, то желтого цвета. Маруся с интересом наблюдала за этим, но трубка причиняла ей ужасные мучения, и она думала, долго ли ей придется это терпеть, она даже спросила об этом медсестру, но та только развела руками и сделала такие грустные глаза, что Маруся поняла, что долго. Весь день и всю ночь она лежала с трубкой, причем спать с ней было невозможно, потому что при любом повороте головы или туловища она сразу чувствовалась в желудке или в пищеводе. Днем нужно было вставать и делать свой туалет.

Женщина слева от Маруси, та, что была в тяжелом состоянии, не могла встать и лежала весь день и стонала. К ней даже пришел муж и ее дети, наверное, они думали, что мама уже умирает, у них были очень испуганные лица, и они тихо переговаривались, муж потребовал главного врача, и тот, кажется, успокоил их, сказав, что ее будут оперировать.

Маруся тоже знала, что и ей предстоит операция, завтра или через день. К ней приходил Пьер навестить ее, он был пьяный и веселый. Он принес ей в подарок розовый цветок в горшке и еще пачку розовой же туалетной бумаги, которую он спер, скорее всего, в Центре Помпиду. Все в палате смотрели на Пьера с изумлением, особенно молодая арабская женщина, которая откровенно уставилась на него и даже открыла рот. Пьер улыбнулся ей и завел разговор о том, как он воевал в Алжире и какие там красивые женщины. Арабская женщина мечтательно зажмурилась и сказала:

— Да, там очень красиво... Там горы...

Она была еще молодая — двадцать три года, очень толстая, но все равно очень хорошенькая — у нее были выющиеся волосы, бледная матовая кожа и большие карие глаза. В воскресенье к ней приходила вся ее семья — муж, отец, мать и ее дочка — ей было года три, тоже очень хорошенькая девочка. Она забиралась на кровать на огромный живот своей матери и сидела там, как на горке. Мать арабской женщины была в длинном платье, похожем на ночную рубашку, волосы у нее на висках были заплетены в косички и выкрашены в рыжий цвет, так что седины не было видно, вокруг глаз у нее была

нежно-синяя татуировка и на щеке тоже, на голове была накладка, она все время садилась у изголовья своей дочки и долго с ней целовалась. Отец же был в шапке пирожком, пиджаке и вязаной разноцветной жилетке. Все зубы у него были золотые. Он смотрел на Марусю и улыбался. Маленький и тощий муж арабской женщины тоже садился к ней на кровать и они подолгу обнимались, шептались и целовались. Маруся подумала, что если бы не присутствие на кроватях еще двух незнакомых женщин, то они спокойно могли бы совершить половой акт, а в общем-то и на женщин было наплевать, скорее всего, он просто боялся, что могут зайти врачи или еще кто-то из больничного персонала.

В воскресенье состоялся большой врачебный совет, толпа человек из двадцати в белых халатах ходила из палаты в палату, впереди шел высокий лысый мужик, а за ним бежал маленький в золотых очках паренек с челочкой, ровно подстриженной на лбу и все ему объяснял. Он делал это так энергично и старательно, что мужик поневоле кивал ему и улыбался. А паренек так и лез вон из кожи, так и старался влезть ему буквально в рот. Вероятно, тот бы его начальником. Когда очередь дошла до Маруси, то начальник снисходительно наклонил голову и спросил:

— Comment ça va?

Маруся ответила, что «bien». Маленький стал рассказывать марусин диагноз и сказал, что через пару дней ее будут оперировать. Главный наклонил голову в знак согласия, и они прошли к следующей кровати, где стонала старая француженка. Тут главный нахмурился и сказал, чтобы ее немедленно готовили к операции. Как только он ушел, к кровати той сразу же подскочили расторопные санитары, раздели ее, и стали обтирать губками, предварительно макая их в какой-то раствор. Желудочный зонд, который торчал у нее из носа, как и у Маруси, выгасили, и она лежала на кровати, блестя мокрым тощим телом. Потом пришли санитары, надели на нее накидку яркосинего цвета, завязали тесемки на шее и покатали ее прямо с кроватью в коридор.

Маруся с ужасом подумала, что скоро это предстоит и ей. Соседки не было очень долго, ее привезли обратно только поздно вечером, когда было уже темно. У нее из-под одеяла свисали два пластиковых прозрачных пакета - в одном была жидкость красного цвета, а в другом - желтого. Маруся старалась не смотреть туда, она так и представляла себе, что завтра и у нее из живота будут тянуться такие же пластмассовые трубки с пластиковыми пакетами на концах. Соседка была еще под наркозом, то есть в полусне, и все бормотала какое-то слово, Маруся никак не могла понять, что она говорит.

На следующий день Марусю повезли в Кламар, чтобы сделать ей эндоскопию. Оказалось, что во всей Франции только в Кламаре можно сделать такой анализ и что его непременно нужно сделать, чтобы узнать, можно

ли Марусю оперировать сейчас или нет. Ее переложили с кровати на каталку и прямо на этой каталке вкатили в машину скорой помощи, и они поехали в Кламар. Капельницу Маруся держала в руке, только потом ее подвесили на специальный крючок к стене в машине. Трубка тоже торчала из носа у Маруси, но она все еще надеялась, что ее скоро выгашат, хотя она уже начала привыкать к этой трубке, и почти ее не замечала. Она с удивлением отметила, что можно привыкнуть к самым мучительным и неудобным вещам и даже не замечать их. Она ехала лежа, ей было удобно, и она смотрела в окно на проносящиеся мимо дома, домики, деревья, везде на дорогах были синие панно с указанием направления и расстояния в километрах. Маруся боялась этого анализа уже заранее, поэтому ей хотелось, чтобы они ехали как можно дольше. Ее сопровождал молодой негр, он молча сидел у нее в ногах и тоже смотрел в окно. Когда они приехали, Марусю также на носилках выкатили из машины и покатали по коридорам. Потом привезли в палату, где на возвышении в углу стоял телевизор, медсестра в синем халате дала ей заполнить длинную анкету, где было множество вопросов о том, чем Маруся болела, какие заболевания были у ее отца и матери, и тому подобное. Потом анкету у нее забрали, и медсестра с улыбкой сказала, что нужно подождать, потому что какой-то там главный врач, который обычно проводит этот анализ, еще не подошел. Маруся лежала и с тоской смотрела в телевизор, где шел фильм «Санта-Барбара». Он шел здесь во Франции уже шесть лет. Наконец за ней пришли, ей пришлось перелезть с одной тележки на другую, специальную, и ее отвезли в зал, где было много народу в синих халатах, и все улыбались Марусе, а потом попросили ее лечь на правый бок и она подумала, что сейчас дадут наркоз, и действительно, она видела, как несильно подошедшая девушка отсоединила трубку, идущую в ее вену, от капельницы, и шприцем ввела туда какую-то жидкость, и Маруся подумала, что обязательно поймает миг, когда она будет засыпать, и успела заметить, как фигуры врачей и сестер в синих халатах становятся все более расплывчатыми, как будто в комнату вдруг напустили туман, и совсем внезапно все исчезло. Она проснулась в другой комнате, на ней было синее одеяние, такого таинственно синего цвета, как глубокий сон, звездное небо или смерть или анестезия, или наркотик — цвета, притупляющего боль.

Очнулась Маруся в той же комнате с телевизором оттого, что ее настойчиво звали и трясли. Оказывается, все уже было позади, и только непонятная припухлость во рту изнутри на нижней губе говорили Марусе о том, что ей что-то пихали в рот. Но трубки у нее в носу не было — какое счастье, можно было немного отдохнуть, хотя она и была уверена, что, как только она очутится в больнице, ее снова вставят. Маруся была в полусне, и вдруг увидела рядом с кроватью какого-то мужика в пиджаке с седыми волосами и неестественно белым зубами, он смотрел на нее и улыбался. Маруся тоже ему улыб-

нулась, потом она на какое-то время прикрыла глаза, а когда открыла их снова — рядом уже никого не было. Мужик исчез. Маруся подумала, что ей почудилось, и все же этот загадочный мужик ей кого-то напомнил, или же она его видела раньше. Потом, уже много позже, Пьер сказал, что к ней заходил его брат, Жан-Франсуа, который работает в той же больнице кардиологом. Потом за ней пришел санитар, и ее снова на машине “скорой помощи” перевезли в больницу. Когда она очутилась в палате, ей забыли вставить в нос трубку, и она какое-то время лежала спокойно. Но потом появилась медсестра и указала, что трубка должна быть вставлена, другая пыталась ей возразить, что, может, не нужно, но первая сказала, что указаний врача на этот счет не поступало, и трубка снова вернулась на прежнее место. В тот же день Марусе сделали еще и сканирование. В перерывах между всеми этими процедурами к ней постоянно подходили санитары и санитарки, черные и белые, и делали ей уколы или брали анализ крови из вены или из артерии. Особенно больно брал у нее кровь из артерии негр, он был какого-то устрашающе черного цвета, с маленькими красными глазками, а на шее у него висела толстая золотая цепь. Маруся стала его бояться и, когда он подходил к ее кровати, вздрагивала. Пьер говорил ей, что негры очень подозрительные и недоверчивые, поэтому с ними нужно вести себя осторожно и не давать им повода для подозрений. Потом Марусю отвезли на сканирование, на этот раз в кресле на колесиках, хотя она вполне могла идти самостоятельно, причем вез ее в этом кресле Пьер, как раз пришедший навестить ее. Сканирование происходило в самом низу, на первом этаже больницы, перед этим ей дали выпить целый графин отвратительной молочно-белой густой жидкости, но вкус у нее был кисленький, наверное, французы, чтобы было не так противно, сделали ее приятной на вкус. Но все равно даже сквозь этот вкус прослеживалась, сквозила какая-то гадость, не то, чтобы это был привкус, но, скорее, сама идея этого напитка, что он просто должен быть отвратительным на вкус, а не таким конфетно-кисленьким, как его пытались сделать.

Марусю ввели в кабинет, там французенка в очках попросила ее лечь, она легла, и ее вдвинули в какую-то круглую камеру, сказав перед этим вытянуть руки вверх над головой. Когда она так сделала, рядом с ней появилась еще одна медсестра и сказала ей, что сейчас будет очень жарко. С этими словами она ввела из огромного шприца Марусе в вену какое-то лекарство. Марусе действительно стало очень жарко, и кожа на руке вокруг того места, где ввели лекарство, сильно покраснела. А другая французенка в это время кричала ей:

— Дышите!... не дышите!..

Маруся повиновалась этим крикам, а в это время круглая камера над ней двигалась; жужжала и шелкала. Марусе было плохо, больше всего ей было страшно, что она задохнется в этой жуткой камере, к тому же тем временем

ей снова ввели «продукт, от которого становится жарко во всем теле». Потом, наконец, процедура была закончена, и ее снова усадили на кресло и отвезли в палату. Маруся думала, что она сама могла бы идти, но раз уж ее возили, то она не возражала и изображала из себя слабую больную, хотя на самом деле чувствовала себя прекрасно. Единственно, она чувствовала слабость, потому что уже несколько дней ничего не ела и не пила, но ей сказал врач, что все необходимое питание она получает через капельницу.

Наконец все анализы были готовы, и врачи сказали ей, что операция состоится завтра. Маруся, правда, тешила себя надеждой, что, может, она что-то не так поняла, не так расслышала, все же говорили они по-французски, и Маруся часто чувствовала себя как в тумане среди всей массы этих незнакомых слов и предложений. К тому же они все говорили по-разному - одни шепелявили, другие глотали слова, третьи заикались - в общем, часто она вообще начинала плохо соображать и чувствовала как будто дурман от этого обилия незнакомых слов. На нее как будто напал приступ идиотизма, и она начинала сама плохо говорить, коверкать слова и фразы и вообще вызывала удивленную улыбку французов, которые за минуту до этого говорили ей комплименты по поводу прекрасного владения языком. Маруся объясняла это усталостью, потому что очень тяжело все время говорить на иностранном языке. У нее над головой у кровати висел телефон, ей могли звонить, а она — нет, потому что за подключение этого телефона нужно было платить двести франков. Первой Марусе позвонила сестра Пьера Эвелина и два часа рассказывала ей историю своего брака.

Арабской соседке Маруси тем временем поставили телевизор — за это заплатил ее муж — пользование телевизором стоило сорок франков в день. Пришел мастер, установил телевизор и подключил его. Арабская соседка смотрела по своему выбору все развлекательные передачи - в основном там были игры, игра по угадыванию слов, похожая на наше «Поле чудес», игра по угадыванию цен, и еще множество каких-то игр, смысла которых Маруся не понимала, но которые все сводились к тому, что их участники выигрывали деньги, или поездку за границу, или какую-нибудь технику. Ну и опять-таки «Санта-Барбара»... Арабская соседка с увлечением смотрела все это и комментировала вслух. Маруся не понимала почти ничего из ее слов. У нее был очень сильный акцент. Маруся пыталась с ней говорить, как и с той французенкой, что лежала у окна и постепенно приходила в себя после операции. Но вскоре она с изумлением заметила, что эта соседка тоже плохо понимает Марусю, хотя усердно кивала ей и говорила: — Да... Да... Да что вы?

Теперь к той каждое утро приходил расторопный бодрый санитар с крючковатым носом, бодро помогал ей слезть с кровати, сажал в кресло, перестилал ей постель и помогал помыться, то есть сперва он сам мыл ее всю с

головы до ног, а потом она постепенно стала сама ползать в туалет, волоча за собой капельницу, и придерживая другой рукой мешочки, которые тянулись из двух дырок в ее животе. Эти мешочки пугали Марусю больше всего, и она вся тряслась при мысли о том, что у нее будут такие же. Поэтому когда внезапно пришли за ней и сказали, что она едет на операцию, она вдруг затряслась и зарыдала. Все засуетились вокруг нее и стали говорить, что это не страшно и дали ей белую таблетку и воды, чтобы запить. Маруся таблетку проглотила, но все равно горло ей периодически сжимали спазмы, и она вся начинала трястись. На лифте ее привезли в операционную, тут ей на голову надели шапочку бледно-зеленого цвета и такой же передник, а перед этим еще в палате на ней был надет халатик синего цвета. Она потом поняла, что синий цвет — это цвет анестезии, а зеленый — уже операционной. Ее ввели в зал, где все блестело и сверкало, но света было не так много, Маруся же все равно было очень страшно, и она тряслась помимо своей воли. Медсестра объяснила ей, что для них это совсем простая, совсем обычная операция и бояться не стоит, потом пришел высокий араб, и ей сказали, что это хирург, который будет ее оперировать. Маруся попыталась ему улыбнуться, но лицо было сведено судорогой, и улыбки не получилось. К Марусе снова подошла медсестра и пустила ей в вену из шприца жидкость. Маруся поняла, что это наркот. Потом все провалилось.

Маруся проснулась оттого, что ее трясло от холода, она вся тряслась и с удивлением обнаружила, что она совершенно голая. Вокруг нее хлопотали врачи и медсестры, вытаскивали у нее из носа трубки, и укрывали ее электрическими грелками.

Оказывается, операция проходила при очень низкой температуре — это ей объяснили потом — поэтому она вся замерзла. Маруся потом пыталась вспомнить хотя бы одно ощущение, как же ей все-таки делали операцию — и ничего не могла вспомнить. В животе у нее все болело, и она даже боялась смотреть на него — она была уверена, что у нее из живота тянутся такие же ужасные трубки, как у той французенки.

Потом ее отвезли в палату. Пришел Пьер, снова пьяный, на лбу у него блестели крупные капли пота, пот прямо стекал ручьями и рубашка у него на спине была вся мокрая. Он радостно сообщил, что приехали Настя и Валера — художники из Москвы, и они вместе выпили за здоровье Маруси. Пьера очень заботил вопрос оплаты услуг врачей и больницы. За день до операции он уже предлагал Марусе уйти, но Маруся после всех перенесенных мучений думала, что уж лучше дотерпеть до конца. Пьер же боялся, как бы его не заставили платить. Марусю в больнице не кормили и не поили, — значит, платить за питание не придется.

Арабская женщина тем временем со слезами стала рассказывать Марусе, что после родов она стала идиоткой, она теперь даже не умеет считать,

и все это из-за врачей, потому что они сделали ей неправильный наркоз, и теперь она стала совсем глупая, а раньше она была очень умная и хорошо училась в школе. К тому же она постоянно стонала и требовала себе судно. Санитары не шли, их приходилось ждать долго, она звонила несколько раз, и один раз она даже не вытерпела и обмочилась, и со слезами рассказывала об этом пришедшему санитару. Тот ей посочувствовал, но видно было, что ему совершенно плевать на эту иностранку, и что даже если она пожалуется, ему все равно за это ничего не будет — даже с работы не выгонят, потому что все так считают — недовольна, так посзжай обратно к себе в Алжир, нечего здесь доставать порядочных французов, и без тебя работы хватает.

Маруся уже на другой день после операции встала и самостоятельно пошла в туалет. Ей не хотелось звать этих наглых негров, которые нехотя пихали тебе судно, как будто делали величайшее одолжение. Утром после операции к Марусе тоже пришел бойкий санитар и стал обмывать ее губкой, он помыл ей все, даже между ног, а потом она слезла с кровати, и он поменял ей белье. Тут Маруся к своей радости обнаружила, что у нее на животе всего четыре небольших белых пластыря, и совсем нет никаких трубок. Ее радости и удивлению не было предела. Она была совершенно уверена, что трубки есть, она думала, что так делают всем. А потом пришла сестра и в стеклянной коробочке дала ей камни, которые извлекли из ее желчного пузыря. Камней было много, они все были ровненькие и кругленькие, только два или три камня были побольше. Маруся долго любовалась на них, потом убрала в ящик.

Снова пришел Пьер, и, смочив бумажную салфетку в одеколоне, стал обтирать Марусю лоб, тем самым проявляя о ней заботу, наверное, он видел в кино, как больным так утирают со лба пот. Марусю затошнило от резкого запаха этого одеколона, она попыталась отвернуться, но ничего не сказала Пьеру, не желая его обижать. Потом Пьер поцеловал ее в лоб, оставив у нее на щеке каплю пота и торжественно удалился, полы его расстегнутой клетчатой рубашки гордо развевались. Маруся проводила его глазами и отметила, что штаны сзади сильно врезались ему между ягодиц — было видно, что трусов он не носил, значит, он говорил ей правду.

Маруся с надеждой подумала, что, возможно, скоро ей дадут поесть, вот уже неделя, как она ничего не ела и не пила. Арабская соседка уже давно ела и победоносно посматривала на Марусю. А Марусе есть никто не давал. У нее брали анализы по несколько раз в день, опять стали бегать негры с резиновыми жгутами, ампулами и иглами, у нее брали кровь из артерии и из вены, и еще ей давали пробирочку и просили туда помочиться. Оказывается, они торопились к обходу врачей. Наконец все анализы были готовы, снова пришла вереница врачей в белых халатах, и высокий француз с орлиным носом сказал, что ей можно начинать есть. Маруся поинтересовалась, а что

же она может есть, и француз, многозначительно вытаращив глаза и наклонившись к ее кровати, отчеканил:

— Теперь вы можете есть все!

Маруся очень обрадовалась, она уже забыла, как вообще происходит процесс приема пищи. Сначала ей сказали, что у нее будет диетический стол, но потом внезапно тот же главный врач все отменил и сказал, чтобы ей давали обыкновенную еду. И ей принесли огромный кусок колбасы с томатным соусом, картофельное пюре, маринованную капусту, и на десерт шоколадный крем и яблоко. Маруся с ужасом смотрела на все это, она просто боялась это есть, к тому же она слышала, что после такой операции нужно есть все диетическое, а ей сразу же давали кусок колбасы с томатным соусом. Она знала, что французы любят проверять на иностранцах новые методы лечения, потому что иностранцы все равно не могут никому пожаловаться. Но она съела все. Она сразу же почувствовала непривычную тяжесть в желудке и улеглась на кровать, ожидая результатов. Но ничего особенно страшного с ней не произошло.

У нее на животе еще оставались наклеенные пластыри, и вот вечером пришел негр с клещами, похожими на кусачки, какими выдирают гвозди из стены. Маруся ужасно испугалась, а негр молча отклеил ей пластыри на животе, и она увидела, что там в коже завязаны какие-то тонкие проволочки, и одна проволочка торчит из пупка. Негр аккуратно стал перекусывать эти проволочки щипцами, а Марусе даже совсем не было больно, она напрасно боялась, оказалось, что это совсем не больно. Но она никак не могла понять, каким же образом ей сделали операцию — на животе не было ни шрамов, ни рубцов, никаких разрезов — только небольшие следы, как будто дырочки. Наверное, они вытягивают желчный пузырь через эти дырочки и через пупок — подумала Маруся. Но все равно ей трудно было себе представить, как это все происходит.

Пока она лежала в больнице, сильно похолодало, небо было серым, часто шел снег с дождем, вскоре ударили и настоящие морозы — и когда в палате открывали окно, чувствовался холод. В доме у Пьера, наверное, настоящий колотун — подумала Маруся, она знала, что отопления там нет. Вскоре ей сказали, что ее выписывают. Это произошло внезапно. Пришел врач и сказал:

— Завтра вас выписывают.

Маруся обрадовалась, а он посмотрел на нее с недоверием и спросил:

— Вы довольны?

Наверное, ему было странно видеть хоть одного пациента довольного тем, что его скоро выписывают, обычно в больнице старались задержаться подольше, чтобы бесплатно есть, пить, и лежать в тепле. Вот арабская соседка Маруси, услышав о выписке, чуть не расплакалась, а врач смотрел на нее с

явным удовольствием и насмешкой. Она пыталась говорить, что у нее болит и там, и сям, но он не реагировал на это и только повторял :

— Завтра вы уходите, — а потом, повернувшись, вышел. Марусе же надоело в этой больнице и хотелось на свободу.

В Париже Маруся не теряла надежды найти издателя и для своего первого романа и для перевода Селина, с этой целью она и пришла в гости к Наде. Надя со своим мужем, известным писателем-диссидентом, жила в небольшой квартирке под самой крышей недалеко от площади Републик. Когда Маруся пришла к ней в гости, Надя сидела на широкой тахте, покрытой красным знаменем с серпом и молотом в уголке.

Такое же точно красное знамя висело и у Кати на стене ее ленинградской квартиры. Однажды, вскоре после того, как Катя впервые вернулась к себе на родину из изгнания, к ней пришел фотограф, чтобы запечатлеть ее портрет для газеты, которой она только что дала интервью. Фотограф был уже пожилым, и, видно, работал в газете еще во времена Григория Васильевича Романова, однако, он явно не ожидал увидеть красное знамя на стене этой квартиры, он понимал, что православная диссидентка, рассказывающая читателю историю своих гонений при советской власти, будет смотреться на фоне красного знамени по меньшей мере странно. Катя же, которая к приходу фотографа уже успела выпить три бутылки вина, казалось, не понимала ничего. Маруся, случайно присутствовавшая при этой сцене, заметила недоумение фотографа и готовилась к худшему, так как знала, что Катя в пьяном состоянии, да еще в присутствии зрителей, обожает устраивать всевозможные демонстрации и спектакли. К счастью, опытный фотограф не подал виду, а просто предложил Кате перейти к другой стене, на которую “лучше падает свет”.

Надя пригласила Марусю посмотреть вместе передачу по телевизору, там как раз должны были показывать встречу французской общественности с Солженицыным, который в то время еще только намеревался вернуться в Россию, но ждал, пока ему выстроят дом под Москвой. С Солженицыным беседовали представители влиятельных парижских газет, философы, социологи и писатели. Надя хотела написать на эту тему статью и опубликовать ее в Париже, а может быть, и в России. По настоянию Нади Маруся тоже должна была взять карандаш и бумагу и внимательно смотреть, запоминая каждое слово писателя, так как предполагалось, что потом Маруся будет редактировать надину статью.

Вскоре подошел еще один знакомый Нади — Арвид — мужик средних лет с бледно-голубыми глазами и бесцветными волосами, зачесанными на лоб в виде челочки. Он тоже уселся прямо на красный флаг и уставился в

телевизор. По ходу телебеседы Надя несколько раз раздражалась диким хохотом, так что Маруся сперва даже вздрагивала от неожиданности, но потом привыкла. Арвид же на любую реплику Нади отвечал ничего не значащими словами. Маруся чувствовала себя обязанной сказать хоть что-нибудь, но ей ничего не приходило в голову, и она только иногда повторяла: «Да-а-а... Да-а-а...» Надя постепенно стала смотреть на нее с нескрываемым раздражением. Мужа Нади не было в Париже, он уехал в Москву. До Нади у него уже было несколько жен, и все они потом становились писательницами, начинали писать или стихи, или прозу, очевидно от него исходила какая-то особая эманация. Все жены, пожив с ним какое-то время, его бросали (или он их бросал) и очень неплохо пристраивались. Надя же пока жила с ним. Раньше она работала манекенщицей, и, очевидно, еще с тех времен у нее осталась манера размахивать руками и хохотать громким хриплым голосом.

Когда Надя говорила, она все время смотрела на себя в зеркало, висящее на стене, поворачивала голову то так, то эдак и по-разному модулировала голос. Периодически у нее случались запои, однажды после одного такого длительного запоя Надя очнулась в шесть утра и начала звонить мужу в Москву, заявив ему, что сейчас она покончит с собой. На что муж ей ответил:

— Если надумаешь уйти из жизни, оставь телефон. Непонятно, что он имел в виду — то ли телефонный аппарат, то ли номер телефона. Надя, рассказывая об этом Марусе, опять разразилась громким смехом. Напротив их квартиры на лестничной площадке жили негры, целое семейство, иногда по субботам к ним приходили друзья, и они устраивали там церемонии вуду, тогда из квартиры слышалось заунывное пение и какие-то потусторонние звуки. А вообще они были очень веселые. Надя говорила Марусе, что они всегда улыбаются. Маруся же в тот вечер была в очень мрачном настроении и когда говорила с Надей, то все время вздыхала и повторяла: «Ужас... ужас...» На что Надя ей потом сказала, что она пессимист. Сама Надя считала себя оптимистом, ей было уже за сорок, но она обожала “Sex Pistols”. Несколько раз она говорила Марусе, что не понимает, почему Цветаева не могла пристроиться на Западе, “ведь она же знала языки, а в то время здесь в Париже было так много разных групп и течений: сюрреалисты, символисты, дадаисты...”.

Правда, сама Надя тоже так и не смогла “пристроиться на Западе”. Начинала она как манекенщица в Америке, потом какое-то время подрабатывала пением в русском ресторане в Париже, а в последнее время и вовсе была без работы, полностью посвятив себя литературному труду.

На следующее утро Надя снова позвонила Марусе, но вместо статьи о Солженицыне почему-то предложила ей подписать письмо протеста против антинародной политики российского президента. Маруся отказалась, и Надя в ярости бросила трубку, однако вскоре позвонила снова и говорила с Марусей как ни в чем не бывало.

Вскоре Надя уехала к мужу в Москву, а Маруся осталась в Париже. Из Москвы Надя заехала ненадолго в Петербург, где у нее должен был состояться творческий вечер в зале ВТО. Присутствовавший на вечере Костя потом рассказал Марусе, что Надя, затянутая в кожаные штаны и кожаную куртку и в кожаных же сапогах на огромной платформе читала стихи о том, как кому-то в жопу засунули гранату, и она разорвалась, но вообще-то, это были стихи о любви. В заключение Надя спела хриплым голосом пару романсов из репертуара парижского ресторана, где она одно время подрабатывала. После вечера, как и положено, состоялся фуршет.

Когда же потом, Надя, Костя и курчавый молодой человек с хвостиком, Даниил, тоже парижский знакомый Нади, оказались на Невском, то Надя, явно перебрав во время фуршета, неожиданно схватила за лацкан кителя проходившего мимо юного румяного курсанта Военно-Морского училища и, прижав его к стенке, минут десять пыталась его, за Ельцина тот или за парламент. “Предатель, подлец!” – вопила она, почему-то при этом стараясь запихнуть свое колено ему между ног, а курсант весь съезжился и вжимался в стенку. Наконец Косте и Даниилу с трудом удалось оторвать Надю от вконец растерявшегося курсанта. Даниил поймал такси, и Костя, которому уже все порядком надоело, с тоской подумал, что теперь ему тоже придется тащиться в другой конец города, слушать вопли... Но Даниил, пропустив вперед даму, юркнул следом и ловко захлопнул перед самым носом у Кости дверцу такси, бросив при этом на него торжествующий взгляд. Такси умчалось вдаль, а Костя в глубине души был очень признателен надиному приятелю.

Однажды Катя, желая помочь Марусе найти работу, повела ее в ресторан к арабу недалеко от ее дома, араб долго говорил с ней, осматривал с головы до ног, но отказал, очевидно, она его чем-то не устраивала. Скорее всего, ему нужна была любовница, а не официантка, а еще лучше - жена - жена будет работать бесплатно. Араб был приземистый, плотный, с черными бровями и походил на Саддама Хуссейна, от режима которого он бежал во Францию как диссидент. Маруся была рада, что он отказал ей, она вообще не представляла себе, как будет работать официанткой, тут нужен был какой-то особый склад психики. И к тому же ее очень удивила фраза Кати, которую она обронила, когда они вышли от араба:

— Я бы очень хотела, чтобы вы с ним полюбили друг друга.

Маруся не знала, как это понимать, правда, Катя сразу же поправились:

— Извини, извини, я глупость сказала.

Позже Марусе стало ясно, что Катя была не прочь ближе сойтись с Костей, она не понимала, что главная проблема для нее заключалась не в Марусе, а в

самом Косте, который, общаясь с Катей, был настроен на столь возвышенный лад, что по-прежнему не замечал ее женских уловок и хитростей, а если иногда замечал, то ее кокетство выводило его из себя. Маруся хорошо знала эту особенность психики Кости, который долгие годы воспитывал свой дух, сначала в санитарах, потом в библиотеке, а потом на фабрике. Костя считал любовь пошлым чувством и относился к нему с глубоким презрением. Маруся не раз слышала от него об этом.

Пьер тоже не советовал ей идти работать в ресторан, он говорил, что она должна будет спать с клиентами, почему-то это именно так рисовалось в его голове. Пьер всегда мечтал спать не один, а с кем-то, поэтому он и другим приписывал те же желания, а может, так оно и было на самом деле.

Маруся записалась в контору, набиравшую отессы (то есть метрдотелей), которые должны были дежурить в ресторанах, на выставках или в кафе. Но утром, проснувшись, она опять почувствовала страшную скованность, ей было страшно, и она боялась идти туда, в эту таинственную контору. Похожее чувства, наверное, ощущает ребенок, оставшийся без мамы или лишившийся поводья слепец. Она боялась шагнуть, повернуть голову, посмотреть в сторону, а взгляды прохожих причиняли ей почти физическую боль, она бы хотела вообще раствориться, исчезнуть, лишь бы никто на нее не смотрел, и лишь бы ей не нужно было ни с кем разговаривать. Но она прекрасно понимала – каким-то уголком сознания – что это вообще ведет в полное небытие и нужно, хоть и через силу, делать то, что делают обычные люди. Она надела на себя наряд, в котором по словам Ивонны нужно было явиться в эту контору – черную юбку, черные туфли, белую блузку и черный же пиджак. Когда она оделась и посмотрела на себя в зеркало – ей показалось, что она ничем не отличается от других – и в этом и было ее спасение – но какой-то незаметный перекосяк в углу рта или слишком напряженный взгляд или складка через скур плотно сжатых губ уже были как бы клеймом, наложенным на нее, и ей никак не удавалось сделать вид, что она такая же как и все, и ничем не отличается от остальных. Иногда это приводило ее в отчаяние, и ей все же удавалось (или просто казалось, что удалось) добиться радостного идиотизма и отраженности в улыбке, но она-то знала (всегда), что внутри сидит липкий страх, бесформенный, липкий, затягивающий, как медуза или вязкая болотная жидкая тряпина. Она настолько слилась с этим образом мазохистки, что даже при рассказах о том, что какой-то мужик поймал девушку, запер ее в голом виде в комнате и так держал все время, она ощущала, как судорогой ей сводило ноги – как у собаки – думала она, вспоминая старую сучку, у которой была течка, и которая как клешнями сдавливала лапами ногу доверчиво расслабившегося гостя и начинала основательно заниматься онанизмом на его ноге. Ведь это могло случиться и с ней, но инстинкт самосохранения все же удерживал ее от последнего шага – туда, в

пропасть и полную пустоту, темноту, и там лишь кое-где были вспышки красных огней.

Это когда в кафе Центра Помпиду к ней пристал какой-то странный тип с бледным лицом, налитыми кровью глазами и гладко зачесанными назад черными волосами. Она сидела за столиком, а он подсел рядом, после пары незначущих слов взял ее за голую руку выше локтя и так сильно сдавил, что потом черные следы от его пальцев долго приходилось скрывать под длинными рукавами. Он был в костюме, галстуке и с дипломатом, он вышел вслед за ней, она пошла по открытой галерее пятого этажа, он бежал сзади, ей не хотелось привлекать внимания и орать, она надеялась, что он просто отстанет, но он все бежал сзади, пытаясь обнять ее, вдруг дипломат у него раскрылся и какие-то белые листочки закружились по ветру. Он с криком: “Merde!” бросился их собирать, пытаясь одновременно при этом растопыренной рукой удерживать Марусю, не давая ей выйти из угла, как насадка, растопырив крылья, не пускает цыплят со двора. Маруся прошла к эскалатору и спустилась в библиотеку. В библиотеке было много народу и тихо, он присмирел и стал просить о свидании. Маруся назначила свидание на завтра, заведомо зная, что не придет, и он, взяв с нее клятвенное обещание прийти, ушел, деловито помахивая дипломатом.

Маруся, нарядившись в условный черно-белый костюм для отесс, выпила кофе, выкурила сигарету и со вздохом взглянув на часы, поняла, что ей нужно идти *туда*. Пьер вызвался ее проводить, так как сочувствовал ей и разделял ее страх и неуверенность. Но когда они вышли и прошли буквально сто метров, настроение у него резко испортилось и он со словами:

— Я не хожу с манекенами! — повернулся и пошел в неизвестном направлении. Маруся снова осталась одна в этом зыбком пространстве, и опять ее охватил страх и неуверенность. Она, заставляя себя двигаться как автомат, купила билет и стала ждать электричку. Ей нужно было ехать до “Pont Cardinet” — это не доезжая одной остановки до Парижа, до вокзала Сен-Лазар. В вагоне электрички она внезапно почувствовала, что задыхается, ей плохо, и она сейчас упадет в обморок. Она, как бы в поисках спасения, стала обводить глазами стоявших вокруг пассажиров, в их глазах было лишь холодное недоумение и высокомерное удивление. Ей стало еще хуже, но тут поезд затормозил и она вместе с толпой пассажиров очутилась на перроне. Теперь нужно было ждать следующую электричку, и Маруся, стараясь успокоиться, дрожащими руками достала из сумочки сигарету “Голуаз” и закурила. Но от курения ей стало еще хуже, и она бросила недокуренную сигарету прямо на асфальт. Она продолжала дымиться. Маруся посмотрела на часы — конечно, она уже опоздала, и надо будет позвонить и записаться еще раз. Ей стало спокойнее, и она решила просто доехать до Сен-Лазара и прогуляться по Парижу, раз уж все равно дело сорвалось.

Именно Надя познакомила Марусю с Ольгой Кокошиной, возглавлявшей витебское СП “Кока-Даун”. Когда Маруся впервые услышала название издательства, то невольно рассмеялась. Однако потом выяснилось, что название возникло благодаря стечению обстоятельств, которые самой Кокошиной, видимо, было совсем невесело вспоминать.

Дело в том, что основавшего фирму мужа Кокошиной, в его родном городе Витебске все с детства звали “Кокой”, под другим именем его там просто не знали. “Кока” погиб во время октябрьских событий в Москве, это было темное дело, что он там тогда делал, так и осталось невыясненным, однако его тело было найдено завернутым в плед, неподалеку от Останкинской телебашни. Вскоре после смерти мужа Кокошина встретила с солидным ирландским бизнесменом по имени О Даун, который проявлял живой интерес к белорусской недвижимости и вскоре вошел с Кокошиной в долю. Ирландец очень плохо говорил по-русски, и с истинно ирландским упорством настаивал на том, чтобы его имя обязательно вошло в название фирмы. Первая же часть названия была дорога Кокошиной как память о муже, которому она считала себя обязанной всем. В результате всех перипетий и возникло это совместное белорусско-ирландское предприятие “Кока-Даун”, неизменно вызывавшее улыбки у всех, кто о нем слышал впервые. Эти улыбки глубоко задевали Кокошину, но она считала, что должна гордо нести свой крест. Увы, упрямый ирландец вскоре бесследно исчез из Витебска, прихватив с собой часть документации на недвижимость и всю имевшуюся в наличии валюту.

Злые языки утверждали, что О Даун был вовсе никакой не ирландец, прекрасно говорил по-русски и просто так, можно сказать, подшутил над бедной вдовой. Не исключено даже, что имя Даун тоже было его кличкой, вряд ли только школьной. Впрочем, сама Кокошина предпочитала не углубляться в это дело, после смерти мужа она решила вести себя осторожней. К тому же, и урон фирме был нанесен сравнительно небольшой. Менять название фирмы она не стала, так как это было невыгодно с рекламной точки зрения: название было смешным, но зато запоминалось хорошо! “Нет худа без добра!” – говорила она.

Тем не менее, однажды она призналась Марусе, что хотела бы сменить свою фамилию на “Королеву” – фамилия Кокошина ей не нравилась, так как вызывала у нее ассоциацию с кошкой и кокосом, а то и того хуже. Зато “Королева” звучит почти как “королева”, и если бы не память о муже, она бы непременно это сделала.

Надя говорила Марусе, что Кокошина спекулирует на смерти мужа, и еще что мужа у нее убили не зря — Надя заметила, что все, кто хотел сделать или сделал ей что-то плохое, тотчас получали по заслугам — Кокошина хотела ее обмануть и не заплатила за рукопись, вот у нее сразу же и убили мужа. Надя

заметила эту особенность еще в детстве, когда соседка по лестничной площадке ее как-то обозвала, а потом, через два года, умерла.

Помимо недвижимости Кокошина очень интересовалась культурой, поэтому ее фирма была зарегистрирована как издательство. Поначалу в “Кока-Даун” выходила только массовая литература: ужасы, детективы, эротика. Но позже Кокошина обратила свой взор на серьезную литературу, решив начать с издания полного собрания сочинений надиного мужа. Романы же самой Нади она отказалась издавать наотрез, поэтому Надя пока составляла у Кокошиной эротическую серию, подбирая французские и английские книги для их дальнейшего перевода на русский. Еще в Париже Маруся как-то случайно видела на столе у Нади отпечатанный типографским способом листок. Сначала она подумала, что это листовка, однако, взглядевшись повнимательней, она прочитала:

“Вниманию переводчиков!!!

От составителя серии!!!

Уважаемые господа переводчики!

Если вам во французском оригинале попадется слово “bitte”, то ни в коем случае нельзя переводить его на русский как “член”, “хер” или тем более “фаллос”. Это слово должно быть переведено как “ХУЙ”!

Если вам попадется слово “cop”, то это слово нельзя переводить как “влагище” или “дырка”. Оно должно быть переведено как “ПИЗДА” и только “ПИЗДА”!!!

Слово же “copnard”, которое некоторые почему-то переводят как “недоносок”, “мудак” или “мудило” на самом деле должно переводиться только как “ПИЗДУК”...”

Далее следовал еще целый перечень французских слов, которые надлежало переводить как “блядь”, “охуевать”, “пиздеть”, “ебать”, “пошли на хуй”, “ебаный в рот” и “еб твою мать”. В завершение было написано: “Надеюсь, вы со всем вниманием и серьезностью отнесетесь ко всем вышеперечисленным рекомендациям. С глубоким уважением, составитель серии “Секс-беспредел” Надежда Воробьева.”

Все эти выражения были набраны крупным жирным шрифтом, некоторые из них были подчеркнуты ручкой, а некоторые даже любовно обведены в рамочку.

Внизу зазвонил телефон, Маруся с грохотом побежала вниз по винтовой деревянной лестнице, рискуя поскользнуться и упасть, но успела. Маруся стала кричать: «Пьер, Пьер!» Но никто не отзывался. Она не слышала, чтобы Пьер уходил, когда кто-то уходил из дому обычно звякали железные ворота, но сейчас Маруся не слышала этого звука. Она обошла весь первый этаж,

заглянула даже в подвал, но никто не отзывался. Она поднялась на второй этаж и все звала :

— Пьер, тебя к телефону!

В комнате Пьера как всегда было темно и пахло чем-то затхлым, слежавшимися старыми тряпками и каким-то лекарством. Она осторожно зашла в его комнату и, продолжая звать : — Пьер, Пьер! — ошупью стала продвигаться вдоль стены. В комнате было темно, только сквозь прорези в желеных ставнях пробивался слабый свет от фонарей с улицы. В комнате никого не было.

Значит, Пьер ушел, а она и не слышала. Маруся решила на всякий случай еще заглянуть в туалет, расположенный рядом, вход в него был прямо из спальни Пьера. Она открыла дверь, но там было темно, хоть глаз выколи, потому что окно, ведущее в туалет, выходило на задний двор, где не было фонарей. Маруся уже хотела было уходить, но вдруг увидела блеск чего-то живого, и внезапно, как вспышка, увидела темные очертания фигуры, сидевшей на унитазе и молча смотревшей на нее. Ее охватил ужас и она, отступив, пробормотала. :

— Пьер, тебя к телефону... — в ответ она услышала ужасный, нечеловеческий рев. Пьер, совершенно голый, вскочил с унитаза и завопил :

— Оставь меня в покое, черт тебя подери! Имено я право побыть один или нет!

Маруся выскочила из его комнаты, ее ноги подгибались, она тихо спустилась вниз и сказала в трубку дрожащим голосом: — Извините, он сейчас не может подойти.

В ответ ей почему-то тоже испуганным голосом ответили:

— Ну хорошо, хорошо, передайте ему, что я звонил...

Это был православный священник, у которого Пьер работал, а когда он уезжал на лето, Пьер жил в его доме, чтобы никто туда не залез. Этот священник говорил обычно елейно-масляным голосом. У него был огромный дом в пригороде Парижа, трехэтажный и маленький садик за домом, а в доме были большие запасы еды. Священник этот приехал из Сербии и устроился здесь уже давно, Пьер работал у него, и тот платил ему очень мало, но зато кормил. Еще там жила сербская девушка, она смотрела за детьми священника. Девушка была худая, темноволосая, узнав, что Маруся русская, она прониклась к ней большой симпатией и даже сказала :

— Стоит сербу узнать, что ты русский, как он тебя уже любит.

Маруся уже давно чувствовала, что скоро ей придется подыскивать себе новое жилье, и это чувство постепенно перерастало в уверенность. На всякий случай она позвонила Трофимовой. Та сперва говорила с ней очень лобезно, но потом стала рассказывать о своих проблемах, о том у нее что сломалась машина, и она не сможет ее встретить, а сама она не найдет ее дом в Версале,

куда она теперь переехала, что это очень сложно, однако, адрес свой она Марусе назвать не хотела, и та поняла, что Трофимова просто не хочет, чтобы она у нее жила. У Трофимовой были свои проблемы, Боря ее бросил, и она была всерьез озабочена поисками мужика и устройством личной жизни. Маруся позвонила еще и Наде, которая вскоре собиралась в Москву, она надеялась, что та разрешит ей пока пожить в ее квартире. Но та отказала сразу и решительно, и Маруся подумала, что в Париже не так просто найти жилье.

Кокошина не меньше двух раз в год навевывалась в Париж, у нее был счет в Люксембургском банке, поэтому она могла себе это позволить. Обычно она селилась в небольшом отеле недалеко от Мулен Руж, в котором останавливались преимущественно русские туристы, приезжавшие в Париж на автобусе на два-три дня, вечерами они собирались в кафе внизу и громко обсуждали свои впечатления, причем в основном это сводилось к словам: “Ой, мы тут такое видели! Та-а-а-кое!» Кокошина старалась экономить и не тратить денег, правда, на помойки она не ходила, зато собирала чеки в универсамах, чтобы потом получить компенсацию за якобы вывезенный в Россию товар. Ее сын Егор, белесый косой мальчик шести лет, которого она тоже взяла с собой в Париж, помогал ей собирать эти чеки, потом, разглядывая надписи на чеках, она обнаружила, что, среди прочего, вывезла в Россию пластмассовое корыто. Это ее очень развеселило. А компенсацию она получила и очень этим гордилась, так как считала, что деловой человек должен уметь извлекать выгоду из всего. Кокошина намеревалась поднять свое издательство на новый уровень, создать нечто солидное и в то же время интеллектуальное, чтобы достичь мировой славы, к тому же она сама писала стихи и не теряла надежды когда-нибудь их опубликовать, она уже давно могла бы их опубликовать в своем издательстве, но Надя сказала ей, что так не делают — кто же публикует свои собственные стихи в своем издательстве! Помимо надниного мужа и Селина, она собиралась издать полное собрание сочинений Пушкина и Данте в кожаных переплетах с золотым тиснением, а так же сборник статей какого-то журналиста, которые она прочитала в детстве в “Литературной газете” и которые произвели на нее тогда большое впечатление. Правда, фамилию журналиста она забыла, поэтому постоянно спрашивала об этом у всех, включая Надю и Марусю, но те ничем не смогли ей помочь. Кокошина познакомилась в Париже с довольно зажиточным французом, который работал в адвокатуре, у него был свой дом, и он сразу же пригласил Кокошину к себе жить. Она согласилась, потому что это позволяло ей сократить расходы на проживание в гостинице. К тому же, она всегда хотела оформить брак с каким-нибудь французом, ведь тогда ей уже не нужно будет добывать приглашения в Париж, и она сможет путешествовать сама, как ей захочется. Но стоило ей только заик-

нуться о браке, как француз тут же стал крайне подозрительным, начал на нее орать, обвиняя ее в том, что она претендует на его деньги и дом, — “все иностранцы лживы и корыстны, так и смотрят, как бы что-нибудь урвать у честных французских граждан”. Кокошина потом, рассказывая об этом Марусе, уверяла ее, что он сумасшедший.

— У меня самой денег полно, — говорила она, криво улыбаясь, — зачем мне нужны его деньги?

В результате она снова переехала в отель, потому что лучше уж платить, чем жить в таких условиях.

Маруся как раз находилась в гостях у Нади, когда к ней пришла в гости Кокошина: она сразу же сбросила туфли и уселась с ногами на диван, и Надя потом с возмущением рассказывала об этом всем своим знакомым: почему это она садится с ногами на ее диван! Адвокат, который привез Кокошину на машине, ждал внизу, он несколько раз, пока они беседовали, прибегал к ним, входил в квартиру и ревниво все осматривал, он заглядывал даже под диван, наклоняясь как бы для того, чтобы завязать шнурок на ботинке. Он прибегал раза три, и все три раза у него развязывался шнурок. Наверное, ему казалось, что она тут тайно встречается с мужиком. Кокошина была худенькая крашенная блондинка с перманентом, одевалась она в черное трико и белый пиджак, на шее у нее висели крупные пластмассовые бусы, выкрашенный золотой краской.

В Париже Кокошина пользовалась общественным транспортом, а в России, по свидетельству Нади, у нее был личный шофер, который бегал ей за продуктами, подавал документы на визу, таскал книги, то есть делал практически все, что хозяйка ему поручала, не выражая при этом ни малейшего недовольствия. Когда Кокошина летела на самолете в Москву, он отправлялся вслед за ней на машине и старался успеть побыстрее. Чтобы поменять колеса на машине, ему приходилось выпрашивать у нее деньги неделю, в конце концов она давала ему деньги, но всегда немного меньше, чем нужно. В результате, она неоднократно рисковала жизнью, так как ездила на старых, изношенных шинах, и он ничего сделать не мог. В Москве шоферу снимали квартиру с тараканами, а Кокошина селлась в гостинице “Интурист”. По этому поводу Кокошина игриво говорила Наде:

— Не могу же я жить с собственным шофером, — и хихикала.

Кокошиной вообще хотелось жить где-нибудь в центре, там, где кипит культурная жизнь. Правда, покидать Витебск совсем она не спешила, так как в Белоруссии тогда еще существовали государственные расценки на жилье, и тому, кто имел определенные связи — а такие связи у Кокошиной были — можно было за бесценок скупать квартиры у старушек-пенсионерок, а потом уже перепродавать их по рыночной цене. В России такое было невозможно — цены на жилье там уже повсюду были рыночные, вполне официальные. В

Витебске ее фирма занимала замечательный двухэтажный старинный особняк, и сама она купила себе сразу две квартиры, которые были прекрасно отделаны. Квартиру в Москве она тоже хотела купить, но никак не могла найти дешевую, все подворачивались очень дорогие, а ей хотелось подешевле. Но она надеялась, что и здесь ей удастся найти какого-нибудь алкоголика — такое бывало — и тот продаст ей квартиру по дешевке.

В конце концов, она все же купила себе квартиру в Москве, но сразу перестала платить зарплату сотрудникам своего издательства, заявив, что до тех пор, пока не закончится ремонт в ее квартире, денег никто не получит. В штате у нее числилось не меньше пятнадцати человек, на должность генерального директора она наняла бывшего генерального директора издательства ЦК ВЛКСМ Белоруссии. Кокошина, которая до 1987 года была мелким комсомольским работником, с нескрываемым удовольствием представляла своим знакомым этого крупного мужчину номенклатурного вида, а тот ей при этом подобострастно кланялся и улыбался.

Издавая серьезную литературу, Кокошина не только намеревалась обогатить культуру, она не теряла надежды обогатиться сама, прежде всего, конечно, духовно, хотя и понимала, что это очень рискованное мероприятие; но главным для нее было, безусловно, обретение новых связей, знакомство с выдающимися “интересными людьми”, которых в ее родном Витебске было очень и очень мало. Конечно, люди там жили замечательные, хорошие, добрые, но совсем не интересные.

Однажды в Москве Кокошина приехала в гости к переводчику Берроуза, которого очень рекомендовал ей надин муж как “классика современной литературы”. Была зима, и переводчик сидел прямо на полу, посредине комнаты, на полу стояла жаровня, и в ней горел костер. Кокошина с восторгом рассказывала об этом Марусе, как это колоритно, и как она сама уселась прямо на пол в своем белоснежном костюме и сидела с этим грязным длинноволосым переводчиком у костра, он говорил, что дружит с самим Берроузом и обещал Кокошиной авторские права бесплатно, мол, он с ним поговорит, ну Кокошина сразу и отвалила ему авансом тысячу долларов. Правда, потом, где-то через полгода, она случайно заглянула в рукопись перевода и была в ужасе — это был не роман, а какое-то “пособие по приему наркотиков”. Она в ярости поехала к переводчику, дверь ей открыли два бледных поросших волосами молодых человека, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Из глубины квартиры доносился едкий запах гари.

— А позовите пожалуйста, Шварцмана, — обратилась к ним Кокошина, назвав фамилию переводчика.

— А он не может, тетенька, его кумарит, — ответил ей один из молодых людей, уставившись на нее вытаращенными бесцветными глазами, другой же в этот момент вдруг наклонился и начал плевать прямо ей под ноги. Боль-

ше она туда не приходила. После этого авторитет надиного мужа в глазах Кокошиной несколько поколебался, она усомнилась и в значимости Селина, а действительно ли он такой великий и знаменитый писатель, как ей говорят. На Марусю при встрече она теперь смотрела с большим недоверием. Однако, тяга к знакомству с интересными людьми у нее не исчезла.

На одном из великосветских приемов она познакомилась еще с одним таким “интересным человеком”, на самом деле, это был самый обычный вернисаж, какие каждый день проходят в многочисленных парижских галереях, на который привела Кокошину Надя. “Принц Гарри” – так звали человека, с которым познакомилась там Кокошина, не оставлявшая надежды выйти замуж за иностранца. Гарри приехал в Париж из Латинской Америки, по слухам, он был очень богат, а “принц” его все звали потому, что в его жилах, как он утверждал, течет кровь арабских шейхов. И действительно, внешне он сильно смахивал на араба, смуглый, худой, небольшого роста с черными как смоль волосами. И одевался он тоже во все черное: на нем были черные холщовые штаны и черная рубашка-косоворотка. Необычный вид и аристократические манеры сразу же сразили Кокошину наповал. Принц Гарри действительно был со странностями, и вкусы у него были не совсем обычные. Например, он любил смерть и все, что с ней связано. У него были даже специальные духи во флаконе в виде хрустального гробика, и запах у них был очень странный – он говорил, что так пахнет из могилы. Поэтому он и одевался во все черное, говорили также, что в его доме на Майорке, где он подолгу жил, повсюду висели гравюры с различными видами трупов – там были и работы известных художников, он их коллекционировал. Вообще, принц Гарри был очень загадочным существом. Кокошина, конечно, не могла равняться с ним в интеллекте, но у нее были деньги, а это значило, что они смогут вести вместе дела. Принц же говорил, что он деньгами совсем не интересуется, и ему на них вообще плевать, и несколько раз он, как бы вскользь, обмолвился, что мечтает посетить Россию, так как хотел бы найти там себе жену, простую русскую девушку, небогатую – а деньги его не интересуют, у него их хватает, ему главное – чтобы его любили по-настоящему, а не из-за денег. В Париже русских было не так много, поэтому Кокошина поняла, что у нее есть шанс, хотя в глубине души она не верила, что принца не интересуют ее деньги и решила быть очень внимательной и осторожной. По этой причине в тот день, когда наконец Гарри должен был прийти к ней в гостиницу у Мулэн Руж, она, на всякий случай, тщательно спрятала все свои деньги и драгоценности, большую же часть наличности она даже отнесла накануне в банк. Гарри пришел вечером, как они договаривались, с огромным букетом сиреневых и розовых астр, и небольшим бумажным свертком, который почему-то сразу не открыл, а просто положил на стол. Кокошина очень плохо говорила по-английски, а по-французски не говорила совсем, поэтому она и Гарри изъяснялись пре-

имущественно жестами. Гарри почти сразу же разделся до трусов, и так и остался сидеть в одних трусах. Потом он жестом предложил раздеться Кокошиной, и она покорно это сделала. Ей, правда, было как-то не по себе, но раз уж она его пригласила, нужно было идти до конца. Гарри знаками показал ей, чтобы она легла на живот, и когда она это сделала, он достал со стола сверток, развернул его, там оказались десять церковных свечей, он взял одну, вставил ее Кокошиной в задний проход, и зажег. Кокошина молча лежала в полном оцепенении и не сопротивлялась. Кажется, Гарри остался доволен, он сидел в трусах и смотрел, как горит свеча, но он ровным счетом ничего не делал, даже не пытался заниматься онанизмом. По мере того, как догорала свеча, его лицо приобретало все более странное выражение, и глаза наполнялись слезами. Свечка горела быстро, и Кокошина уже чувствовала жжение на ягодицах, она терпела, хотя ей и хотелось вытащить огарок из задницы. Принц же, казалось, был в полном восторге. Наконец, свечка потухла сама собой, добравшись до зада. Кокошина получила сильный ожог, она даже не могла сидеть месяц после этого. Принц же неторопливо встал, оделся, собрал оставшиеся свечки и исполненный чувства собственного достоинства, удалился, даже не попрощавшись с Кокошиной. С этого момента, встречаясь с Кокошиной, он даже не здоровался с ней, делал вид, что не замечает ее. Ее это ужасно злило. Принц же не замечал не только одну Кокошину – женщины его интересовали еще меньше, чем деньги. С того самого момента он всегда появлялся на людях только в сопровождении мальчиков, иногда совсем юных.

Кокошину продолжали мучить сомнения по поводу Селина – издавать или не издавать? Хотя она все-таки взяла марусину рукопись перевода и даже заплатила аванс, правда, читать рукопись она все равно не стала. Позже, когда Маруся уже вернулась в Петербург и даже забыла думать об этом, ей как-то раз позвонили из Витебска. В трубке она услышала голос какой-то женщины с характерным провинциальным акцентом, это была корректор издательства “Кока-Даун”, Авдотья Павловна, которая по телефону стала уточнять упоминающиеся в переводе названия парижских улиц. В заключение Авдотья Павловна не выдержала и с тяжелым вздохом поделилась с Марусей впечатлениями от романа:

— Мы тут с девочками удивлялись, главный герой-то за все время даже ни разу не помылся! В общем, больной человек! “Большим” Авдотья Павловна считала и надиного мужа. Видимо, Авдотья Павловна и “девочки” были единственными, кто в издательстве “Кока-Даун” прочитал марусин перевод.

Больше о Кокошиной Маруся ничего не слышала, если не считать небольшой заметки в “Книжном обозрении”, на которую Маруся случайно натолкнулась уже год спустя, перелистывая эту газету в “Академкниге” на Литейном.

Рядом с заметкой были помещены фотографии Кокошиной в черном трико и в шляпе, на одной фотографии она присела на корточки, обхватив рукой

себя за плечи, причем с первого взгляда создавалось впечатление, что она закинула ногу за голову. На второй фотографии Кокошина стояла, согнувшись вперед, улыбаясь соблазнительной улыбкой, однако при этом почему-то удивительно походила на обезьяну. А на третьей фотографии вообще было трудно что-нибудь разобрать, но казалось, что она сидит на унитазе и тужится. В заметке говорилось, что известная издательница Кокошина выпустила календарь с собственными фотографиями, выступив в новом для себя качестве фотомодели и поэтессы одновременно, на последней странице календаря были помещены ее стихи. Заметка называлась “Из издателей в фотомодели и обратно”. О любви Кокошиной к поэзии Маруся знала, но о ее желании стать фотомodelью никогда даже не подозревала, да и внешность у нее для этого была не самая подходящая: маленькая, тщедушная, невзрачная. Разве что тот факт, что все многочисленные жены надиного мужа были фотомodelями, оказал роковое воздействие на ее психику. Может быть, она была в него тайно влюблена?

На площади Этуаль ветер раскачивает огромный плакат: женщина сидит на ступеньках, к ней прижались двое детей, а внизу крупными буквами написано: «Где мы будем сегодня спать?» Этот плакат повесили в защиту бездомных, чтобы он напоминал всем благополучным людям о том, что среди бездомных есть даже дети, и им нужно помочь. Но все равно все думают только о себе. Если тебе хорошо, то что тебе до остальных. Когда будет плохо, тогда и будем думать. А когда дождь и ветер и холод, и дети плачут, и тебе некуда идти, что же тогда делать, куда деваться, тогда ты попадаешь во власть улицы, любая случайность может стать роковой, и ты в ужасе шарахаешься от каждой тени, от каждого силуэта, но деваться некуда, некуда, и так везде: в России, во Франции, или в Америке — всюду одно и то же, никакого спасения нет в этом мире, везде один холодный скрежещущий ужас, от которого некуда скрыться.

Когда Маруся в ужасе просыпалась ночью в самой глухой, самый страшный час перед рассветом или среди ночи и вдруг слышала, как наверху кто-то двигает мебель или скачет, или что-то кидает на пол, ей вдруг становилось страшно, что сверху кто-то сошел с ума или кого-то убивают, и некуда было деваться от этого ужаса...

Если уж суждено потерять рассудок, ну что ж, это было бы даже лучше, ведь иначе просто невозможно, невозможно жить в этой реальности, в этой проклятой жизни, которую невозможно вынести. Это не в человеческих силах. И так хотелось бы куда-то убежать, но бежать некуда, везде холодная темная бездна, она и в глазах людей, идущих тебе навстречу, и в небе, и в лужах, и в реках, и в морях, всюду, всюду, и эта бездна затягивает, затягивает

тебя. и некуда уйти. Лучше всего работать без остановки, это заставляет забыть, отвлекает, наваливается тяжелый дурман, ты забываешь, и кажется что снова проглядывает что-то давно забытое теплое, тихое, и ты как будто в укрытии, но нет, все равно все время возвращается ужас, возвращается как припадок удушья, и напрасно ты хватасшь разинутым ртом воздух, все равно надолго не хватит.

И постепенно, вместе с физической болью, мучавшей ее при воспоминании некоторых деталей, стала уходить и радость жизни, которую она раньше так остро ощущала и которая вызывала в ней тоже почти физическое опьянение и упоение. Маруся почти постоянно стала думать о смерти, потому что это единственное, что могло дать ей облегчение.

Она наконец-то подошла к последней границе в своих мыслях о самоубийстве и словно встала, покачнувшись, на самом краю крыши. Сверху все было прекрасно видно и казалось таким крошечным и трогательным. Стоя здесь, на самом краю крыши, она ощущала, как ее сердце переполняет чистая радость. И она отчетливо почувствовала, как прекрасен будет этот полет и что нужно будет постараться продлить, растянуть это последнее мгновение перед тем, как будет ужасный удар! И потом – все, пустота. Или же она просто раскачает ту пожарную лестницу, что шла вверх по задней выходящей во двор стене огромного здания, и эта лестница, сперва нехотя, а потом все быстрее и стремительнее, с грохотом и скрежетом повалится набок, и все дома вокруг закружатся и завертятся, и у нее мелькнет мысль, что она может каким-то чудом попасть на чей-то балкон, где случайно выставлена мягкая перина, или на газон, усеянный мягкими и чистыми оранжевыми листьями, и эта жизнь еще продлится.

Она будет длиться еще долго, почти вечность, и в ней снова будет все, что так очаровывало ее раньше, то, что так мешало ей сосредоточиться и рассеивало внимание, и тянуло полностью, до самозабвения раствориться в плавном потоке жизни, расслабиться, дать себя убаюкать и плыть, плыть в этом нежном потоке, пока снова не натолкнешься на что-то грубое, твердое и внезапно она радостно что-то поняла – она не ощущает больше как бы давивших ее со всех сторон раньше границ, условностей, рефлексий – все это ушло, и перед ней раскрылось прекрасное бескрайнее небо, которого она искала всю жизнь, и вот только сейчас нашла. Но это ощущение счастья продлилось недолго.

Пьера больше всего заботил вопрос отправления естественных надобностей, его ужасно раздражала невозможность помочиться, когда ему этого хотелось. Из-за этого он ненавидел Париж, потому что там не было бес-

платных туалетов, надо было платить два франка, а если человек хотел помыть руки, то и все два пятьдесят. Он давно уже делал мечту изобрести такой аппаратик, или мешочек, чтобы можно было его приделать к штанам: захотел помочиться — пожалуйста, и не надо искать укромное местечко. Однажды, еще в психбольнице, он видел женщину, которая стояла и мочилась стоя, как мужчина, сильная желтая струя с шумом лилась на траву, эта картина навсегда запечатлелась в его памяти. Конечно, эта женщина мечтала стать мужчиной, ведь все девочки в детстве мечтают иметь маленькие члены. Когда-то давно он прочитал у Фрейда, что все мужчины, которые курят толстые сигары, жуткие фаллократы, те, которые курят сигареты, вообще-то тоже, но не в такой степени. Пьер и сам раньше курил, но когда бродил по Франции, был вынужден бросить, у него просто не было денег. Сперва он собирал окурки, потом курил самокрутки, а потом просто перестал, чем очень гордился.

Вообще Пьер любил мочиться на природе, он испытывал при этом особое удовольствие, он чувствовал, как становится растением, птичкой, цветком, лошадью. Часто, гуляя в деревне, он вдыхал в себя разнообразные запахи, они навевали на него воспоминания, но очень часто они вызывали у него отвращение. Из-за этого он не любил ездить в парижском метро. «Воняет!» — говорил он, оказавшись там, и показывал коричневые потеки на стенах. По его мнению, это лилось дерьмо, — возможно, так оно и было на самом деле. Многие в метро действительно мочились прямо в переходах, там часто можно было встретить какого-нибудь здоровенного негра, который стоял, отвернувшись к стене и мочился. Пьер обходил его с опаской, он знал, что все негры — жуткие фаллократы, и к тому же бандиты.

Пьер никогда не мылся, не чистил зубы и уши, он считал, что таким образом можно достичь просветления и полностью слиться с природой. Вдобавок ко всему, мытье, например щеткой, причиняло человеку излишние страдания, а Пьер не хотел страдать, он боялся боли. Зубов он не чистил по той же причине, к тому же он не хотел тратить деньги на зубную пасту, которую выдумали капиталисты, чтобы на этом нажиться! Русские — мазохисты, поэтому они и изобрели бани, они любят страдать. А французы, так в ответ на это сказал ему Дима, чтобы отбить запах грязи и говна, изобрели духи. При дворе Людовика XVI вообще не было туалетов, и все гадили прямо под лестницы и в парках под деревьями. Это Дима слышал на экскурсии в Версале. Пьер, слушая Диму, хихикал, но про себя затаил обиду — почему это французы грязные!

Мать Пьера часами проводила за выдавливанием прыщей, сперва она давила прыщи на лице, потом на руках, плечах и ногах, ей это нравилось. Она была мазохистка — так считал Пьер. Его отец был садист, а мать мазохистка, ну а Пьер унаследовал черты обоих родителей. Жена, конечно, от него

убежала. но это не страшно, он найдет себе новую. К тому же она не была атеисткой, а он мечтал жениться на атеистке, чтобы обратить ее в православие. Пьер был с ней так нежен, иногда он чувствовал себя почти счастливым в постели с ней. Он воображал себя маленьким ребеночком, он сосал грудь своей мамочки, хотя его мамочка иногда заставляла его страдать, она запира-ла его в подвал, всячески издевалась над ним, он был несчастен всю свою юность и детство тоже. Что из того, что на фотографии они с братом смеются, все равно внутри он страдал, а это все лицемерие и комедия! Мамочка била его по ручкам, запира-ла в подвал, к тому же она не только сама его никогда не целовала, она не разрешала ему целовать девочек и спать с ними, а ему этого так хотелось! Он стиснул зубы, Галя застонала, как будто в экстазе, он стиснул сильнее и почувствовал, как теплая жидкость струится ему в рот — пусть она в ужасе визжит, пытается вырваться, это она просто пытается забрать грудь у своего мальчика! Вставная челюсть выскочила изо рта и так и оста-лась висеть, зацепившись желтыми клыками за сосок, наполовину откушен-ный и кровотокащий... Галя убежала...

Пьер любил современность, потому что это настоящий миг, а жить нужно только настоящим мигом. Он нашел картину, нарисованную еще его отцом: Христос на пути в Эммаус, фигура Христа совершенно белая, а ученики очень грустные. Пьер пририсовал вдаль маленький вертолет, а в углу рядом с Хри-стом — автомат Калашникова и маленьких человечков с дубинками: ОМОН. Он не любил историю, она не нужна и только все запутывает.

Маруся проснулась среди ночи и долго лежала и не могла заснуть, вокруг был холодный леденящий ужас. Впереди было тоже что-то страшное, что невозможно понять... Господь защитит ее, но как пережить это сейчас?.. Она чувствовала себя слабой, как червяк... Темнота во всем доме, на улице чье-то рыдание и причитания на непонятном языке...

В этом доме с холодными каменными полами пусто, камин давно поту-х, обычно его топят пачками из-под сигарет и коробками из-под сыра, а на ночь окно заставляют створками дверей; и всю ночь под окнами с дикой ско-ростью проносятся машины и можно долго ждать рассвета, а он все не прихо-дит и чтобы не сойти с ума внушать себе, что уже светает, вот стало светлее на улице, но это просто фонарь напротив, потом его гасят, значит настало самое темное и глухое время ночи, после трех часов, со станции неподалеку доно-сятся мелодичные звуки, как будто кто-то звонит в колокольчик, сердце бьется в груди, как молот, и кажется, что если не выйдешь сейчас на улицу, то ум-решь, даже если еще не готов, что ж, тем хуже для тебя, но и на улице некуда идти, все заасфальтировано, ровные узкие улицы, поднимаются, спускаются, то есть подъемы и спуски, о которых лучше не думать, а в каждом доме жен-

щины в розовых халатах, мужчины с красными лицами, они смотрят с любопытством и равнодушно...

Так же и в метро страшно, когда поезд отходит от перрона и кажется, что ты не дождешься остановки, а просто умрешь от разрыва сердца, особенно страшно, когда слышится мелодичное пиликанье, предвещающее закрытие дверей, в этот момент всегда хочется выскочить, расталкивая пассажиров, иногда она так и делала и все смотрели на нее с недовольством, особенно в час пик, когда вагоны переполнены и кому какое дело до твоих страхов и маний?

«Сегодня мне сделали обрезание... По медицинским показаниям... Мой член стал весь красный и очень болел, поэтому я пожаловался брату... Брат посмотрел его и сказал, что это из-за того, что там скопилась грязь и лучше сделать обрезание... мы пошли к врачу, он обрезал мне этот кончик и помазал мазью... Я теперь чувствую себя гораздо лучше... Иногда я трогаю его и мне приятно...»

«Вчера я говорил с Аннушкой... Я работаю у них в доме, делаю ставни... О как я люблю ее! Она дала мне двести франков, но мне бы хотелось, чтобы она сама отдалась мне, зачем мне эти проклятые деньги, из-за них столько слез льется на земле!..»

«Любовь - это не совокупление, и вообще я не нахожу смысла в совокуплении, как таковом. Любовь - это наслаждение всего тела, наслаждение кожи, а не освобождение от семени. От семени я и сам могу освободиться, когда хочу...»

«Летом во Франции повсюду грязь, арабы, духота, буржуазные рекламы. Зимой здесь идет мокрый снег. А в России зимой мороз. Светит солнце. Русские женщины в разноцветных платьях смотрят на тебя и приветливо улыбаются. Но я поеду в Россию летом, когда женщины там ходят в легких коротких платьях. Автобусы в Петербурге всегда переполнены, поэтому, садясь в них, можно в любой момент вступать с женщинами в эпидермический диалог. Я помирюсь с Галей и поеду в Россию. Россия – это рай!»

«Сегодня я хотел поцеловать Джоанну. Но она мне сказала: «Послушай, Пьер, ты мог бы быть моим отцом». Нет, это не мой тип! Это не женский архетип!»

«Я написал Ивонне, чтобы она спала со мной, а Ивонна рассказала Гале. Галя стала меня ревновать. Ну что же, место в постели остается вакантным. Мне стоит лишь позвонить Маше или Вале, чтобы заполнить пробел. Можно найти русскую менее страшную, да и помоложе.»

«Ивонна вышла из психбольницы еще более чокнутой, чем была раньше. Матушка Тереза открывает ставни своего дома. Это к дождю. И серый дождь

видела бедная Ивонна за решетками своей лечебницы! О, какое страдание!..»

“Вообще-то Галья, особенно то, что она говорит, тоже не мой тип. Я понял это сегодня. Может, я ошибся с самого начала и это не мой тип вообще?”

Здесь в Париже Маруся фактически уже попала в разряд клошаров, бомжей и проституток, милостыню она, правда, еще не просила, но уже была близка к этому, ей оставалось лишь перешагнуть через последнюю черту, а впрочем - почему бы и нет и что в этом страшного? Чем это хуже каждодневного заискивания на работе перед начальником, когда ты трясешься, чтобы он тебя не выгнал и готова делать по его знаку все, что угодно?

Когда Маруся ехала в парижском метро, то часто встречала людей, которые просили милостыню, попадались среди них и здоровые крепкие мужики в джинсах с красными рожами в кожаных куртках, и, что самое удивительное, им тоже давали деньги. Одну профессиональную попрошайку Маруся уже знала в лицо. Она работала на Сен-Лазаре в пригородных поездах. Это была худая женщина, коротко стриженная, с очень жалостливым выражением лица, одетая в кожаные брюки и кожаную куртку. Ее сопровождала такая же тощая, облезлая собака с точно таким же выражением на морде. Женщина ходила как-то боком, склонив голову к правому плечу и опустив левое. Она заходила в электричку перед отправлением и произносила:

— Пожалуйста медам, месье, один или два франка, или билет в ресторан, или билетик в метро — я голодна, у меня нет ни жилья, ни работы.

Ей давали всегда, ни разу она ни вышла из вагона без подаяния. Маруся встречала ее все время на одном и том же месте, и три года назад, когда она приезжала в Париж, и два года назад, и год назад - она работала все там же. Часто попрошайничали совсем маленькие дети. Однажды в метро Маруся видела, как мальчик лет двенадцати в сопровождении мальчика лет трех, не больше, просил, и ему давали довольно много, причем младший мальчик хватал за руку каждого, кто давал деньги, и пытался поцеловать. У него на голове был повязан грязный платок, из носа текли сопли, а глаза были красные и заплывшие гноем.

Про попрошайек Пьер обычно говорил, что они копят себе на машину или на дом, потому что с питанием во Франции нет проблем, есть специальные столовые для бедных, где кормят бесплатно, и при церквях тоже часто раздают паек. Маруся знала, что Дима тоже просил милостыню, в том числе и в метро. Однажды она стояла с ним на станции метро Пон де Леваллуа, и вдруг Дима спрыгнул вниз и стал лихорадочно рыться среди валявшегося на путях мусора, собирая там окурки, при этом старался выбрать те, что пожирнее. Послышался шум подходящего поезда, Маруся испугалась, он проворно подтянувшись на руках, выпрыгнул обратно и с гордостью продемонстриро-

вал Марусе целую кучу окурков, аккуратно упакованных им в небольшой бумажный кулечек.

Денис тоже просил милостыню и даже неплохо этим зарабатывал. Тогда как раз в Париже ударил сильный мороз, какого здесь не было лет десять, и по телевидению выступил известный проповедник аббат Пьер и призвал всех граждан помочь бездомным, которые замерзают на улицах без крова. Воспользовавшись этим, Денис взял огромный рюкзак, кусок картона, написал на нем “Я русский поэт. Мне нечего есть. Помогите!”, повесил его на грудь и отправился к одному из выездов из города, к Порт де Монтрей. Потом Маруся встретила его в Центре Помпиду, на нем была новая куртка на меху, красивая круглая шапочка с вышитыми на ней золотом слонами, а за плечами был рюкзак.

— Я живу в гостинице, — с гордостью сообщил ей Денис, — и вот, видишь, шапочку себе купил, самую модную!

— А на какие шиши? — поинтересовалась Маруся, ибо она знала, что у Дениса недавно не было денег даже на еду.

— А вот! — Денис снял с плеч рюкзак, открыл его и Маруся увидела, что он до половины заполнен десятифранковыми монетами — набрал! Подают очень хорошо, по телевидению у них постоянно идут сообщения о том, сколько бездомных замерзло, а они же, ты понимаешь, народ гуманный! Я даже недавно открыл себе счет в банке.

Денис громко торжествующе заржал, и на его смех обернулись посетители библиотеки, мирно сидевшие за столами. Маруся в душе ему позавидовала — ведь она бы тоже могла переехать в гостиницу!

Правда, это продолжалось недолго — уже через неделю Денис вновь объявился в доме у Пьера, такой же грязный и голодный, и даже шапочки со слонами у него не было — он продал ее, чтобы купить себе сигарет.

Маруся иногда ходила в РСХД, и там рылась в больших картонных коробках, куда складывалась одежда, пожертвованная богатыми прихожанами для бедных. Там можно было найти одеяния самых диковинных расцветок и фасонов, причем в РСХД попадали только остатки, потому что одежда проходила через несколько ступеней отбора: сперва та, что только что принесли прихожане, рассортировывалась, и люди, работавшие на сортировке, отбирали себе то, что получше, потом еще несколько раз ее перекладывали с места на место, при этом опять происходил отбор, и только потом то, что осталось, отвозили в церковь. Приблизительно раз в три месяца из Парижа в Москву или в Петербург отправляли огромные грузовики с одеждой и медикаментами, это все предназначалось для бедных русских, но вряд ли доходило по назначению, потому что в Петербурге уже образовалось много магазинчиков, где торговали на вес подержанной одеждой, Маруся подозревала, что это была та самая одежда.

Пьер тоже часто ходил в РСХД, и ему там позволяли выбирать из самых лучших коробок. Он находил себе там брюки, рубашки, и даже ботинки, хотя ботинки найти было трудно, особенно хорошие. В основном он выбирал брюки и рубашки зеленого цвета, это был его любимый цвет. Однажды нашел себе очень хорошие сапожки, кожаные, коричневого цвета, на толстой подошве, по форме напоминающие ортопедическую обувь, он все время ходил в них, носок он не носил, а посыпал себе ноги тальком, потому что считал, что так гораздо лучше и полезнее для здоровья.

Когда Пьера спрашивали, что значит «его тип», он не мог ничего объяснить, только вытаращивал черные глаза и взволнованно бежал по комнате. «Ну, это значит, что она меня привлекает. Ты понимаешь, что такое - привлекает?» То есть это включало в себя нечто непонятное и

таинственное, хотя Ивонна считала, что на самом деле, все гораздо проще: когда Пьеру хотелось посношаться - это был его тип, а когда его посылали подальше - то сразу становился не его.

Жена прожила с ним недолго - всего два с половиной месяца и однажды ночью убежала от него на улицу в халате и домашних тапочках, прихватив с собой дочку. Она оставила все свои вещи в доме у Пьера и наотрез отказалась вернуться туда хоть на одну минуту. Еще неделю она жила у знакомых, а потом уехала в Ленинград. У себя дома она долго не могла опомниться, и соседи отпаивали ее валерьянкой, она не могла спать без снотворного, и даже через два года, не любила вспоминать об этом периоде своей жизни.

Потом ей пришло письмо от Пьера, где было написано, что она холодная как мрамор в метро и темная, как туннель. Он продолжал писать ей и даже иногда передавал через знакомых конверты, вкладывая туда по пять долларов, но она все равно ему не отвечала.

У Пьера в рюкзаке хранились пожелтевшие, засохшие и почти истлевшие трусы одной из женщин, которая у него жила или он получил эти трусы на память в подарок, а может, незаметно стащил, и потом забыл об их существовании. Трусы лежали в кармане рюкзака, они там спрессовались и превратились в своеобразный археологический экспонат.

В назначенный час Маруся уже стояла у дверей дома, который ей назвал Франсуа, биограф Селина, с которым она накануне договорилась по телефону о встрече. Она посмотрела на часы – оставалось еще пятнадцать минут. Она решила немного прогуляться, дошла до конца улицы, завернула за угол, и по параллельной улице снова вернулась туда же.

Собравшись с духом, она нажала кнопку переговорного устройства. Тут же раздался писк, и послышался голос:

— Открывайте дверь! Второй этаж!

Маруся зашла в подворотню, справа за стеклянной дверью сидела крошечная старушка-консьержка, которая ей кивнула. Маруся открыла дверь и стала подниматься по лестнице, застеленной ковром. На стене у двери второго этажа висела абстрактная картина – много черных точек, запятых и неровных линий на белом фоне. Она позвонила в дверь, которая сразу же открылась, — на пороге стоял уже немолодой, но бодрый, подтянутый, невысокого роста мужчина с бритой наголо головой, в круглых очках и синей шелковой рубашке. В одной руке он держал какие-то бумаги. Вид у него был такой, будто он никогда с Марусей по телефону не разговаривал, и очень удивлен ее неожиданным появлением. Маруся хотела уже снова рассказать, что она из Петербурга и дальше, про Селина, но он нетерпеливо замахал рукой:

— Да, помню, помню! – и пригласил Марусю следовать за ним. Она вошла в кабинет, где стоял заваленный бумагами стол, за который Франсуа тут же уселся и жестом указал Марусе на старинное кресло. Она снова стала рассказывать про Селина, про “Смерть в кредит”, как впервые услышала имя этого писателя, почему решила переводить. Франсуа задумчиво ее слушал, время от времени его лицо передергивал нервный тик. На полу у камина Маруся заметила бронзовую копию посмертной маски Селина. Тут же лежал слепок с его руки, а рядом, задвинутая в угол, стояла картина “Ленин и ходоки”. Ильич сидел в кресле, закрытом белым чехлом, и внимательно слушал двух косматых крестьян в полушубках, которые наперебой что-то ему рассказывали, оживленно жестикулируя.

— Хотите чего-нибудь выпить? – неожиданно предложил Франсуа. Маруся кивнула, хотя предпочла бы поесть.

— Джин, виски, тоник, сок, вода? – скороговоркой произнес Франсуа.

— Виски, — сказала Маруся. Франсуа удовлетворенно кивнул и вышел, вскоре он вернулся, держа в руках несколько бутылок и высокий стакан со льдом. Он поставил бутылки перед Марусей и положил перед ней на стол шоколадку в красной обертке с золотыми буквами, на бутылке тоже была красная наклейка и золотая надпись. Маруся взяла бутылку и стала наливать себе виски в стакан, при этом она не рассчитала наклон бутылки, и стакан, который, судя по размеру, был, скорее, предназначен для лимонада, стремительно наполнился до краев.

— Что же делать, — подумала Маруся, — отлить назад в бутылку неудобно. Придется выпить.

К тому же Франсуа стоял и наблюдал за ее действиями. Маруся взяла стакан и поднесла к губам виски, сперва она отпила совсем немного, но сразу же почувствовала, как у нее закружилась голова – она с утра ничего не ела.

Подавив рвотный позыв, она положила в рот квадратик шоколада, и залпом выпила все оставшееся содержимое стакана, по ее телу разлилось приятное ощущение покоя и защищенности. Франсуа сразу же показался ей милым и добрым, и она почему-то подумала, что теперь вся ее жизнь совершенно изменится. Франсуа же, который некоторое время с нескрываемым любопытством наблюдал за Марусей, теперь куда-то исчез и долго не появлялся. Перед этим он принес ей альбомы с фотографиями Селина и Люсетт, которых она раньше никогда не видела, и Маруся сидела и медленно их листала. Идти ей куда не хотелось, а возвращаться в дом к Пьеру тем более. Время шло, и она уже перестала понимать, как давно здесь сидит. Наконец он опять появился в дверях и сообщил:

— Ну хорошо, в следующее воскресенье мы поедем к Люсетт. Я уже звонил ей и рассказал про вас. Она будет нас ждать. Только не забудьте захватить с собой купальник и полотенце. Перед визитом к Люсетт мы отправимся в бассейн — я так всегда делаю.

Маруся снова кивнула.

— Тогда до встречи. Я вас не провожаю, у меня завтра очень много работы и вставать придется рано.

Маруся посмотрела на часы — было уже 11 вечера.

На улице накрапывал дождь и, вероятно, было довольно холодно, но Маруся холода не чувствовала — виски все еще действовало.

Когда в воскресенье Маруся снова пришла к Франсуа, он первым делом достал из бара огромную бутылку виски и воодрузил ее на стол перед ней.

— Не стесняйтесь, — сказал он ей — я знаю, что все русские пьют.

Маруся молча улыbnулась и налила себе немного виски.

— Пейте, пейте. А если не хватит, то по дороге мы заедем в магазин и я куплю вам водки, — утешил ее Франсуа.

В это мгновение раздался звонок, и через минуту в комнату стремительно вошел стройный юноша с черными волосами и ярко-голубыми глазами. Франсуа представил их друг другу, юношу звали Филипп, он был серб, хотя родился во Франции. Филипп несколько раз бодро прошелся по комнате, казалось, он просто не способен долго оставаться на одном месте, ему надо был все время двигаться, прыгать, ходить. Он заговорил с Марусей на каком-то непонятном наречии, где знакомые русские слова терялись среди полупонятных и непонятных совсем, заметив, что Маруся его не понимает, он опять перешел на французский. Вскоре вышел и сам Франсуа, который захлопал в ладоши и скороговоркой произнес:

— Алле! Алле! Пошли! — Они спустились вниз, Франсуа вывел из гаража свой “БМВ”, пыльный, с давно не мытыми стеклами, на заднем сиденьи валялась его смятая черная адвокатская мантия и квадратная черная же шапочка, он был действующим адвокатом, а Селином занимался из любви к

искусству. Франсуа небрежно бросил сверху сумку со своими купальными принадлежностями, Филипп уселся на переднем сидении рядом с Франсуа, Маруся – сзади, и они поехали.

Бассейн, куда они приехали, находился в Аквабульваре, так называлось это место, скорее, это было целое скопление бассейнов, которые были там повсюду: и на улице, и в помещении под стеклянной крышей, кроме них там еще были сауны, джакузи с горячей и холодной водой, тобогганы, по которым можно было съезжать вниз, вышки, пальмы и спортивный зал, куда сразу же и направились Франсуа и Филипп, оставив Марусю в одиночестве. Издали Маруся наблюдала за Филиппом – окруженный толпой юношей, среди которых были представители всех национальностей и рас: французы, негры, арабы, китайцы — он что-то быстро и энергично им рассказывал, потом вдруг разбежался и, сделав сальто через голову, плюхнулся прямо в маленький бассейн с холодной водой. Франсуа тоже последовал его примеру и с разбегу вниз головой прыгнул в бассейн, подняв тучу брызг, потом он стал изображать в воде разные фигуры – плавал, подняв вверх сложенные вместе ноги, рядом с которыми на воде виднелось его лицо с вытаращенными глазами, потом сделал “поплавок”, выставив на всеобщее обозрение свой круглый, обтянутый красными плавками зад, а потом стал изображать кита, пуская изо рта вверх мощную струю воды. Вынырнув, он задумчиво сказал Марусе:

— Как бы я хотел стать моллюском! Не иметь рук, не иметь ног, совсем не иметь зубов, быть только мягким, скользким и податливым телом!

Пока Маруся думала, что ему на это ответить, он нырнул и исчез под водой.

После Аквабульвара к ним в машину подсел еще один юноша, темноволосяный и смуглый, похожий на араба, к тому же на голове у него был берет, очень похожий на те, что носят солдаты армии Саддама Хуссейна. Юношу звали Адель. Некоторое время они ехали молча, и тут Адель обратился к Марусе:

— А это правда, что вы внучка Ленина?

Маруся вдруг почувствовала, что на столь неожиданный вопрос было бы глупо ответить отрицательно, и хотя сам Ленин никогда не врал, она не задумываясь сказала, что да, конечно, она внучка Ленина, и отчасти она говорила правду, потому что в детстве она была октябренок, про которых всем было известно, что они – “внучата Ильича”. — А вы видели своего дедушку? – не отставал от нее Адель.

— Нет, — с чистой совестью ответила Маруся, — он умер задолго до того, как я родилась.

Казалось, Адель был полностью удовлетворен. Франсуа, который тем временем продолжал вести машину, весело захихикал, видимо, это он натрепал своим приятелям про Марусю всякую ерунду и теперь был доволен, что его импровизация удалась.

— Ты поедешь к Люсетт? — спросил Франсуа у Филиппа.

— Нет, что я там забыл? — ответил ему Филипп. — Но подбрось нас до метро, нам еще нужно кое-куда зайти!

Франсуа свернул налево. И тут Филипп внезапно сказал ему:

— Франсуа, ты воняешь! — и залился беззаботным смехом. — Это правда, от него воняет! — повторил Филипп, обернувшись к Аделло, и они оба стали распевать на разные голоса:

— Вонючка, вонючка, вонючка! — и так пели, пока не доехали до ближайшей станции метро, где Франсуа их наконец высадил. Дальше они уже поехали вдвоем с Франсуа, и он даже поставил какую-то классическую музыку, чтобы было не скучно ехать. Маруся ужасно волновалась, что вот она сейчас увидит Люсетт, о которой столько читала, ей все еще не верилось, что это на самом деле произойдет. Дорога шла вверх, они подъехали к высокому бетонному забору, Франсуа обогнул его и въехал во двор, где стоял трехэтажный дом, а перед домом была клумба, наверное, летом здесь много цветов и зелени, подумала Маруся. Франсуа отправился вперед, Маруся — за ним, двери были открыты, в прихожей их встретила огромная лохматая собака, она виляла своим твердым, как палка, хвостом, и старательно облизывала Марусе руки, Франсуа же брезгливо отталкивал собаку, потом он толкнул низенькие дверки и вошел в просторный салон, там за столом сидели гости, человек пять или шесть. У окна стояла большая клетка, в которой прыгал разноцветный попугай, точно такой же попугай, но побольше и более яркой окраски и тряпичный неподвижно сидел на жердочке под самым потолком. К Марусе сразу же подошла маленькая худенькая старушка, одетая в белые брюки и белую блузку, ее седые волосы были зачесаны назад, обнажая высокий лоб, она протянула Марусе изуродованную артритом руку и пригласила ее садиться за стол.

— Это Люсетт, — сказал Марусе Франсуа, — Люсетт, вы что, с ума сошли? — сварливо продолжил он, — Ведь я же просил вас не покупать пирожные, я говорил, что сам куплю, и куда теперь вы будете девать столько пирожных?

— Ничего Франсуа, не сердитесь, — миролюбиво произнесла Люсетт, — Сегодня у нас много гостей.

В комнате горел камин и распространял легкий запах каких-то лекарственных трав.

Вокруг стола бродили сразу три собаки: немецкая овчарка, черный коккер-спаниэль и ризеншнауцер, тот, что встретил их у дверей. Франсуа недовольно поморщился: собаки лезли мордами в тарелки и так сильно виляли мощными хвостами, что поднимали ветер. Франсуа потребовал у Люсетт выгнать собак в прихожую, однако она уже уселась на свою кушетку у стола, положив ноги на большую подушку, поэтому выгонять собак пришлось даме, сидевшей рядом с ней. Все называли ее Сержина, она была в джинсах и поло-

сатой футболке. Потом Франсуа рассказал ей, что он нашел Сержину где-то в Нормандии и привез в Париж, помог здесь устроиться, что скорее всего Сержина – внебрачная дочь Селина. Возможно, он опять шутил, но внешне Сержина чем-то действительно была похожа на Селина.

У камня недалеко от Маруси сидел седой старик, бывший балетный танцор, сейчас он преподавал в балетной школе. Он стал рассказывать Марусе, как Селин, который был врачом, в свое время производил гинекологический осмотр его жене, тогда они еще были очень молодыми... Франсуа потом сообщил Марусе, что он всегда рассказывает всем одно и то же, и это иногда ужасно раздражает... Пожилая дама рядом с Марусей принялась расспрашивать ее, где она живет. Маруся предпочла не вдаваться в подробности. Дама была очень мила и даже сказала Марусе:

— Вы такая красивая и так хорошо одеты!

Марусе это было приятно, потому что она вовсе не была уверена в том, что действительно хорошо выглядит в тряпках, которые позаимствовала в комнате у Ивонны, пока та находилась в дурдоме. Этот комплимент поднял ей настроение.

За столом все говорили наперебой: каждый о своем, и все эти голоса сливались в один неясный гул, Маруся иногда теряла нить разговора, иногда, как под воздействием вспышки, ей все становилось сразу ясно. Франсуа с довольным видом разлегся на кожаном диване прямо в черных лакированных ботинках, один его ботинок упирался прямо в бок Сержины, но Франсуа не обращал на это никакого внимания. Люсетт тем временем положила себе в тарелку несколько листиков салата и потихоньку их ела, запивая водой из широкого квадратного стакана. Она рассказывала Марусе о том, как Селин ездил в Ленинград в 1936 году, там у него была переводчица Натали, которая его спасла: предупредила о том, что его собираются арестовать, а ведь Селин хотел еще поехать в Москву, получить в “Госиздате” гонорар за русское издание “Путешествия на край ночи”...

Ужин продолжался до поздней ночи. Потом Маруся помогала ей относить тарелки на кухню, ставила их в посудомоечную машину, а объедки складывала в миски собакам, и они тут же ворвались в кухню и стали жадно жрать, виляя хвостами и выхватывая куски у Маруси прямо из рук. Вообще, у Люсетт не курили, но на кухне это разрешалось. Это сказал Марусе лысаватый мужик в кожаных брюках и кожаной куртке, который вышел на кухню вслед за ней. Он предложил ей “Кэмел”, и они вместе закурили. Он сказал, что он актер, живет на барже недалеко от Бастилии и даже пригласил Марусю к себе в гости, предложил ей там пожить, если у нее вдруг возникнут трудности с жильем, так как сам он на два дня уезжает в командировку. Маруся поблагодарила его, трудности с жильем у нее были, но что могли решить два дня...

На обратном пути Франсуа специально провез ее через Булонский лес и показал место, где обычно собираются проститутки, но на сей раз было очень холодно и почти никого не было, только у фонаря стоял одинокий юноша в красном шарфике.

— Такой юноша стоит всего пятьсот франков, — прокомментировал Марусе Франсуа, — это совсем недорого...

— А как Селин относился к Достоевскому? — спросила его Маруся, которая уже давно вынашивала этот вопрос, отчасти потому, что ее действительно давно это интересовало, отчасти для того, чтобы завести умную беседу и подтвердить свой интерес к Селину.

— Не знаю — беззаботно ответил ей Франсуа. И по тому, как он это сказал, было видно, что ему, на самом деле, глубоко безразлично, как Селин относился к Достоевскому. Его машина плавно катилась вдоль празднично поблескивавшей огнями плавучих ресторанов Сены, в салоне машины звучала негромкая классическая музыка, у него были молодые веселые друзья, интересная работа, роскошная квартира в центре Парижа, и он не хотел забивать себе голову всякой чепухой. От этой легкости и плавного беззаботного скольжения вдаль в голове у сидевшей рядом с Франсуа Маруси на мгновение вдруг все как будто помутилось. Она вдруг перестала понимать, почему, узнав телефон Франсуа уже давно, в самом начале своего пребывания в Париже, она долгие месяцы не решалась ему позвонить, а все это время подвергала себя бесконечным унижениям, ходила по помойкам, голодала, жила с сумасшедшим, рыдала, билась в истерике, постоянно не находила себе места, целые дни напролет проводила в Центре Помпиду, сидела там, тупо уставившись на улицу, зарывалась по ночам под одеяло, стараясь таким образом укрыться от холода и внезапно охвативших ее приступов ужаса... И вот теперь у нее даже никто не спросил про книгу, когда она выйдет и есть ли она вообще, а ведь никакого перевода могло вообще не существовать в природе, она все это могла спокойно выдумать, а значит, на ее месте могла быть любая другая. Но этого, казалось, в окружении Люсетт никого особо не волновало, никто этого не замечал, все об этом почти сразу забыли.

Франсуа довез ее до самого дома в Буа-Коломб, они договорились созвониться на будущей неделе — он хотел повезти ее в Оперу, где у него была своя постоянная ложа, на американский балет, туда же должна была пойти и Люсетт.

Несколько дней спустя Маруся снова встретила Ивонну у Пьера. Та зашла на минуту в сопровождении прыщавого молодого человека с бесцветными глазами, стриженного ежиком, узнать, нет ли на ее имя корреспонденции, Пьера в это время не было дома, и Ивонна, посидев пятнадцать минут, поспешно

ушла. Она сообщила Марусе, что нашла пожилого господина, у которого есть деньги и который хочет помочь ей стать актрисой, у него большая квартира, и она вполне довольна. А пока она снимается для рекламы носок, и ее фотографии можно даже увидеть в магазинах “Монопри”, то есть не ее лицо, конечно, а ее ноги, точнее, ступни в разноцветных носках. Она постригла свои волосы и Маруся обратила внимание, что при такой стрижке ее длинный нос еще сильнее выступает вперед, а глаза кажутся совсем маленькими. Вскоре вернулся Пьер, он очень расстроился, что Ивонна не дождалась его, но вскоре выпил красного вина и забыл все неприятности. Пьер жил «настоящим мигом», он все время повторял:

— Э-э-э... настоящий миг... живи настоящим мигом...

Маруся знала, что он писал Ивонне записки с предложением спать вместе, а когда по ночам криками призывал ее к себе в постель, Ивонна дрожала от страха у себя в комнате, ведь у нее на дверях не было даже задвижки. Потом, правда, приехала Галя, и Ивонна была очень рада этому. Вплоть до той ночи, когда Пьер бегал за Галей с ножом, и та выскочила вместе со своей дочкой на улицу в одном халате и тапочках, Ивонна жила относительно спокойно. В ту ночь Пьер попытался проникнуть к Гале в комнату через окно, которое она забыла закрыть, и до смерти напугал ее. Она бросилась наверх к Ивонне, а Пьер перерезал телефонный провод, вырубил в доме свет, и побегал с ножом за Галей. Ивонна тогда тоже очень испугалась, правда, она все равно считала Галю идиоткой, потому что та упускает такой хороший случай остаться во Франции. Но Галя хотя бы не попала в сумасшедший дом, Маруся считала, что это уже неплохо.

Пьер повесил у себя над кроватью огромный портрет Гали, у которой почему-то были под носом желтые усы, глаза небесно-голубого цвета, треугольный подбородок и завиток волос на лбу. Правда, потом, когда Галя отказалась с ним спать, Маруся на этом месте обнаружила вырезанную из журнала фотографию незнакомой девушки, Пьер не раз говорил ей, что она похожа на Галю, так же прекрасна. Все лицо у этой фотографии было истыкано ножом, на месте глаз и рта зияли рваные дыры. Маруся очень испугалась, она помнила чувство ужаса, охватившее ее тогда, когда Пьер молча вошел в кухню и прошел мимо нее, толкнув ее при этом плечом. Тогда она и решила поскорее уехать из этого дома.

Она уже не сомневалась, что ей не стоит дожидаться, пока ее постигнет участь Гали и Ивонны, и надо срочно куда-нибудь переселиться, хотя бы на время, до ее отъезда в Петербург. Она твердо решила вернуться домой.

В надежде, что ей удастся найти себе пристанище хотя бы на несколько дней, пока у Пьера не пройдет обострение, Маруся пришла к Кате в ее квар-

тиру на Бобур, и застала у нее Мишель Керра. там же находился и новый кагин приятель Володя, которого Маруся уже до этого встречала в Петербурге. На этот раз он был в тельняшке и с бритой наголо головой. Вскоре они даже собирались пожениться, но перед этим Катя хотела как следует проверить свои чувства. Ведь у нее уже было много мужей, и ни один ее по-настоящему не устраивал. Правда, Володя один раз по пьянке сломал Кате ребро, но зато в другой раз она, тоже напившись, избивала его ногами, он валялся на полу, а она била его каблуками по физиономии, а потом сдала в милицию. Через пару дней его выпустили, они помирились и поехали вместе в Париж.

Все пили красное вино и, судя по количеству пустых бутылок, уже были основательно пьяны. Кроме Мишеля, Володи и Кати за столом сидел еще какой-то тщедушный человек, которого Маруся сразу не заметила. Остатки волос на его голове были старательно зачесаны назад, лицо было цвета пергамента, а глаза были красными и без ресниц.

— Это Шкапов, — воплолосо сообщали Катя Марусе, — Светлая голова, умница. Недавно закончил трактат о философии раны.

Услышав столь неожиданную для себя характеристику, Шкапов сразу же встрепенулся и с увлечением начал рассказывать о философской категории познания в теологии. Категория же страдания, по его словам, появилась в христианской философии только в Средние века, до этого же, по его мнению, христианская мысль такой категории не знала. Катя внимательно слушала его и поддакивала:

— Да... да... да...

Володя же периодически прерывал свое молчание негромкими замечаниями:

— Ну... я слушаю, слушаю..., — многозначительно окидывая при этом Шкапова с ног до головы загадочным взглядом и подливая себе вино из большой пузатой бутылки. Шкапов все говорил и говорил, Мишель, которому в отсутствие Агаши никто ничего не переводил, явно заскучал, да и Катя уже не так часто вставляла свои “да”, как в начале речи Шкапова... Наконец он сделал небольшую паузу, намреваясь отпить немного вина из своего бокала, он уже поднес было бокал к своему рту, как тут раздался громкий раскатистый голос Володи, от которого все невольно вздрогнули:

— Слушай, а ты случаем не еврей? — Шкапов поперхнулся, от возмущения его глаза вылезли из орбит, он начал сбивчиво бормотать в свое оправдание:

— Да ты что... Да я.. да мой дед был казак.., — а Катя молча с наслаждением за ними наблюдала. В конце концов, Шкапов вскочил из-за стола и, попрощавшись с Катей, ушел, хлопнув дверью. Казалось, Мишель был очень рад, что Шкапов ушел. Теперь говорить начал он. Волосы Мишеля растрепались, обнажив намечающуюся лысину, очки поблескивали на потном носу. Катя опять начала привычно повторять:

— Да... да... да...

Володя продолжал мрачно молчать и пить. Вдруг он как будто что-то вспомнил, нагнулся и достал из-под стола большую брезентовую сумку, и извлек оттуда пластмассовую баночку, на которой были нарисованы пчелы.

— Вот, — сказал он, протягивая баночку Мишелю, — этот мед я привез из монастыря. Его собирали сами монахи, это целебный мед. Купите, одна баночка стоит всего сто франков.

Мишель не говорил по-русски, он молча уставился на баночку, потом, решив, что его угощают, взял ее, открыл и ложкой стал ковырять мед.

— Да-а-а, — протянула Катя, — уж тут-то можно и не торговать. Если хочешь, я сама тебе компенсирую потом эти сто франков!

— Нет, — упрямо сказал Володя, — Мне не нужны сто франков, для меня важен принцип. Эти деньги пойдут монахам.

— Ну уж! — ядовито протянула Катя, — Монахам твои сто франков не нужны.

Мишель в недоумении смотрел на них, Катя это заметила и, обращаясь к Мишелю, пояснила:

— Володя недавно был в монастыре, привез оттуда этот замечательный мед, угощайтесь! Он обладает целебной силой!

Мишель поблагодарил, взял чайную ложку и с жадностью стал этот мед поедать. Володя смотрел на него с возрастающим раздражением, потом резко встал из-за стола и отправился курить на кухню. Тут Катя вдруг заметила, что за столом сидит еще и Маруся.

— Ты знаешь, дорогая, мы с Володей скоро уезжаем, хотим пожить в монастыре, очиститься от всей этой скверны, а в нашей квартире будет жить Мишель. Ему в Париже жить негде, поэтому он обычно живет у нас.

Маруся вспомнила, что и в Петербурге Мишель жил в квартире у Кати, тогда Катя и познакомила ее с ним.

Профессор был приземистый, с одутловатым бледным лицом, в очках, его длинные сальные волосы спускались сзади на воротник потрепанного пиджака. Он приехал из Парижа со своим учеником – тощим прыщавым Антуаном. Катя пригласила Марусю на лекцию Мишеля, он читал ее в “Гуманитарном университете”, располагавшимся в обветшалом здании бывшего ПТУ на Петроградской стороне, неподалеку от Карповки. Лекция была посвящена русской иконописи и творчеству Кандинского. Тесная аудитория была до отказа забита студентами Университета и бородачьими деятелями андеграунда, среди которых Маруся увидела много знакомых лиц. Лекцию переводила Агаша.

Профессор Керр, со студенческих лет занимавшийся русской иконой и даже написавший на эту тему диссертацию, позднее случайно познакомился с вдовой Кандинского, которая попросила его помочь ей разобрать архивы покойного мужа. Так в его руках оказался богатейший материал, но и старые наработки

ему было жаль бросить. Но профессор недолго мучился дилеммой, чем же ему теперь заниматься: Кандинским или иконами. Вскоре, к своей неожиданной радости, он обнаружил, что в картинах Кандинского есть очень много общего с иконописью, и чем внимательнее он вглядывался в картины Кандинского, тем больше общих черт с иконами он в них находил.

Лекция сопровождалась показом диапозитивов, профессор демонстрировал картины Кандинского, находя в них многочисленные параллели с изображениями Троицы, Христа и Богоматери.

— Вот, посмотрите, взгляните внимательно — восклицал он, тыча указкой в расплывчатые цветные пятна, — здесь ясно виден лик Христа, а здесь — Богоматерь с младенцем.

Аудитория тупо и недоуменно молчала. Правда, свое недопонимание большинство из присутствующих было склонно относить на счет не совсем внятного и маловразумительного перевода Агаши, которая очень старательно выговаривала вслух каждое слово из заранее заготовленного на бумажке текста. Маруся заметила, что последнее обстоятельство, действительно, отрицательно сказалось на синхронности перевода, потому что несколько раз, когда из беспредметного пятна, по мысли профессора, на присутствующих должен был взирать Христос, Агаша называла то Иуду, то Богоматерь, и наоборот. Впрочем, как раз это вряд ли могло служить истинной причиной некоторого недопонимания слушателями мысли профессора, так как почти никто из сидящих в зале французского не знал. В целом же, несмотря на все эти малюнькие неувязки, лекция прошла успешно, в заключение благодарные слушатели даже устроили профессору небольшую овацию. Маруся неоднократно слышала от Кати про Мишеля Керра, что он богатый аристократ и владелец старинного замка в Нормандии, поэтому ее несколько смущал потрепанный пиджак профессора и отсутствие у него двух передних зубов. Спрашивать об этом Катю было глупо, но Катя, как бы почувствовав причину марусиного недоумения, сама сразу ей все объяснила:

— Вот видишь, он совершенно безразличен к одежде, так во Франции одевается большинство интеллектуалов.

Поэтому позже в Париже, когда Маруся узнала, что Галя всерьез долгое время принимала Пьера за профессора, она не удивилась. Ведь Галя хорошо знала Катю и испытывала перед ней настоящее преклонение, за то, что она так много в своей жизни пострадала за женщин и за Бога.

На следующее утро у Маруси зазвонил телефон. Это была Агаша, которая очень озабоченным и серьезным голосом пригласила Марусю срочно зайти к Кате, где сейчас она тоже жила вместе с Мишелем, исполняя при нем обязанности секретаря-переводчика. Мишель хотел предложить Марусе перевести на русский одну из своих статей.

— Он очень много слышал о тебе и хорошо заплатит.

Маруся совершенно не выспалась, и была в плохом настроении, но у них с Костей как всегда не было денег, поэтому отказываться от перевода, да еще и за валюту, было нельзя. Маруся разбудила Костю, и, чтобы не было скучно, пригласила его пойти вместе. Костя с радостью согласился – он всегда был рад видеть Катю, беседами с которой очень дорожил.

Однако, когда Маруся с Костей позвонили в катину дверь, им никто не открыл, хотя им казалось, что за дверью они слышат какое-то шуршание. Они позвонили еще раз, потом еще, ответа не последовало, они уже собрались уходить, но в это время шуршание за дверью стало более явственным, дверь распахнулась, и на пороге возникла Агаша, облаченная в цветастый шелковый халат. Агаша напряженно и не слишком дружелюбно смотрела то на Марусю, то на Костю, как будто видела их впервые в жизни.

— Ах! — наконец сказала она, как будто что-то наконец вспомнив, — Вы к Мишелю! К сожалению, его сейчас нет дома. Он только что ушел. В десять тридцать у него встреча с академиком Лихачевым в Эрмитаже.

По губам у Агаши скользнула издевательская улыбка, которую она даже не сочла нужным скрыть. Марусю охватила ужасная злоба: Агаша разбудила ее в 9 утра, позвала в гости, а теперь делает вид, будто они пришли сами.

— Ну что ж, — сказала она, — Мы подождем, — и увлекая за собой в нерешительности застывшего в дверях Костю, она стремительно прошла мимо Агаши на кухню, где у плиты стоял Антуан и готовил себе яичницу. Маруся села на табурет и стала разговаривать с Антуаном: давно ли он знает Селина, какие замки у его родителей? И про замки в Провансе у отца Антуана, который был потомственным маркизом, и про то, что сам Антуан был анархистом и большим поклонником Селина, Маруся слышала от Агаши, поэтому в ее вопросах не было никакого подвоха, просто ей хотелось подольше потянуть время, дабы досадить Агаше. Однако реакция на эти безобидные вопросы у Антуана была более чем странной. Он в изумлении вытаращил на Марусю глаза: похоже было, что имя Селина он слышит впервые в жизни, при упоминании же о замках он краснел, как рак, и кашлял. Все это время из коридора доносилось шушуканье и чьи-то шаги. Кати дома не было, поэтому Костя сидел молча у окна на табуретке и явно скучал. Тут на пороге снова появилась Агаша и очень вежливым вкрадчивым голосом сообщила, что она ошиблась, на самом деле профессор ни на какую встречу не пошел, а просто сейчас отдыхает в своей комнате, так как вчера работал допоздна. Но он обязательно поговорит с Марусей и с Костей, только не сейчас, не сразу, а только через полчаса, после того как еще чуточку поспит... На губах у Агаши опять появилась злорадная улыбка, выражавшая глубокое наслаждение, которое она получала от столь явного несовпадения предыдущей информации с последующей. На сей раз первым встал уже Костя, он взял Марусю за руку, и они молча вышли на улицу.

Через несколько дней Катя как бы невзначай сообщила Косте по телефону, что тогда на кухне Маруся все утро приставала к ученику профессора Антуану. Костя сказал, что это полный вздор, так как он сам там в это время находился.

— Ну ты же не знаешь французского, поэтому ничего и не понял, а она говорила ему: “Мальчик, я прижмусь к тебе голым телом.” Агаша все слышала!”

Костя опять сказал, что это чушь, тогда Катя вдруг голосом, полным злодства, добавила:

— Мне и сам Антуан жаловался, а он врать не станет, маркиз все-таки!

И повесила трубку. Костя ничего не понял, он даже не стал рассказывать об этом Марусе (она узнала об этом только потом, много позже), так как очень дорожил своими отношениями с Катей и не хотел их рвать, кроме того, Маруся и так была крайне озлоблена на Агашу.

Костя вообще долгое время ни с кем не общался, поэтому отношения с Катей значили для него очень много. Конечно, то, что она была диссиденткой и феминисткой, не очень нравилось Косте и казалось ему вульгарным. Но она изучала богословие в Париже, любила Ницше, переписывалась с Ортегой-и-Гассетом, и могла по достоинству оценить все тонкости костиных мыслей. Вообще, для Кости это было не просто знакомство, а настоящая Встреча, о возможности которой писал еще Новалис. Костя не сомневался, что Катя тоже дорожит Встречей с ним, ничуть не меньше, чем Цветаева дорожила своей Встречей с Рильке.

Но все-таки, что значили эти слова про маркиза? Какая-то слабая тень сомнения закралась в его душу, ведь Катя была совсем не дура, чтобы нести подобную чушь. И потом, если даже к маркизу действительно приставала женщина, то было ли благородно с его стороны жаловаться на это? Где здесь логика? А может быть, в словах Кати содержался какой-то скрытый намек, как в свое время Пушкину намекали на Дантеса, ведь Костя тоже был поэтом, и Катя всегда восхищалась его стихами.

Впрочем, первое время Костя сразу же отмахивался от этой мысли, которая казалась ему абсолютно нелепой и бессмысленной. Однако, как раз в это время, он срочно должен был закончить одну свою статью и очень плохо высыпался. Они как раз тогда собирались с Марусей в Париж. Потом у Кости началась от переутомления бессоница.

И теперь, когда он часами лежал на постели, безуспешно пытаясь заснуть, ему с каждым разом становилось все труднее избавляться от мыслей о двух французских аристократах, к тому времени уже давно благополучно вернувшихся к себе на родину. Ведь, в конце концов, Катя в чем-то была права, русские, действительно за последние семьдесят лет утратили свое былое благородство...

Марусе было неприятно вспоминать обо всем этом, к тому же она поняла, что жить ей здесь нельзя, поэтому она встала из-за стола и попрощалась. Мишель, который успел съесть уже три четверти содержимого банки, обливаясь, встал и пожал ей руку, после чего снова продолжил свое занятие.

Выйдя от Кати на темную улицу, Маруся стала лихорадочно перебирать в мозгу все места, куда она могла теперь пойти, чтобы не ночевать на улице. Было уже около двенадцати ночи, метро через полчаса закрывалось, поэтому решение нужно было принимать немедленно. К Трофимовой ей идти не хотелось, оставалась только мастерская русских художников на улице Жюльетт Додю неподалеку от станции метро “Сталинград”. Она находилась на территории старого завода, у завода была стеклянная крыша, отчего зимой там было ужасно холодно, а летом невыносимо жарко.

Маруся однажды была там несколько месяцев назад на открытии выставки какого-то художника из Москвы, картин этого художника она уже не помнила, а запомнила только выступление джаз-квартета, одна из участниц которого сидела прямо на полу в обнимку с контрабасом, и еще проводившаяся под музыку этого квартета демонстрация мод. Среди моделей она сразу же узнала Свету, хотя сделать это было не так просто – Света была в блестящем, как у конькобежца, комбинезоне, в прозрачном целофановом плаще и каком-то невероятном космическом шлеме с рожками.

Маруся пришла на выставку вместе с Костей, который тогда только что выписался из психушки. Заметив Свету, Костя поспешно отвернулся и отошел в другой конец зала, а Маруся подошла и поздоровалась с ней. Света к тому времени уже исчезла из дома Пьера, видимо, нашла себе для жилья другое место, поспокойнее.

Тогда же Маруся познакомилась с писателем Лямзиным и его женой Лилей. Лямзина с женой пригласил на выставку художник Рогов, которого все называли “Рог” и который и водил их по выставке. Лямзин прошел за ним сначала в одну, затем в другую сторону вдоль стены, на которой были развешены картины, и все повторял: “Блеск! Круто! Просто блеск!”

Вообще, это была модная галерея, ее даже пару раз посетил министр культуры Франции. Тем не менее, помещение у художников собирались забрать – неожиданно объявившийся владелец завода предъявил художникам иск, обвинил их в незаконном захвате здания и требовал их выселить. Хотя в Париже подобные “незаконные захваты” были самым обычным делом, захваченные здания назывались “скват”. Потом художники нашли себе хорошего адвоката, который в свое время защищал Азнавура, и покидать здание не спешили. Тяжба длилась уже два года.

Маруся спустилась в метро и поехала в скват, но в середине пути поезд метро вдруг остановился и мелодичный голос объявил, что линия сломана, поезд дальше не идет. Она вышла на улицу и пошла пешком. Она шла вдоль линии метро, которая проходила сверху, это был далеко не самый комфортабельный район Парижа, было поздно и навстречу ей то и дело попадались какие-то подозрительные личности, - кто просил у нее сигарету, кто два франка Потом какой-то араб долго шел рядом, звеня ключами и что-то бормоча.

Огромные железные ворота мастерской оказались заперты, она постучала, ей открыл полицейский, оказалось, что впустить в мастерскую ее могли только на час, по настоянию владельца завода никакие посторонние личности здесь больше не имели права оставаться на ночь, лафа закончилась, адвокат Азнавура художникам не помог, суд принял решение не в их пользу. А значит, Марусе придется провести ночь под дождем в подворотне или на вокзале, от одной мысли об этом у нее в голове все помутилось, как это нередко с ней случалось, и она утратила способность воспринимать все факты в их совокупности, а только слышала какие-то отрывочные выхваченные из контекста

фразы, и видела чьи-то незнакомые лица, но общий смысл происходящего от нее ускользал. Огромный полицейский с красной рожей и другой, тщедушный с мясистым носом и вытаращенными глазами маячили перед ней, как будто в стеклянном тумане.

Маруся понору пошла в глубь мастерской. За столом, в центре огромного зала на табуретках, ящиках, чемоданах или просто кучах какого-тохлама сидели не менее десяти человек, некоторых Маруся уже видела раньше, или встречала в других местах. На столе стояла бутылка с вином, и судя по количеству пустых бутылок под столом, застолье продолжалось уже не один час. Но, скорее всего, оно здесь не кончалось никогда, так как в прошлый раз на открытии выставки она застала здесь примерно такую же картину, разве что народу за столом было побольше.

Сидевший во главе стола раздетый по пояс бритый наголо художник по фамилии Буров (его Маруся уже встречала здесь, про него рассказывали, что он приехал во Францию на грузовом судне в контейнере с говном, поэтому ему и удалось обмануть бдительных советских пограничников) сразу же предложил Марусе ехать с ним, он был пьян, и собирался уходить, но не успел он закончить, как сидевшая рядом с ним жирная женщина с багрово-красным лицом вдруг ужасно заволновалась и завопила, причем сразу же на двух языках, русском и французском, так что понять что-либо из ее воплей было довольно сложно, отчетливо Маруся расслышала только слово “блядь”, которое прозвучало несколько раз. Буров, который было, уже поднялся со своего места, снова сел.

Маруся огляделась по сторонам, повсюду на стенах просторного заводского зала были развешаны картины, сплошь состоявшие из квадратов, кру-

жочков, треугольников, картин было так много, что все они не помещались на стенах, а штабелями лежали и стояли повсюду, в том числе и на полу, отчего порой начинало казаться, что это вовсе не картины, а специальные погрузочные поддоны, которые всегда в огромном количестве валяются в заводских цехах.

Справа от Маруси сидел толстый мужик в очках, в красной футболке и в джинсах, живот у него вываливался поверх пояса, под футболкой вырисовывалась женская грудь.

— Ну что можно сказать? Я скажу вам прямо, что это полная хуйня, — произнес он, видимо продолжая на время прерванный разговор, при этом его маленький затерявшийся между пухлых щек ротик как-то причудливо вытянулся,

— Здесь в Париже все давно уже схвачено, все сферы влияния поделены. Мальчик, что у отеля стоит — и тот знает, кому в первую очередь нужно кланяться, кто ему даст больше чаевых. В мире сейчас господствуют три мафии: евреи, гомосексуалисты и правые, то есть люди, которые все делают правильно, выступают, так сказать, за добро. И с этим нужно считаться, а иначе успеха тебе не видать, будешь в говне всю жизнь. Ну конечно, если ты не гений. Ведь ты не гений, Володя? — обратился он к сидевшему напротив него худощавому брюнету, который в ответ, смущенно, как показалось Марусе, отрицательно покачал головой.

— Вот! И я не гений! Конечно, если ты гений, тогда тебе все по хую! — неожиданно завершил свою тираду толстяк, которого все присутствующие за столом почему-то называли “Балда”.

— Вот Санта у нас гений! — указал Балда Марусе на щедушного пожилого художника в очках и с беретиком на голове, жидкие седые волосы его были собраны сзади в крысиный хвостик.

— Вы не знакомы, кстати, это Санта Барбара. Я вам, уважаемая, настоятельно советую обратить на него внимание. Санта — это наша история! Санта, да еще Паша Китов..., — продолжил Балда, на сей раз обращаясь уже непосредственно к Марусе. Санта Барбара закивал Марусе с кривой улыбкой.

Китова Маруся знала, это был тот самый безумный тип, с желтыми прокуренными усами в белой кепочке, который в прошлый раз на вернисаже схватил Костю за пуговицу и в течение получаса не отпускал, он вплотную приблизил свое лицо к костиному и, дыша на него перегаром, делился с ним своими мыслями, из которых Маруся, проходя мимо, уловила только то, что “СССР на самом деле это Свободный Союз Святой России” и что “скоро будет Девятое Мая на все времена”. Еще до своего отъезда из Москвы Китов, помимо живописи, занимался фотографией, но денег за свои снимки почему-то ни с кого не брал, в результате кто-то пустил про него слух, что он сотрудничает с КГБ. “Раз не берет денег, значит, ему платят в КГБ!” Эти слухи пре-

следовали его и здесь, во Франции, где он жил в пригороде Парижа Монжероне в общежитии в тесной комнатке на шесть человек. У него недавно повесилась жена, а сам он почти не выходил из психушки.

Санта был одет в холщовый комбинезон, весь заляпанный краской, беретик на его голове съехал на одно ухо, он радостно закивал Марусе, так как на него, судя по всему, здесь уже давно никто не обращал внимания.

— Сейчас, сейчас, я могу показать вам свои работы! — забормотал он, и, подскочив к столу, стоявшему у стены мастерской, лихорадочно начал перебирать лежавшие на нем холсты, — вот, вот, и вот!

Все его работы сплошь состояли из брызг и потеков краски, при этом он явно предпочитал черные, серые и коричневые тона.

— А вот еще одна! — Санта носком ботинка указал на лежавший на полу у стола холст, затем, приподняв этот холст с пола, он задумчиво указал Марусе на оставшиеся от холста на полу потеки краски. — Я уже не раз замечал, что на полу даже лучше получается. Я обычно работаю широким мазком, краски не жалею, и она протекает сквозь холст на пол. Видите? Только эти работы, к сожалению, нельзя сохранить надолго, они недолговечны...

Балда тем временем с тяжелым вздохом откинулся на спинку стоящего у стола старого автомобильного сиденья, на котором он сидел, и задумчиво устремил взор куда-то вдаль. Тут речь зашла о каком-то Коле, который, по словам присутствующих, был замечательным, прекрасным человеком, и гениальным художником. Услышав упоминавшееся слово “гений”, Балда опять встрепенулся:

— Гением?.. Нет, Коля гением не был, он и зад мог подставить, когда нужно, всегда нужный момент усекал, поэтому и жил неплохо, дай ему Бог здоровьица..., — Балда поднял руку со стаканом вина, как бы желая провозгласить тост, однако сидевший напротив от него Володя почему-то при этих его словах весь как-то передернулся и даже подскочил на месте:

— Ты что? Ты что? Какого здоровья? — в ужасе и негодовании сбивчиво забормотал он — Он же умер!

— Помер, говоришь? — задумчиво протянул Балда, уперев одну жирную руку в колено и нагнувшись вперед, отчего у него на боку и на животе образовалось сразу несколько складок, — А и все равно, дай ему Бог здоровья! Ведь там, на том свете, тоже здоровеньким нужно быть, здоровье, оно, брат, всем требуется, а то ведь червячки сразу и сожрут...

Балда снова поднял поставленный было на стол стакан и выпил его содержимое. После последних слов Балды в мастерской установилась полная тишина, все молчали и прихлебывали вино из стаканов. В конце концов, Марусю все же согласились оставить ночевать, с условием, что завтра утром в восемь часов утра она уйдет. Она легла в углу на кровать, накрытую засаленным одеялом, окно было выбито и хотя рядом с кроватью ей поставили

электрический обогреватель, но все тепло, не успев сконцентрироваться, улетало в дыру. Маруся тряслась от холода всю ночь, хотя она лежала укрывшись с головой, правда ее утешал тот факт, что рядом с ней в ногах пристроился черный кот, он мурчал и согревал Марусе ноги.

Утром не дожидаясь восьми часов, охранник звонко зашагал коваными сапогами по каменному полу, и Маруся поняла, что пора выметаться, она помнила, с каким трудом вчера вечером удалось уговорить охранника, который все повторял, что у них могут быть неприятности, то есть их могут выгнать с работы, а работа у них была - не бей лежачего, и платили много, вот они и волновались. Было холодно, мороз, в разбитом окне синело небо, ей дали банку консервов в масле, что-то вроде ставриды и она все съела - не потому что была голодна - утром она обычно никогда не хотела есть - а просто механически, по привычке, как ела часто, не желая обидеть или ленясь отказать. Потом она пошла по пустым улицам, ежась от холода и покачиваясь от усталости, как всегда после бессонной ночи в голове у нее был туман и перед глазами тоже, в метро она зашла чисто автоматически, подолгу останавливаясь у каждой схемы и тупо их рассматривая.

Ей еще нужно было забрать вещи и где-то обосноваться, может быть, у художников, они обещали ее пристроить. В кармане пальто она нащупала какие-то бумажки, это были визитные карточки, которые вчера на память оставили ей несколько новых знакомых. Она достала одну из них, на ней крупно латинскими буквами посередине было напечатано: BALDA, а внизу, уже более мелким шрифтом: Serge Stoljaroff, artiste, далее указывались его адрес и номер телефона.

Весь день Маруся провела в поисках нового пристанища, но у нее ничего не получалось, никто не хотел пускать ее к себе бесплатно, а денег у нее не было. Она вспомнила, что недавно в церкви познакомилась с немкой, которая уже давно жила в Париже, ее звали Луиза. Она решила ей позвонить, просто так, ни на что не надеясь, и вдруг Луиза сказала, что Маруся может пожить у нее некоторое время бесплатно, пока не вернется из Германии ее старшая дочь.

Маруся сразу же решила забрать вещи от Пьера, и отправилась в Буа-Коломб. Когда она дошла до домика Пьера, было уже довольно поздно, з окнах света не было. Маруся позвонила в звонок, но никто ей не открыл. Она решила подождать – Пьер мог пойти в гости, а остальных жильцов и подавно могло не быть дома.

Она села на крыльцо, шел мелкий дождь и было холодно. Она напялила на себя все пальто и куртки, висевшие на вешалке у двери и так сидела и

ждала. Потом она стала ходить кругами по двору, уже было поздно, но никто не приходил. Тут ей пришла в голову мысль, что на самом деле они заперлись там и не пускают ее. Пьер мог так сделать, он часто закрывал двери и не пускал того, кого не хотел видеть в данный момент. А художники сидели в своей комнате наверху, уютно прижавшись друг к другу. Маруся снова позвонила, и тут увидела, как за дверью зажегся свет. Она позвонила снова, радостно, но никто не открывал.

Тогда она взяла кусок кирпича и прислонила его к звонку, теперь звонок звонил не переставая. Дверь внезапно открылась и перед ней предстал Пьер, без штанов, в короткой ночной рубашке, хвостами свисавший по бокам. В руке он держал, как показалось Марусе, свечу. Он напомнил ей учебник литературы, там был нарисован Плюшкин, так же весь обмотанный тряпочками и со свечкой в руке и с волосиками, торчавшими на его выступающей челюсти.

Маруся молча, ничего не говоря, прошла мимо него в свою комнату и стала собирать вещи. Она сильно устала, но перспектива провести еще одну бессонную ночь в этом доме ее ужасала.

Маруся шла по огромному чужому городу, вокруг блестели навязчивые витрины... “Здесь можно все, ты абсолютно свободна!” – так говорила ей Лиля, когда впервые побывала в Америке. Маруся бродила по ночным парижским улицам и чувствовала себя свободной как дикий зверь. Маруся уже давно была без денег и без работы. Уже несколько месяцев она жила у Луизы. Луиза была замужем за потомком “белых русских”, у них было трое взрослых детей, и они жили в большой шестикомнатной квартире у метро “Европа”. На восьмом этаже дома у них была еще небольшая комнатка, так называемая “комната для служанки”, где жила их старшая дочь. Но дочь год назад нашла работу в Германии и уехала туда, поэтому комната была свободна. Марусю поселили там.

Стояло лето, и в комнате постоянно стояла ужасная жара, крыша нагревалась на солнце, и дышать было нечем. Утром Маруся видела в легкой голубовато-розовой дымке силуэт Эйфелевой башни и купол собора Святого Августина, а снизу, со двора, где находилась музыкальная школа, доносились звуки пианино, скрипок и еще каких-то инструментов, которые поднимаясь вверх, превращались в какой-то тонкий высокий звон.

Такой звук Маруся слышала однажды утром, когда отдыхала на даче в Горелово у своей подруги. Подруга тогда уехала и Маруся осталась одна в доме. Однажды утром она пошла искать свою кошку - кошка была серая, пушистая, очень красивая - и утром был сильный туман, все было просто окутано им, как молоком или как ватой, и вдруг Маруся услышала такой странный звенящий потусторонний звук, она пошла на этот звук и дошла в тумане до

какого-то небольшого пруда. И тут она увидела свою кошку - та сидела как совершенно чужая, а чуть поодаль сидели два кота - один белый с огромной головой и второй - рыжий. Маруся не сразу поняла, откуда исходили эти звуки - коты сидели совершенно неподвижно, они даже не повернули голову в ее сторону, они сидели совершенно спокойно и в то же время как-то очень напряженно и вот снова Маруся слышала этот странный потусторонний звук, глубокий, шемящий, вибрирующий, и догадалась, что звук исходил от котов, хотя рты их были закрыты и казалось, звук исходит из них помимо их воли. Такие же похожие тона, отзвуки и мелодии слышала Маруся во французской речи, особенно когда говорили быстро. Этот звук вторгаясь в общее плавное течение жизни был как бы ее напряженной струной, случайно задетой чьим-то неловким пальцем. И когда Маруся где-то случайно слышала такой звук, а это бывало иногда — то он вызывал в ней беспокойство и смутную тоску.

Однажды Луиза, которая знала, что Маруся ищет работу, предложила ей ухаживать за пожилой дамой. На улице Мадам в маленькой квартирке, заставленной буфетами и шкафами, жили две старушки — мать и дочь. Матери было 94 года, а дочери — 74. Дочь звали Лорочка, она ухаживала за матерью, потому что та уже не могла сама вставать с кровати. Платить Марусе обещали всего 70 франков за ночь, но в результате спать ей не удалось совсем — во-первых, она вообще не могла спать в незнакомой обстановке, а во-вторых, Лорочка постоянно вопила и звала ее. Маруся должна была ночью помогать сажать старушку на горшок. В начале Маруся думала, что она днем сможет тоже как-то зарабатывать, но это оказалось невозможно, потому что ведь нужно было когда-то и спать. В узкой, забитой вещами комнате она и 74-летняя дочка по имени Лариса, лежали на кроватях, а в соседней комнате спала или находилась в голусне-полубреду 94-летняя старуха, которая то и дело внезапно начинала вопить :

— Лорочка! Лорочка! Где я?

— Вы дома, мамочка, - отвечала та.

— Я до-о-о-ма! До-о-о-о-ма!- радостно вопила старуха. Маруся лежала на кровати, Лорочка теряла терпение и подошла к ней, визгливо звала:

— Мария! Вы не поможете мне? — Маруся вскакивала и прямо в ночной рубашке босиком отправлялась в соседнюю комнату. Там 94-летняя мама, уставившись на Марусю, спрашивала:

— Лорочка, а откуда эта дама?

— Дама из Петербурга, - отвечала дочка.

— А почему дама бюсая? - не унималась мамаша, пока Маруся с Лорочкой усаживали ее на стул, в сиденьи которого была пробита дырка для ночного горшка. 94-летняя старушка после революции очутилась одна с пятью детьми в Турции. ее мужа, белого офицера, убили красные у самой границы. Всю оставшуюся жизнь ей пришлось трудиться, зарабатывать на себя и на детей.

Теперь она не была больна, она просто устала от жизни, и ей уже пора было отдохнуть. Правда, каждый вечер, когда Маруся приходила к ним, Лорочка ставила перед ней тарелку с вермишелью и сосиской, или давала чаю с сухарями, или еще чем-нибудь кормила. А потом она стала просить Марусю, чтобы та стирала и мыла пол, и помогала ей готовить. Лорочка, вся раскрасневшись от злости, с растрепанными седыми волосами, выбившимися из узла на затылке и со съехавшими на нос очками, стала орать:

— Ведь вы же видите, что мы две пожилые женщины, неужели вы не можете догадаться нам помочь!

Маруся ответила, что они не договаривались насчет всего остального, речь шла только о том, чтобы сажать старушку на горшок.

— А насчет ужинов мы разве договаривались? — уже просто завизжала Лорочка, и Маруся поняла, что от этой работы придется отказаться. Она почувствовала некоторое облегчение, но в то же время и беспокойство, потому что знала, что все равно придется искать работу. А потом вечером они встретились с Лилей.

Маруся возвращалась домой ночью. Она шла пешком вдоль Елисейских полей, огромная белая луна светила в середине неба. Маруся была пьяная, перед этим она весь день пила и хмель еще не выветрился из головы. Она шла вдоль бульвара Себастополь, через пустую улицу Рима, по ночному Парижу, который бывает пустым лишь ранним утром и поздней ночью. Потихоньку начинало светать, она шла по середине бульвара Себастополь, и он был такой чистый, светлый и спокойный, а она была пьяная, но даже в таком состоянии ей было видно, что это как будто другая реальность, другой мир, которого не видит никто, или почти никто.

И она видела, как постепенно вставало солнце и все вокруг становилось ярче и все дома начинали сиять и каждый лепной завиток на фасаде виден был четче, рельефнее и яснее и дома стали такого красивого цвета - бледно-зеленого, светло-бежевого, голубого и было все это белое, яркое и светлое.

Маруся подошла к дому, где она теперь жила в *chambre de bonne* под самой крышей на восьмом этаже, чтобы попасть туда ей нужно было долго подниматься по узенькой винтовой лестнице, по деревянным стертым до блеска многочисленными ногами ступеням, которые в конце неожиданно упирались под самый потолок и выходили на крошечную площадочку, а оттуда - в коридор, казалось, упирается в тупик, хотя на самом деле это был поворот, за которым находился туалет и рядом с туалетом в коридоре - раковина, похожая на писсуар, откуда тоненькой струйкой лилась вода, совсем как в фонтанчиках установленных во всех скверах Парижа, говорят это один американский

миллионер установил в Париже такие фонтанчики, чтобы бедные люди могли пить бесплатно.

В туалете не было стульчака, а было что-то вроде очка, две подставки для ног, и когда дергаешь за спуск, вода затопляла весь грязный каменный пол, и Маруся наловчилась выскакивать оттуда чуть раньше, чем вода затопит весь пол и замочит ей ноги. Через оконце была видна стена противоположного дома и там тоже было окно, где Маруся видела стол, накрытый зеленой клеенкой, и седую старушку, которая там иногда сидела. А Марусина комната находилась чуть дальше по коридору, там не было воды, зато было электричество и можно было включать кипятильник. Потолок был косо срезан, и в потолке - прямоугольное окно, открывавшееся при помощи железного стержня, его можно было открыть больше или меньше. В углу стоял шкаф с одеждой и пластмассовое ведро, где Маруся стирала трусы.

Под окном стояла марусина кровать, напротив - бюро с пишущей машинкой, машинку ей сдоложил Жора в обмен на перевод статьи Эрве Гибера, который Маруся сделала для него бесплатно.

Жора работал в "Русской мысли" и иногда давал Марусе подработать, при этом платил достаточно хорошо. Маруся приходила к Жоре в редакцию газеты, а он всегда принимал ее приветливо, вел в кафе, угощал обедом, даже покупал ей мороженое, несколько раз, когда Марусе совсем было нечего есть, он даже приглашал ее к себе в гости и кормил. Жора приехал в Париж из Ленинграда уже лет пятнадцать назад, каким образом, Маруся не знала. Жора был пухлый, с голубыми глазами за толстыми стеклами очков, и с торчащими ушами, он все время суетливо размахивал руками и нервно смеялся. Всякий раз, когда Маруся заходила к Жоре в редакцию, на нее из-за шкафа ревниво выглядывал какой-то юноша, наверное, жорин приятель - а может, ей просто так казалось, и никто Жору к ней не ревновал. Но все равно Жора вел себя странно, он то звонил Марусе и говорил с ней часами, то вдруг надолго куда-то исчезал, и при встрече едва с ней здоровался, как будто видел впервые. В начале лета Жора опять начал звонить ей почти каждый день.

А вот с Костей при встрече даже не поздоровался. Костя, который к тому времени выписался из психушки, хотел было предложить Жоре одну свою рецензию для публикации, а Жора даже не посмотрел на него, а только небрежно кивнул в направлении стоявшего в углу его кабинета стола и процедил сквозь зубы:

— Положите, пожалуйста, вон там! — и тут же повернулся к Марусе, с которой в тот день говорил особенно приветливо и радостно ей улыбался. Правда, буквально на следующий день он позвонил Марусе и предложил им с Костей пойти на "гей-прайд", обычно проводившийся в Париже в июне.

В этом году на демонстрацию должны были собраться гомосексуалисты и лесбиянки не только из Франции, но и со всего мира. Жора считал это событие столь важным и значительным, что “ни один уважающий себя культурный человек”, по его словам, “просто не имел права его пропускать!”.

Маруся договорилась с Жорой встретиться у метро «Эдгар Кине», откуда и должно было начаться шествие. Жора пришел без опоздания, увидев Марусю и Костю, радостно замахал им руками с противоположной стороны платформы. Он был очень возбужден.

— Ну что же вы, - повторял он, на сей раз уже почти не замечая Марусю и сосредоточив все свое внимание на Косте, - что же вы опаздываете? Мы же пропустим самое интересное!

Они вышли из метро и прошли к Монпарнасу. Там уже стояла густая толпа. Демонстранты должны были пройти по улице Ренн, бульвару Сен-Жермен, мосту Сюлли, бульвару Анри IV, и завершить свой путь на площади Бастилии. Жора утверждал, что не собирается идти «с ними» всю дорогу, а только посмотрит в начале и в конце. Первое, что бросилось Марусе в глаза, был огромный грузовик, затянутый голубой материей, на которой серебряными буквами было написано GAY. На грузовике стояла негритянка высокого роста с пышными формами под черным трико, в красной юбочке, с красными бантиками на месте сосков и в пышном парике, сквозь который пробивались небольшие рожки, правда, босоножки на платформе у негритянки были не меньше 43-го размера, она танцевала, изгибаясь и зазывно потрясая пышными грудями и ляжками. Марусе хотелось остановиться и полюбоваться на танец, но Жора тянул их дальше. В толпе Маруся разглядела семейную пару: мама в прозрачном пышном платье, в белокуром парике, с наклеенными ресницами и с ярко накрашенным ртом, папа в обтягивающих белых лосинах, великолепных кожаных остроносых сапожках, коротенькой курточке, обшитой позументом, с безупречным пробором в черных блестящих волосах, и тоже с наклеенными ресницами и ярко-красными губами, мама бережно катила перед собой изящную колясочку, отделанную розовыми с голубым кружевами и занавешенную белым кисейным пологом. Но Жора не дал Марусе полюбоваться и на эту идиллию, он упорно тащил их дальше.

— А то пропустим самое интересное, пошли, пошли, - повторял он и бежал вперед, расталкивая толпу, Маруся с Костей едва за ним успевали. Обливаясь потом, они бежали в толпе под палящим солнцем, обгоняя колонну демонстрантов, медленно двигавшуюся по бульвару под звуки оглушительной музыки. Наконец они остановились на углу улицы, где процессия должна была совершить поворот направо, выбрав самую удобную с точки зрения Жоры позицию.

— Смотрите, смогрите, - без конца повторял он, - вот видите : розовый треугольник - таким знаком их метили фашисты в концлагерях. А вот видите : несут портрет Катрин Денев с надписью : «Гомо или гетеро?» — это потому, что они выпустили журнал и назвали его «Денев», а она подала на них в суд и отсудила 300 тыс. долларов, и вот теперь они так над ней издеваются - не правда ли, остроумно!- и, как бы в подтверждение своих слов, Жора внезапно разразился долгим раскатистым смехом. Косте же было совсем не до смеха, от долгого стояния на солнцепеке - а Жора выбрал наблюдательный пункт на солнечной стороне улицы - ему едва не стало плохо, и он отошел и сел в тени на выступ стены дома. Марусе тоже ужасно хотелось пить, но она стойко держалась и слушала все пояснения Жоры, который продолжал сбивчиво объяснять:

— А вот идет организация «За безопасный секс»! Они позволяют все, кроме проникновения. Проникновение - это ни в коем случае, и у них все члены на учете, все адреса, телефоны, все, так что если ты нарушишь правила или проявишь агрессию - тебя найдут. А это организация садо-мазохистов, они не могли зарегистрироваться прямо так, по основному профилю, поэтому зарегистрировались как мотоциклетный клуб - правда, это смешно? Гы-гы-гы!, - снова захохотал он. Тут Жора вдруг обнаружил отсутствие Кости и, оглядевшись по сторонам, заметил, что тот сидит в тени у дома. Жора стремительно подскочил к нему и с совершенно искренним возмущением заорал:

— Ну что ты здесь расселся, ты же пропустишь самое интересное! — и почти насильно подхитив его под руку, поволок на прежнее место. Причем до этого момента Жора обращался к Косте исключительно на “вы”, но сейчас он, похоже, уже забыл обо всем, что не касалось непосредственно главного действия, ради которого он сюда пришел. Мимо проехал грузовик, на котором без остановки приплясывали затаенные в кожу стриженные ежиком или бритые наголо мускулистые юноши, на некоторых были навешаны блестящие цепи. Маруся почему-то подумала, что на подобной демонстрации в России цепи наверняка были бы ржавые.

— А вот организация христиан, а вот - евреев - вы ведь знаете, что их религия очень строго к этому относится.

Внезапно Жора решил переменить наблюдательный пункт, к тому же ему захотелось есть - он уже давно гредлагал купить булочку, но так как ни Костя, ни Маруся, у которых в тот момент денег осталось только на метро, никак на это не реагировали, застенчиво замолкал. Они снова побежали, пытаясь обогнать колонну и выкроить время для покупки булочки. Вдруг колонна остановилась, и Жора тут же встал в очередь в кафе, он хотел выпить хотя бы стакан кока-колы, а, может быть, и съесть булочку. Пока он ее ел, Маруся с Костей влезли на скамейку, сверху было все хорошо видно: мимо прошел папа римский, в одной руке он держал на палочке надутую

резиновую перчатку, а в другой - надутый презерватив. Вслед за ним тоже несли плакат с фотографией настоящего папы римского, под которой было написано: «Гомо или гетеро?»

— Нет, как все-таки они умеют всегда так тонко поддеть, - не переставал восхищаться Жора, - а как они умеют призвать к порядку, попросить людей отойти! Вот смотрите - подошел и так вежливо, безо всякой грубости - «Отойдите, пожалуйста!» - и все сразу же без слов отходят! — указал Жора на стриженного под гребешок добровольного народного дружинника, облаченного в потертую куртку, надетую прямо на голое тело, точно так же были одеты и члены клуба “мотоциклистов”, правда, в руке у него был не хлыст, а резиновая дубинка.

— А на балконах, смотрите - ни души, все боятся, не дай Бог, кто-то сфотографирует! — Балконы вдоль всего бульвара Монпарнас, по которому сейчас шла демонстрация, действительно были пусты. Но зато сам бульвар был буквально загроможден народом, на всех скамейках, на всех фонарных столбах, на малейших выступках, куда только можно было встать или влезть, повсюду были люди. Шествие должно было завершиться на площади Бастилии и Жора, к немалой радости Кости, предложил сесть в метро и так добраться до конечного пункта, но почему-то они вышли не у Бастилии, а на две остановки раньше, оказавшись под землей, они на какое-то время утратили пространственную ориентацию, и в результате, выйдя на улицу, очутились в самом эпицентре событий, в потоке марширующих, который буквально захлестнул и увлек их за собой и из которого теперь им было практически невозможно выбраться.

Маруся, Костя и Жора оказались прямо в плотной колонне демонстрантов. Рядом ехала машина, из динамиков грохотала оглушительная музыка, сверху сыпались разноцветные бумажные кружочки, почти обнаженный мулат, прикрытый только красным треугольником спереди, в тяжелых армейских ботинках без усталости танцевал на крыше кабины грузовика, толпа хором скандировала :

— *Pede, goudou, rejoignez-nous!* — Слева от Маруси шла тощая девица, одетая в рыболовную сеть и черные сапоги на платформе, доходившие ей почти до промежности, справа два беспрерывно целующихся юноши, а впереди, извиваясь всем телом и делая за один шаг по меньшей мере шесть телодвижений, бежал вприпрыжку молодой человек с голым торсом. Маруся заметила его уже давно, он бежал так от самого Монпарнаса, не отдыхая, не останавливаясь, она подумала, что завтра он, вероятно, так же побежит на работу, а потом — домой, и словно подтверждая ее мысли, юноша, продолжая на ходу танцевать, забежал по дороге в кафе. Колонна снова остановилась, на мгновение всеобщее внимание к себе привлекло существо неизвестного пола, наряженное в прозрачную короткую юбочку, по подолу которой был подшит тонкий обруч, что придавало наряду существа форму колоколь-

чика, на голове у него был блестящий обруч, в который спереди были натканы перья, что вызвало ассоциации с танцем маленьких лебедей, глаза его были густо накрашены, на веках до самых бровей наведены синие тени, на щеках - свекольный румянец, вокруг него столпились туристы, преимущественно почему-то японцы, которые стали щелкать своими фотоаппаратами, а существо вдруг закинуло руки за голову и, прогнувшись назад, встало на гимнастический мостик прямо на мостовой, на его тощей щее проступили жилы, а на подбородке стала явственно заметна жесткая растительность. Костя тем временем загляделся на девушку, танцующую на машине, ехавшей ровень с ними, она трясла грудями, стиснув их руками, виляла бедрами, высывала язык и как змея шевелила его кончиком, Костя шел за машиной, завороченно глядя на красавицу, а она все больше старалась, оглаживая себя руками по бедрам, даже засовывая одну руку себе между ног и извиваясь всем телом. К несчастью, это заметил Жора.

— Ну что, так и будешь тащиться за этой машиной? - внезапно раздраженно сказал он и, взяв Костю за рукав, резко потащил его за собой. На площади Бастилии вся толпа с дикими воплями стала циркулировать по кругу, кто-то, кажется, уже залез на колонну и размахивал оттуда семицветным флагом, международным знаменем гомосексуалистов, вобравшим в себя все цвета радуги.

— Как вы думаете, сколько их? Я никогда не умел определять количество на глаз, так же как и возраст. Тысяч десять? Двадцать? — Марусе казалось, что и все пятьдесят, такого скопления людей она не видела со времен первомайских демонстраций в Ленинграде, на которые народ сгоняли насильно. Тем не менее, в это мгновение Жора невольно чем-то напомнил ей Владимира Ильича Ленина во время первых маевок, каким его обычно показывали в советских фильмах, прикидывающего, сколько же народу прибыло в наши ряды, и какая это огромная сила.

— Их все же больше, чем фашистов, - не унимался Жора, - тут в мае, на день рождения Жанны д'Арк, бывает демонстрация французских фашистов. В этот день они всегда убивают одного араба, обычно топят, но очень тихо, мирно. Но их конечно гораздо меньше, и не сравнить! А какая сегодня будет ночь - Ночь Гордости Геев и Лесбиянок - будет праздник в Большом Бассейне - в Аквабульваре - вы пойдете?

Маруся молчала, у нее не было 80-ти франков, которые нужно было заплатить за вход. Костя тоже застенчиво потупился и молчал. Жора подошел к нему вплотную и спросил:

— Ну что, чего ты хочешь? Сесть? Лечь? Или еще что-то? Скажи прямо, ты пойдешь или нет? - в голосе его явственно послышались какие-то щемящие нотки, казалось, он вот-вот разрыдается. Костя промямлил что-то невнятное. Мимо с громкими криками под звуки громяющей музыки прохо-

дили машины, шла толпа. С одной машины разбрасывали банки кока-колы в толпу, Жора сказал, что это очень дорогое гомосексуальное кафе с Елисейских полей снарядило эту машину, и что они такие богатые, что даже кока-колу могут позволить себе раздавать бесплатно.

— Ну ладно, возьмите, вот, вот, - вдруг засуетился он, - достал из портфеля пачку журналов и дал Марусе с Костей, - это очень интересно, почитайте!

Маруся еще раз огляделась по сторонам и вдруг заметила, что вверху, над стоящей в центре площади колонной, в том самом месте, где гордо возвышался как бы парящий над Парижем бронзовый Гений Свободы, теперь развевалась по ветру огромная связка надутых до невероятных размеров презервативов, разукрашенных во все цвета радуги. Презервативы были привязаны к Гению Свободы веревочкой, которая была обмотана вокруг его шеи, образуя на ней петлю.

Хотя Маруся твердо решила вернуться в Петербург, однако это оказалось не так просто осуществить — у нее не было денег на обратный билет, и, как потом оказалось, проблема заключалась не только в деньгах.

Она решила позвонить своему знакомому психиатру, с которым встретила в клинике Фонтенэ-о-Роз, где Костя тогда проходил курс лечения. Он был главным врачом этой клиники и немного говорил по-русски, и это, кстати, было одной из причин, по которой Костя попал именно туда. Борис Гуревич был евреем из выкrestов, у его деда когда-то был большой дом в Петербурге на Кирочной улице. После того, как Костя уехал, Маруся иногда с ним встречалась, но не очень часто, потому что всякий раз он давал ей небольшие суммы денег, и ей не хотелось злоупотреблять его добротой. Он дал Марусе деньги на дорогу, и даже больше, чем было нужно, как бы в долг, но было ясно, что он и не надеется получить их обратно. Мадам Израэль, что жила на бульваре Сен-Мартэн, говорила про него, что “Борис Михайлович – святой человек”, она сама когда-то была его пациенткой.

Однако у Маруси была просрочена французская виза, и билет на самолет ей не продали. Пришлось ей покупать билет на поезд, хотя это и было связано с дополнительными хлопотами: получение транзитных виз и проезд через Москву, поскольку до Петербурга прямого поезда из Парижа не было.

В бельгийском консульстве на проспекте Мак-Магона она простояла около часа в очереди за транзитной визой, окруженная арабами и неграми перед закрытыми стеклянными дверями, и ей чуть не стало плохо, но, к счастью, двери открылись и ее впустили внутрь. Потом, сидя в ожидании визы, она познакомилась с русской, толстой белесой девицей, которая была родом из деревни, вышла замуж за француза и теперь уже десять лет жила в Париже. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда к ним в деревню, где

она работала продавщицей в продовольственном магазине, приехала группа туристов на теплоходе. Она была довольна жизнью в Париже, муж давал ей кредитную карту, и она могла покупать себе все, что захочет. В бельгийском консульстве Марусе отказали в визе, потому что у нее была просрочена французская виза.

А вот в немецком консульстве, к счастью, визу ей дали и очень быстро. Но это произошло только благодаря гробсьбе Луизы, которая знала даму, работавшую в немецком консульстве.

А потом Маруся отправилась на Северный вокзал и там поговорила с проводником, который, к счастью, оказался русским, такой тщедушный мужичок в надвинутой на лоб форменной фуражке и мятой белой рубашке, тот сказал, что проблем нет - двадцать долларов - и Маруся проедет через Бельгию в закрытом купе, а он скажет бельгийцам, что это купе пустое. На весь поезд был всего один вагон, следовавший от Парижа до Москвы (в Петербург из Парижа поезда не ходили), в Польше его прицепляли к другому поезду и только там он забивался людьми до отказа.

В день отъезда Маруся пришла на вокзал за час до отправления поезда и уселась на скамейку у вокзала в ожидании посадки. Рядом с ней уселась старушка, одетая так, как обычно одевались вьетнамские девушки — нейлоновая курточка, брючки и пышная мохеровая шапка на голове, а из-под шапки выглядывали злые глаза, остренький носик и узкие губки, накрашенные розовой помадой. Маруся как раз доставала свой паспорт, проверяла, на месте ли билет, и старуха поняла, что она русская. Ей явно хотелось поговорить, и она завела, обращаясь к Марусе, нескончаемый монолог:

— Время проходит так незаметно, кажется, что еще все только началось — глядь, а оно уже кончается, не успел ничего сделать, даже оглянуться не успел, и в памяти остаются только походы по магазинам, как ты покупал жратву или тряпки или кастрюли...

Старуха еще рассказывала про французов, что эта нация ей не нравится, они все бонжурятся, бонжурятся, а толку нет. К тому же, очень носатая нация — куда ни ткнись, везде одни носы торчат, а людей не видно. Не люди, а одни носы. Старуха так и говорила:

— Я за собой слежу и мне плевать, что про меня соседки говорят. Им просто завидно, они просто завистницы. А у меня дома три ковра, занавески полевые — все мне дочка из Франции передала. Она мне и еды купила на дорогу — вон, несколько сумок, там и колбаса, и сыр, и фрукты, и шоколад — и все мне говорила: “ешьте мама, ешьте”, я уж и не хочу, а она мне: “ешьте, ешьте!” И шубу новую купила, и пальто — все у меня есть. А люди такие завистливые.

Она говорила все громче и быстрее, так что изо рта у нее вылетала слюна.

— А летом я на автобусе ехала, так видела, как молодые ребята наркотики перевозили — они пакет под телевизор спрятали — и пограничники его не заметили. А я молчала, а то еще ножом бы раз! — и все. А мне-то что, больше всех надо, что ли? Все сидят, и я сижу. А парни такие наглые, молодые, такие нахальные, ну я думаю — что мне старухе с ними связываться?

Марусе надоела ее болтовня, и она решила пройтись до поезда, скоро должна была начаться посадка.

Маруся отдала свои билет и паспорт проводнику, и устроилась в купе, где она была совершенно одна, а вагон был почти пустой, только рядом по соседству ехали французские юноши. Когда поезд проезжал Бельгию,

Маруся вся тряслась, она закрыла купе, спустила шторы на окна, забилась в угол купе и не дыша, ждала, когда поезд наконец-то тронется. Она слышала, как по коридору несколько раз прошли люди, слышала их голоса, а потом поезд тронулся с места и она облегченно вздохнула, услышав за дверью голос проводника:

— Ну, все в порядке, можно расслабиться.

Потом была Германия, и немецкие пограничники со свойственной им дотошностью сами обошли каждое купе и осмотрели его, и проверили все паспорта, а Маруся уже не пряталась, а сидела на своем диване как полноправный член общества. В Варшаве проводник посадил к ней в купе прыщавого юношу, сказав, что тот будет ее охранять. Юноша забрался на верхнюю полку и ничего не говорил. Потом, правда, он рассказал Марусе, что сидел в Польше в тюрьме, и у него там даже была отдельная камера с телевизором, а этажом ниже сидел его брат, за что он сидел, юноша не сказал. Зато он рассказал, что в Варшаве на вытянутом пальце огромного пятиметрового памятника Ленину повесили одного коммунистического деятеля, это произошло ночью, и утром многие ходили на это полкобаваться, сняли же повешенного только после полудня.

А на следующее утро в вагоне разразился ужасный скандал - один из французов, ехавших в соседнем купе, перепил с новыми русскими друзьями и захотел помочиться, но почему-то не дошел до туалета, а открыл дверь в соседнее купе и помочился там прямо на ковер, и кажется, даже попал на спавшую на нижней полке женщину. Тут, конечно, поднялся шум, позвали проводника, и тот попросил Маруску по-французски поговорить с этими пассажирами. Маруся сказала им, что у них могут быть неприятности, и поэтому французы, посоветовавшись, отнесли в купе проводнику пару пачек сигарет «Кэмел» и шоколадку.

А юноша, схавший в купе с Марусей, вдруг очень оживился и поведал ей, что даром он на ночь закрыл купе на ключ и еще для надежности привязал дверь веревкой к полке, так, чтобы никто его не открыл, потому что есть люди, которые ночью ходят по поездам и забирают вещи у спящих пассажи-

ров, вот у него знакомые так делали, и юноша все очень подробно описал, как нужно воровать у пассажиров вещи так, чтобы никто этого не заметил, после его рассказа Маруся догадалась, за что он сидел в польской тюрьме. Юноша был родом из Магадана, и собирался туда ехать через Москву. Маруся угостила его салатом, который ей с собой в дорогу дала Луиза, это был салат из холодных макарон с яйцами, кусочками мяса и майонезом, юноша сперва стеснялся, но потом поел. Когда поезд подошел к перрону вокзала в Москве, Маруся увидела, как за вагоном бегут носильщики, стаей, как собаки или волки. На перроне ее встречал Костя.

Церковь на рю Дарю пуста, праздник Вознесения... священник в мягких тапочках и с нечесанной бородой, шаркая ногами бродит помахивая кадиллом, тонкий голос из левого придела алтаря поет то басом, то пищит... Лики святых, свечи горят ровно, священник то исчезает, то появляется, открыл царские врата, закрыл... неизвестный церемониал, неизвестно для кого предназначенный, голоса гулко отдаются в пустом храме, служба должна идти до конца, своим чередом, как сотни и тысячи лет назад, мы хвалим Господа, он дает нам силы жить и помогает...

— Какую церковь вы посещаете в Петербурге? — В голосе священника Марусе почудилась враждебность, а может это просто ей показалось.

Протянутая рука перед рукопожатием осеняется торопливым маленьким крестиком, или просто механически, как автомат, не успел сменить программу, обычно к его руке прикладываются, а он сверху крестит... Свечи погашены, надо приложиться ко всем иконам, таков порядок, лампадки горят...

Каждый вечер Лиля приходит сюда и поет, она помогает священнику вести службу. Это она привела сюда Марусю в последний день ее пребывания в Париже. Маруся стоит в церкви совершенно одна, больше нет никого, кроме священника, а тонкий поющий голос Лили гулко разносился под сводами храма. После службы они долго прощались со священником, батюшкой, как называла его Лиля, он жаловался на то, что церкви пустеют, и нет денег на ремонт храма. Потом Маруся с Лилей вышли из прохладной церкви на залитую палящим солнцем улицу и побрели вдоль чугунной литой оградки какого-то садика, где цвела сирень, а посередине журчал небольшой фонтанчик. На скамейках, как всегда, сидели старушки с детьми, какие-то одинокие негры, и лежал клошар, задрал ноги в пыльных драных ботинках на спинку и положив под голову сумку. Лиля повела Марусю в ресторан, находившийся на узенькой улочке, выходящей на центральную улицу Бобур, недалеко от Центра Помпиду. Они поднялись на второй этаж, и там девушка-китаянка в белом передничке принесла им меню. Лиля, как всегда, заказала две

бутылки красного вина, какой-то острый суп, где плавала длинная прозрачная вермишель, и горячие жареные бананы, запеченные в тесте. Они выпили, и напоследок Лиля заказала еще одну маленькую бутылочку того же вина. Маруся довольно сильно опьянела — она ничего не ела целый день, и очень устала, потому что ночью не спала, а ухаживала за девяносточетырехлетней старушкой.

Лиля была женой писателя Лямзина. Лямзин был полным, небольшого роста, с седыми волосами, говорили, в молодости он был даже красив. У него была странная манера говорить: он все время как будто блял, склоняя голову к правому плечу, при этом его глаза суживались и внимательно, как бы исподтишка, рассматривали собеседника. Однажды он пригласил Марусю к себе в гости, он уезжал в Москву и хотел, чтобы она перевела ему с немецкого несколько рецензий на его последний роман. Он был в хорошем расположении духа и вдруг начал говорить:

— Да, это круто! Блеск! Просто блеск! Круто! Ну этот, как его...

Маруся никак не могла понять, о чем это он, а он все твердил свое:

— Круто! Блеск! Ну как его, этот... — в голосе у него уже послышалось некоторое раздражение и даже озлобление, хорошее настроение стало улетучиваться, а Маруся все никак не могла понять, о чем это. Наконец, он произнес:

— Блеск! Ну, это, как его, роман, ваш роман...

— А! “Голубая кровь”, что ли?

— Да-да! Конечно, “Голубая кровь”!

Маруся вспомнила, что уже давно, года два назад дала ему почитать свой роман и потом совсем забыла об этом. И вот теперь он, видимо, опасаясь, что Маруся откажется переводить рецензии, решил сделать ей комплимент, а название забыл. В дальнейшем Маруся еще несколько раз присутствовала при том, как он говорил самым разным людям, желая похвалить их стихи, картины или музыку: “Блеск! Круто! Просто блеск!” В тот день, в гости к Лямзину пришел еще один молодой человек, который принес с собой пачку печенья. Лямзин выложил половину пачки на стол, а остальное положил на подоконник и предложил им чаю. Как-то очень быстро все лежавшее на столе печенье кончилось. Маруся сидела и переводила, в рецензиях его творчество называлось эзотерическим и несколько раз сравнивалось с Достоевским, “с Достоевским, с водкой и с бесконечным простором необъятных русских степей”, а он тем временем встал и, незаметно достав из пакетика на подоконнике еще пригоршню печенья, стал жадно его есть, при этом, случайно взглянул на Марусю и поймал на себе ее взгляд, на лице его изобразился ужас, и он, быстро бросив в вазочку одну печенинку, поспешно запихнул остальные себе в рот.

В эмиграции Лиля лет десять с мужем жила в Америке, а потом они переехали в Париж. Правда, вид на жительство во Франции у них уже заканчивался, поэтому Лилия лихорадочно искала знакомых, которые могли бы ей помочь остаться во Франции. В Америку они ни за что не хотели возвращаться. И вот теперь, покончив с двумя бутылками, Лилия откинулась на спинку стула и все говорила, говорила:

— В Америке живут одни идиоты, там не люди, а автоматы, вот с нами в самолете летел американский священник, а тогда только появились такие электронные часы с музыкой, и он каждый раз, когда проходил мимо, все нам их показывал, так тыкал прямо в физиономию и все :»Гы-ы-ы! Гы-ы-ы!» Я и думаю: «Боже мой, какой идиот, а ведь священник! И там все такие! И только - р-р-р-раз - по плечу! Все по плечу бьет и улыбается своей деревянной улыбкой, а глаза мертвые. А в Южном Бронксе одни уроды, с двумя головами, или головы выгянуты так по-уродски, все такие скорченные, скореженные. И дома там без фундамента, а если с фундаментом, то это жутко дорого. И дети там после школы даже читать не умеют, если, конечно, это не платная школа, не дорогой частный колледж, они там в общих школах все в игры играют и все : «Гы-ы-ы! Гы-ы-ы!» А потом ни читать, ни считать! А у вас по телевизору все показывают: «Америка! Америка! Рай, все живут хорошо, все такие деловые! И веселые, и бодрые! Одна пропаганда! — Лилия взяла в руку оставшуюся маленькую бутылочку и подлила себе в бокал вина. — Да и здесь во Франции идиотов хватает! Я как-то тут познакомилась на пляже с одним французом, он мне понравился, мы разговорились и я уже подумала: “Ну ладно, если он пригласит куда-нибудь, пойду”, а он вдруг стал рассказывать мне, что работает в биологическом институте, и они там ставят опыты на кошках - - проверяют их выносливость. Ужас! Это же настоящий садизм! Я кошек вообще обожаю, не только свою Милочку. Тогда я сразу же встала, собрала свои вещи и молча ушла. Он так ничего и не понял. Идиот!

Марусе казалось, что она не замолчит никогда, она уже несколько раз слышала этот ее монолог и успела выучить его наизусть. Тут Лилия вдруг осеклась и начала энергично махать рукой кому-то, кто находился за спиной Маруси у дверей кафе.

— Ой, Лилек, привет, — услышала Маруся тягучий мужской голос и кудрявый юноша, видимо, только что вошедший в кафе, бросился обнимать и целовать Лилю. Маруся молча наблюдала за ними. Лилия представила их друг другу, юношу звали Сережа, он был приятелем ее мужа.

— Вы что такие кислые, девчонки? — спросил Сережа. — Пошли гулять, я сегодня богатый! Я вас приглашаю в ресторан.

Маруся сперва хотела отказаться, но решила все же пойти с ними, чтобы хоть немного развеяться. Они отправились по направлению к Мулэн Руж, у входа в ресторан, который выбрал Сережа, толпилось множество проститу-

ток и гомосексуалистов, точнее, все они бродили вокруг, а так уж прямо откровенно стоящих проституток там не было, перед Мулэн Руж тоже стояла куча народу, как там всегда бывает до или после представления, вообще там постоянно трется множество каких-то темных личностей, которые пялились на проходящих мимо девушек и юношей, особенно если те были более или менее привлекательными. Сережа был балетным танцовщиком, он недавно получил политическое убежище в Германии, и пребывал в возбужденно-радостном состоянии, то и дело демонстрируя Марусе с Лилей свой новенький паспорт. Он считал, что это чистая случайность, что ему дали политическое убежище, больше ведь уже никому не давали, потому что в России никого теперь не преследовали за политические взгляды, теперь там наступила полная свобода. А он два года назад приехал в Гамбург на гастроли со своим театром и устроил какое-то эротическое шоу, после чего в газете «Советский воин» была опубликована разносная статья, хотя непонятно, что, собственно, там было такого ужасного, и почему именно в этой газете напечатали такую статью, но он уверял, что именно благодаря этой статье на него обратили внимание в западной прессе и вот теперь дали ему политическое убежище. Ему казалось, что в Париже все очень дешево по сравнению с Берлином, да что там дешево, все почти даром, “просто невероятно”. При этих словах Сережи Лиля хмыкнула и многозначительно посмотрела на Марусю. А Сережа уже перешел к тому, как все время ездил здесь на такси, хотя ни слова не говорил по-французски, и к тому же совершенно не знал Париж, и вот однажды он заблудился и сел прямо на мостовую на проезжей части, его подобрала полицейские, но он никак не мог с ними объясниться, потому что говорил только по-немецки. В этом месте Сережа остановился, выгашил из внутреннего кармана пиджака свой паспорт, положил его на стол и нежно похлопал по нему рукой. А одна его знакомая, которая раньше тоже была балериной и знала всех балетных знаменитостей, предложила ему недавно жениться на дочке Барышниковва, но потом вдруг спросила его, а не “голубой” ли он. Сережа опять замолчал, а потом с какой-то едва уловимой улыбкой на губах посмотрел сначала на Лилю, а потом на Марусю и произнес:

— Нет, не “голубой”!

Но та знакомая вытаращила на него свои зенки, короче, уставилась на него, как прокурор, и сказала, что у него странное лицо. Рассказывая об этом, Сережа не мог скрыть своего возмущения. Лицо у Сережи было действительно немного странное, он был похож не то на лягушку, не то на жабу: выпученные глаза, толстые вывернутые губы и пышные неестественно вьющиеся волосы. Правда, он был стройный и вообще, фигура у него была хорошая. Внезапно Сережа вскочил из-за столика и громко, на весь ресторан, завопил:

— Да, я “голубой”! Как можно задавать такие бестактные вопросы? И вообще, какая разница?

Успокоившись он сел, и с грустью добавил:

— Но правда для меня это тяжело, потому что я очень люблю детей. Дети для меня - это настоящая трагедия...

Потом Сережа заказал себе водки, а дамам - апельсиновый сок, и продолжил свои откровения:

— Мы люди богемы, ну нельзя же так. Можно отдаваться например женщине или мужчине, кого ты любишь, но отдаваться идее, нет так нельзя. Мы живем единым порывом, мы не такие, как все, мы свободные, мы пьем и треплемся об искусстве. И все-таки, лучше уж найти себе мальчика у метро, шестнадцати лет или там двенадцати - какая разница. Можно спать с кем угодно, ну трахаться там, любить человека, но нельзя любить идею. Это чушь какая-то, просто бред.

У Маруси и так было впечатление, что он бредит.

Сережа знал и Павлика, и Веню, и Колобка и еще какую-то Лариску, которая уже давно вышла замуж за швейцарца и жила в Швейцарии. Маруся вспомнила, что когда они с Павликом были в ресторане, там мимо проходила какая-то накрашенная девка, она мило улыбнулась Павлику, а тот сказал Марусю, что это Лариска. Наверное, это была она. Про Павлика Сережа сказал:

— Да, он лапочка, но характер у него стержневой.

А про Веню сказал, что его никто не убивал, а он преспокойно уехал в Америку. Маруся вспомнила, что в последний раз говорила с Веней по телефону год назад, он внезапно позвонил ей ночью и попросил срочно позвонить в гостиницу своему американскому другу, предупредить его, чтобы он ни в коем случае не сдавал свой чемодан в камеру хранения, потому что его могут украсть и чтобы он ни в коем случае не ехал на вокзал один. Веня очень боялся за его жизнь. Маруся хотела спать, поэтому никому звонить не стала, а отключила телефон и легла спать. Наутро раздался звонок и обиженный Веня стал ей выговаривать:

— Ну что, старый козел Алянский (это была фамилия Вени) так тебя заколебал, что ты отключила телефон и спокойно легла спать?

Маруся ответила, что в темноте случайно уронила телефон, и он разбился, поэтому она не могла никуда позвонить, но в душе чувствовала себя виноватой. Веня жил со своей собакой в старой коммуналке на Фонтанке, недалеко от Павлика, он с Павлеком то ссорился, то мирился, но он никогда не мог ему простить того, что Павлик видел, как ему в квартиру лезли воры и не предупредил милицию, он постоял, посмотрел, потом повернулся и спокойно пошел прочь. Тогда у Вени вынесли все, включая одежду и обувь. После этого он завел себе собаку, она даже спала с ним.

Рядом сидели две толстые женщины и один мужчина с лицом типичного номенклатурного работника, который с интересом прислушивался к их разговору, а потом по-русски спросил.

— Девочки, вы здесь давно живете?

Конечно, он мог быть и из белых русских, но оказалось, что это не так, у него был собственный завод в Сибири, и акцент у него был самый обычный, провинциальный.

— Нет, я бы здесь жить не смог.. Не смог бы без России... — как бы предвосхищая возможный ответ, со вздохом произнес мужик.

Сережа тем временем снял тапочки, потому что у него были ужасно натерты ноги, вышел из ресторана и босиком пытался проникнуть в соседний отель, где, по его словам, остановилась какая-то Наташа - сопровождающая эту сибирскую группу, он хотел с ней что-то передать в Петербург. Портье смотрел на Сережу с подозрением и в отель его не пускал, загораживая ему вход. Тогда Сережа стал доставать деньги, они были у него подвешены на шее в мешочке, но их там оказалось гораздо меньше, чем он предполагал, и он подумал, что или потерял их, или их у него украли, потом он стал приглашать Марусю с Лилей в гости к своему американскому другу, мол, он денег даст и можно будет продолжить веселье, но Маруся и Лиля отказались, им надо было рано вставать. у Сережи был с собой фотоаппарат, и он попросил на прощание сфотографировать его — он встал у стены в картинной позе, раскинув руки и подогнув одну ногу, правда, он был сильно пьян и долго сохранить равновесие ему не удалось. Потом он взял свой фотоаппарат и держа тапочки в руках босиком отправился вверх по темной улице, его сильно шатало.

*Париж-С-Петербург
1995 год*

**В оформлении первой страницы обложки использована
работа Тимура Новикова, любезно предоставленная
автором специально для этого издания**

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “МИТИН ЖУРНАЛ”
ВЫШЛИ КНИГИ:**

- Дмитрий Волчек “Говорящий тюльпан”. СПб, 1992
Дмитрий Волчек “Полуденный демон”. СПб, 1995
Дмитрий Волчек “Кодекс гибели”. Прага, 1998
Андрей Вишневецкий “ЮАР”. СПб, 1994
Аркадий Драгомощенко “Китайское солнце”. СПб, 1997
Елена Долгих “Искушения Кафки”. СПб, 1998
Александр Скидан “В повторном чтении”. М., 1998
Сергей Завьялов “Мелика”. М., 1998
Сергей Тимофеев “96/97”. Рига, 1998
Игорь Вишневецкий “Тройное зрение”. Нью-Йорк, 1997
Александр Альтшулер “Неужели всегда ряд за рядом”.
Иерусалим, 1998
Александр Анашевич “Столько ловушек”. М., 1997
Александр Ильенен “И финн”. Тверь, 1998

“Маруся Климова наставляет читателя – “бедные люди” достойны не сострадания, а лишь презрения. В этой книге, написанной на языке мизантропии, градус священной ненависти автора ко всему миру настолько велик, что порой между словами пробегают злые синие искры.”

Дмитрий Волчек

“Все “мэйд ин Питер” мне всегда казалось провинциальным – до Маруси Климовой.

Сергей Юрьенен

Книга, способная тронуть в наше циничное время.

Владимир Сорокин

